

БОР. ПИЛЬНЯК

МАШИНЫ
И
ВОЛКИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗД-ВО
ЛЕНИНГРАД

1925

Сергей Ломарский

БОР. ПИЛЬНЯК

МАШИНЫ И ВОЛКИ

**КНИГА О КОЛОМЕНСКИХ ЗЕМЛЯХ,
О ВОЛЧЬЕЙ СЫТИ И МАШИНАХ,
О ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ, О РЯЗАНИ-
ЯБЛОКЕ, О РОССИИ, РАСЕЕ, РУСИ,
МОСКВЕ И РЕВОЛЮЦИИ, О ЛЮДЯХ,
КОММУНИСТАХ И ЗНАХАРЯХ, О
СТАТИСТИКЕ ИВАНЕ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧЕ НЕПОМНЯЦЕМ, О МНОГОМ
ПРОЧЕМ,
НАПИСАННАЯ 1925 И 24-М ГОДАМИ.**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1925**



Обложка работы С. Пожарского.

МАШИНЫ И ВОЛКИ

В среднем человек живет шестьдесят лет, т.-е. столько-то (60 на 360) дней, т.-е. столько-то ($60 \times 360 \times 24$) часов, т.-е. столько-то минут — т.-е. столько-то — а именно $60 \times 360 \times 24 \times 60 \times 60 = 1\,892\,160\,000$ секунд, т.-е. меньше двух миллиардов, меньше чем у каждого россиянина в конце 1923 г. было рублей на папиросы. — Так колоссально — такими колоссальными понятиями жила тогда Россия: и так ничтожна — в этой колоссальности — казалась человеческая жизнь. Да. Но в этой колоссальности жить, все же, только для человека.

В Англии, в Барри-Док, в августе 1923 г., я говорил с русским матросом Кузьмичевым, с коммунистом, который не был в России в годы Великой нашей Революции. Не глядя мне в глаза, так, как говорят о самом сокровенном и самом прекрасном, он сказал, спрашивая:

— А, чай, очень хорошо было в России, в 20-м году, когда вы там жили без денег, — чай, очень хорошо... И были такие предкомы, куда каждый сносил свои единицы труда и брал оттуда все, что нужно, по этим единицам...

Я ответил:

— Да, было очень хорошо.

Иначе я не мог ответить, ибо я не смел оскорбить человека и не хотел быть против человечества и человеческой истории, — да Кузьмичев и не поверил бы мне, если бы я сказал иначе. — Барри-Док — это место на берегу океана, где ковши из гранита забирают океанские корабли вместе с океанской водой, и эти корабли грузятся углем — электрическими кранами — так, что вагоны поездов белками прыгают над кораблями по кранам, и откусываются эти вагоны от цепи поездов, чтобы взлетать в воздух с ловкостью фокусника. Каменноугольная пыль садится на корабли в Барри-Док больше, чем на сантиметр в сутки; солнце стоит в пыли медной сковородой, и на него можно смотреть простым глазом; в пять часов — тысячью шланг — смывается эта пыль: эллипсами идет фантастический

дождь, — солнце, которое уходит за океан, дробится миллионами радуг. — Вечером тогда я думал о том, что несчастье человеку, если он знает больше, чем умеет: иногда это бывает ростом; но, если это не рост, тогда — погибель.

Не мне судить о моих достоинствах. Но о недостатках своих я имею право говорить. Мои вещи живут со мной так несуразно, что, когда я начинаю писать новую вещь, старые я беру материалом, гублю их, чтоб сделать новое лучше; мне гораздо дороже моих вещей то, что я хочу сейчас сказать, и я жертвую старым трудом, если он идет мне в помощь. Не важно, что я (и мы) сделал, — важно, что я (и мы) сделаем, подсчитывать нас еще рано; соборность нашего труда необходима (и была, и есть, и будет), я вышел из Белого и Бунина, многие многое делают лучше меня, и я считаю себя в праве брать это лучшее или такое, что я могу сделать лучше. Мне не очень важно, что останется от меня, — но нам выпало делать русскую литературу соборно, и это большой долг.

«Цели», попрежнему, необходимы, — надо, чтобы они «щелили», со всяческими ударениями, и над *e*, и над *и*. И с каждым днем мне все яснее, что мое писательство мне совсем не к тому, чтобы славиться, почеститься, сладко жить, — писательство — невеселое дело и — почти мышечный труд.

ВСТУПЛЕНИЕ.

Отрывок первый.

Лес, перелески, болота, поля, тихое небо — проселки. Небо иной раз хмуро, в сизых тучах. Лес иной раз гогочет и стонет, иными летами горит. Топят болотные топи в сестрах-лихорадках. Ползут, вьются проселки кривою нитью, без конца, без начала. Иному тоскливо итти, хочет пройти попрямее, — свернет, проплутает, вернется на прежнее место... Две колеи, подорожники, тропка, — а кругом, кроме неба, — или ржи, или снег, или лес, — проселок без начала, без конца, без края. А идут по проселкам с негромкими песнями: — иному те песни — тоска, как проселок, — Россия родилась в них, с ними, от них. — Эти пути по проселкам были и есть. Вся Россия в проселках, в полях, перелесках, болотах, лесах. — Но были и эти иные, кои стосковались итти по болотным тропам, коим вздумалось Русь поднять на дыбы, пройти по болотам, шляхи поставить линейкой, оковать гранитом, железом и сталью. прокляв заклятую избяную Русь — и пошли... Иной раз проселки сходятся в шлях, — и по шляхам, по «шашам», по «чугункам» — с проселков — пришел, пошел по шашам, давно народом восславленный, — бунт, народная вольница, чтоб разгромить «чугунки» и «шляхи», и — чтоб разбиться о бетон и железо, о сталь городов, чтоб снова исчезнуть в проселках — как, навсегда ли? Какая иная — и сильная — сила восстала на шляхах из городов? —

— Ша - ша! — —

По незнанью — называют мужики автомобиль: фуру-фузом...

Не именами красить повести, — пусть «заправдашная ложь» — — Тракт стар, зовут тракт Астраханским. В Рязани на Астраханской улице, в Коломне на Астраханской улице —

у гостиниц Гавриловых-Громовых сорок лет назад заколотили окна, когда съела старый тракт Астраханский — Казанка. В Коломне — от заставы с орлами до заставы со звездами — две с половиной версты — к о л о м е н с к а я в е р с т а: лихи были ямщики! Тракт даже не в ветлах, и не Астраханский, в сущности, а на все Поволжье махнул и полег. От Рязани до Коломны — на Москву — тракт полег по Поочью. Много страшных лет было в России: лето тысяча девятьсот двадцать первое было — страшное лето. От Рязани до Коломны тракт полег по лесам Чернореченским, по Зарайским болотам, — и в сером дыму был тракт от трав-брусник и лесов, в лесных пожарах сгоравших. От тракта вправо свернуть — в деревню зарайскую, у Христа за раем-за пазухой — деревня Чертаново будет, — и нет деревни Чертановой: выгорел торф под деревней, в землю провалилась деревня, к чорту, как Нижегородской губернии город Китеж, к чорту-с. Дым черный над Черноречьем. — Тракт даже не в ветлах и не Астраханский: в проводах по столбам Третий Интернационал гремел, Коминтерн, в июле, — если вперед смотреть, в даль верст: в голубой дали верст черный возникнет заводский дым — Коломзавода, Гомзы, стали и бетона. И туда смотреть — с автомобиля, — не Астраханские, рязанский исполком и штабы армий на автомобилях тракт кроют в Москву в народные комиссариаты, на коллегии, избегая поездов в холере.

— Тра-трак-трак-тра! — автомобилья поступь. —

— От тракта вправо свернуть — зарайские земли, у Христа за раем — горы по Поочью и луга, как степи — Белоомутские луга, Дединовские луга — влево свернул Погост Расчислав — Расчиславские Горки... Трещать трактом мотору, ломать версты, ломаться мостами, — травить версты двоим шоферам, Пугину — что ли, и Шуринову, повстречать мотору заблудлую овцу: глупая овца, бежит напрямик, не сворачивает, — затравить мотором овцу, подшибить, кинуть в кузов, в Рязани делить краденое по-братски пополам и съесть с удовольствием. — Шуринов на праздник домой приходил в Расчиславские Горки, хозяйственный мужик; жена после чая в клеть повела, отдохнуть.

— Как дела?

— Аномнись зато лиходеи какие-то овцу украли. —

— ?! — —

— (рассказ писать можно, как товарищ Шуринов у товарища Пугина в городе Рязани вторую половину овцы, свою собственную, назад требовал.) — —

— Тра-трак-трак-тра, — фуруфузья поступь.

— Третьим Интернационалом провода трубили по тракту — в Рязань.

— Третьим Интернационалом — в исполкомах — не застрашаешь ребят.

...Телега на двух колесах называется — беда...

...А ходят путинами нашими — с песнями тихими, как наши путины, — иному те песни — тоска, живем мы и жили от них, через них, ими. Большак с Поволжья — шаша — небо, лес, перелески, поля, зной и пыль: пыль похожа на **ш**, зной же — как **ж**. Там, в хлебородных, в Самарской, в Саратовской, весной в тот год перекопали озимые, и сгорели яровые так, что картошка в земле запеклась. Не беда, коль во ржи лебеда, полбеда, коль ни ржи, ни лебеды, а — беда, коли нет конятника. Июль юдоль нашу — славянскую, избяных обозов юдоль — вскрыл: конятник, которого не едят лошади, древесная кора, гончарная глина стоили в тот год денег, потому что их ели люди, и Волга высохла в тот год так, что вброд ее переходили под Саратовом у Зеленого Острова. Избяные обозы по большакам — наше юдельное: солнце вставало в тот год в дыму и в дыму ложилось, был зной как **ж**, грозились крестьяне в неистовстве небесам господом - богом и кулаками, трясли иконами и жгли ведьм. И пошли избяные обозы по большакам: беда на двух колесах в пыли, над бедой шалашик, сзади плетенка с гусем, в оглоблях пара кляч, в шалашике скарб и детишки, — и скоро им появилось нарицательное — русские цыгане: ехали — куда глаза глядят, от голода, от смерти, ибо там, на Поволжье, в Самарской, Саратовской, в Астраханской — был голод, ели землю. Ходят путинами нашими с песнями, как наши путины. В Черноречьи горели леса, валялись к чорту деревни, как Китежи, — ехали — куда глядят глаза. Бедяные обозы докатились к июлю в тот год до зарайских — за раем у Христа — земель!..

Пыль — как **ш** — на шаше. . .

— Тра-трак-трак-тра, — автомобилья поступь.

— Третьим Интернационалом провода трубили по тракту — в Рязань.

— Рязанские земли, зарайские (у Христа за раем) сыты были: прожрали те зимы картошкой!

Голод. — Не большакам рассказывать о голоде, нужде и зное: они расскажут. Там, в «хлебородной», в каком-нибудь Курдюме, Нурлате или в Курячьих каких-нибудь Кучках — все погорело, до тла, — ни людям, ни скотине нечего есть, картошка в земле спеклась, май прошел июлем, хлеба два пуда — лошадь, а домов пол села — пуд. Мужик у нашему как дикарь, — сла-вя-ни-ну! — решаться, решиться, решить; — не впервой, чай, ходить по земле, кочевать, бегать. Решать день, решать два, всю жизнь гнувшему спину — без дела ходить, трогать землю — и рукой, и мыском лаптя (горячо босому ходить по земле!), в небо смотреть, в степи смотреть, в избе

часами сидеть перед миской с коровьим навозом (ели и такое), в закрое, ясный как лысина, ходить на авось, — и решиться, решить.

— Надоть... ехать... жена, — жене впервые сказать ж е н а, а не Дунька, не сука, без зуботычины.

Сволакивать в беду все имущество — два одевала, перину, икону, топор, гуся, ребятишек, — в день перерезать, продать, променять — корову, теленка, овцу: — день работать, шею ломать, как всегда, как всю жизнь. А к вечеру (обязательно к вечеру выехать надо!), когда все уже горой на беде, на улице, и лошади склонили головы пред долгой путиной, а ворота настужь,—зайти п о с л е д н и й р а з в избу, взглянуть, как десятки лет, в красный угол—в пустой угол, ибо даже цари, генералы и дезертиры свернуты в трубку в беде, — не перекреститься даже, ибо пуст угол, — в армяке, в шапке, с рукавицами, — хлопнуть в раздумьи кнутовищем себя по колену (кнут ведь вместо овса!), ткнуть кнутовищем — в раздумьи — в таракана у печки, вздохнуть — и выйти шумно из избы, дверь оставив разинутой настужь.

— Ну, что же, трогай жена! — а самому итти рядом, пешком, тысячи верст, — до могилы.

И — сначала ночные проселки, а потом большаки, — куда глаза глядят, без начала, без края... Не большакам рассказывать о голоде, нужде, зное, как *жс*, и пыли, как *ш*, шаша... Тысячи верст: не впервые тысячам им растворяться в тысячах верст, в голоде, в холоде, в темных делах, — ибо: кто приютит их и где? — Шаша!

...Большак Астраханский лежит — как все русские большаки. Небо, да пыль, да истома. Да деревни, да села. Да мосты. Да холмы, да речуги, да курганы. Если свернуть вправо — нету деревни Чертановой, если свернуть влево — Расчиславские Горки, сзади — Рязань, впереди — Москва, впереди — Коломзавод, заводский черный дым, — и туда смотреть — с автомобиля: рязанский исполком и штабы армий на автомобилях тракт кроят в Москву в народные комиссариаты...

И — ночь. —

Земля была камнем, вся в дыму, горели Чернореченские леса, не было отдыха даже в ночах, солнце вставало и садилось змием, огненным проклятьем, и сухие, жухлые восходы были мутны и пыльны, как стекла в пересыльной рязанской тюрьме. — Грузовик старый — фуруфуз — травил тракт, как свинья с бегемота — в истерике, — подмазанная под хвостом скипидаром, — обгонял, шарахал р у с с к и х ц ы г а н — в комиссариаты, в коллегии, ночью, жухлым июлем, — чтоб где-то у мостика в бревна мостика всадить колеса, чтоб видеть вдали зарево Коломзавода, а здесь у моста, в канаве — увидеть беду, пепел костра у беды, мужиков у костра, гидру ребячьих голов в одевале. Мужики любили, когда грузовик застревал на

мостах: — предгубком писал тогда записки в губисполком, и «губы» возрождали мост в сутки, а иначе он гнил бы годами. А у задней грядки грузовика сидел человек, конденсированная воля, коммунист, весь в заводской копоти революции, весь для того, чтобы мир построить линейкой и сталью. — Это он до крови у губ кричал Коминтерном по проводам — старым трактом — в Рязань, — это он устал от бессонниц и здесь у канавки, на мосту перед рассветом встретил — без митинга, тихо — р у с с к и х ц ы г а н и холерных на скарбе, у повозки бедой называемой: — рассветами, пусть жухлыми, как окно в пересыльной рязанской тюрьме, надо думать и говорить тихо и верно... (А шофера — керосин продавали!..)

— Это откуда же вы?

— Из Симбирской губернии. Голод там, недостача. Лошадь, к примеру, два пуда зерном стоит, — нету травы...

— Та-ак... А куда же?

— Сами не знаем. Куда бог, к примеру, пошлет. Это какие, зато, будут места?

— Та-ак... Места эти будут рязанские, Зарайский уезд... Та-ак...

Что сказать, — что сказать на рассвете, когда там над Окой, над Белоомутом солнце встает, когда мир притихнул пред новым днем и росный рассвет пробирает лопатки холодком — ?.. там — впереди — черная сталь Коломзавода, заводов, машин, городов, — проклятие хлебу! —

— ...а шофера — керосин продавали. Америка строила «Уайт», чтоб ходить «Уайту» на бензине, Рязань пустила «Уайт» керосином, — а когда раздобылась Рязань бензином, шофера заявили, что «Уайт» отучился ходить на бензине, ибо: на бензин не давали картошки. — Велика мать-Россия, чоёт бы ее побрал! Шаша! — Как рассказать — всегдашний, единственный — мой и его — сон, — сон, где снится, что солнце плавится в домне — не даром около домен пахнет серою, — что хлеб строят заводами, — и тогда во сне возникают — до боли четкие формы и формулы — завода, геометрически-правильные формы завода: — прямые, круги, окружности, эллипсы, параболы, — ночь, — только две краски — красная и белая, — ночь, и на небе круги огней; их, чтоб осветить всю землю, подпирают краны, и трубы стали треугольниками к кранам, и из-за труб к кругам огней идут по радиусам новые огни, — и там, на заводах: — пролетарий, геометрически-правильный и огромный, как формула!.. — ...а шофера — керосин продавали и жарили здесь, у моста на рассвете, картошку на сале бараньем, к жизни приладившись, — и был тихий рассвет. Подошел мужичонко, шапку снял, поклонился, по-рабы сказал:

— Места эти, значит, зарайские... На чаек с вашей милости не будет? — Мы так примерили, что вашу машину мы можем вытащить из моста на шашу, значит...

...Если свернуть от шоссе, проехать полем, перебраться вброд через Черную Речку, пробраться сначала через черный осиновый лес, затем через красный сосновый, обогнуть овраги, пересечь село, потомиться в суходолах, снова лесом трястись по корягам, там на пороме — как триста лет назад — переплыть через Оку, проехать лугами по ивовым рощам, — то — там уже затерялся проселок, исчезнул, растворился в зеленой мураве—приедешь в Каданок, в Каданецкие болота. Здесь нету дорог. Здесь кричат дикие утки. Здесь пахнет тиной, торфом, болотным газом. Здесь живет тринадцать сестер-трясовиц-лихорадок. Здесь на песчаных островках буйно растут сосны, — у трясин тесно сошлись ольшаники, землю заткал вереск, — и по ночам, когда бродят тринадцать сестер-лихорадок, на болотцах, по воде бегают бесшумные, нежгущие, зеленые болотные огни, страшные огни, и тогда воздух пахнет серой, и безумеют в крике утки. Здесь нет ни троп, ни дорог, — здесь бродят волки, охотники да беспутники. Здесь можно завязнуть в трясине...

Отрывок о мужиках, из главы «о предпосылках к повести». ¹

М у ж и к и.

До легенд о Смутном времени и после дней времени действия этой повести надо рассказывать о мужиках, об исторической — земного шара—этой легенде без истории, где во время действия повести, как и триста лет назад, пахали сохой, бороной борошили, а по веснам подвязывали за брюхо к потолку скотину, чтобы стояла, а жили на полатях, под полатами храня от холодов телят, и жили в жильях — даже не от каменного, но от деревянного века, и ставили свои жилья, как кочевники на ночь ставят обозы. Жили ничего не зная, — знали: —

— ...январь — году начало, зиме середка, — трещи, трещи, минули водокрещи, — дуй-не-дуй — не к рождеству, а к великодню. А все же: Афанасий да Кирилла забирают за рыло; Аксинья — полузимница-полухлебница, какова Аксинья, такова и весна; февраль — бокогрей, на сретение зима с летом встрети-лась; в апреле земля прет, теплом веет, апрель дует, бабам тепло сулит, а мужик глядит, что будет; весенняя пора — поел да и со двора, прилетел кулик из заморья, принес весну из неволя. Ай, май, месяц май! — в мае дождь — будет рожь, май холодный — год хлебородный... Вечерняя заря позори-лась ало — к ветрам... —

— ...больше ничего не знали, — родились, рождали, жили и умирали. Мужики били друг друга,

¹ Отрывок о мужиках написан по данным статистика Ивана Александровича Непомнящего.

баб, детей и скотину, — бабы били друг друга, детей, скотину — и мужиков, когда те напивались водки, таскали их тогда за бороды по сням. Парни глушили девок, — «мимо гороха да мимо девки так не пройдешь»; девки защекотывали до смерти парней и клали им снег в штаны. Мужики платили подати, изредка мужиков и парней ловили, сдавали в солдаты, тогда они шли воевать, фельдфебеля бились над ними:

— Да што ты — русский, што ли? —

— Нет, мы зарайскии...

и фельдфебеля никаких «исторических предпосылок» дать не могли мужикам — исторической российской предпосылке. . .

...И —

опять м у ж и к и — —

...знали: —

— июль, август, сентябрь — ваторга, да после будет — мятовка. Холоден сентябрь, да сыт: сиверко, да сытно. Август — собериха, в августе серпы греют, вода холодит. Авось — вся надежда наша, авось, небось, да третий как-нибудь, — на авось мужик и хлеб сеет, на авось и кобыла в дровни лягает, — русак на авось и взрос, — авось и рыбака толкает под бока, — авось велико слово — авось дурак, да дурь-то его умная, — авось небосю — брат родной.

...И еще без чисел и сроков, как в начале, как в конце — «историческая российская предпосылка»:

...авось небосю — брат родной, и одиннадцатая заповедь (только для России) — не зевай! На бога надейся, но сам не плошай, — трудом праведным не наживешь палат каменных, — не пойманый — не вор, и вещь в России имеет два назначения — одно по ее смыслу и второе: быть у к р а д е н н о й, и стыд не дым — глаза не выест, грех в орех — а зернышко в рот, и брань на вороту не виснет, и с поклонов шея не болит. — А если попался: была бы спина — будет вина, от суммы да от тюрьмы не отрекайся, ибо кто богу не грешен, царю не виноват? Бог дал, бог и взял, — будь взяхой — будь и дахой, много взяхарей, мало дахарей, и скажи мне, гадина, сколько тебе дадено? ибо: закон что дышло, — куда повернул, туда и вышло. А дома: люби жену как душу, тряси ее как грушу: — пусти бабу в рай, она и корову за собой поведет, курица не птица — баба не человек; — баба с возу — кобыле легче, — собака умней бабы — на хозяина не лаает; не тужи по бабе — бог девку даст, — мужик напьется — с барином дерется, проспится — свиньи боится, без вина правды не скажешь, и веселие Руси — пити... — историческая российская предпосылка, без чисел и сроков, в конце и начале, от дворян и попов — до мужиков, на десять человек — один: либо дурак, либо вор, каждый жулик, все

матершинники. На коломенских землях можно было купить и продать: честь, совесть, мужчину, женщину, корову, собаку, место, право, девичество. На коломенских землях можно было замордовать, заушить: честь, совесть, ребенка, старика, право, любовь. На коломенских землях пили все: и водку, и денатурат, и политуру, и бензин, и человечью кровь. На коломенских землях матершинили: во все, — в бога, в душу, в совесть, в печонку, селезенку, ствол, в богомать и мать просто, длинно, как коломенская верста. На коломенских землях молились: трем богам (отцу, сыну и духу), чорту, сорока великомученикам, десятку богоматерей, пудовым и семиточным свечам, начальству, деньгам, ведьмам, водяным, недостойным бабенкам, пьяным заборам. Вор, дурак просто и Иванушка-дурачок, хам, холуй, смердяков, гоголевец, щедриновец, островский — и с ними юродивые-Христа-ради, Алеши Карамазовы, Иулиании Лазаревы, Серафимы Саровские — жили вместе, в тесноте, смраде, пьянстве, верили богу, чорту, начальству, сглазу, четырем ветрам, левой своей ноге, — и о них сказано Некрасовым, о коломенских землях:

Там он и молится, там он и верит,
Там он и мочится, там он и с...!..

Вот примерная биография каждого. — Родился или под тулупом в деревне («одевал» в обиходе у мужиков не полагалось), или под тряпкой из ситцевых лоскутьев (одевало), или в родильном отделении земской больницы, где в коридоре дренькал на балалайке дворник. Мать встала после родов на третий день и кормила грудью (да жеваной баранкой в праздник) два года, чтоб не заботиться о пище и чтоб самой не забеременеть вторым, избави бог (примета есть: коль кормишь грудью, не засеешь). Недели через три после рожденья он получил первый подзатыльник, а потом к годам семи познал все виды порока и истязаний, и кнутом, и ухватом, и поленом, и ночи на морозе, и без хлеба сутки, и носом в собственный помет (за битого — двух небитых дают). Иной раз, лет с семи, его ведут в училище, но часто и в подпаски, и в мальчики в трактир, иль караулить кур и младших братьев, — он учится всю жизнь пословицей: — весь век учись, а дураком умрешь. Годам к пятнадцати он в совершенстве научился, где надо, шапку снять и поклониться в пояс. Годам к семнадцати, пьяной бабе он отдал девственность (тогда, той ночью их было пятеро у ней), и пел под тальянку и под водку той ночью — тоской о земь — о том, что:

Я у тяти пятая, у мила десятая, —
Ничего нас так не губит, как любовь проклятая! —

и если тогда, той ночью о земь, порыться у него за ребрами, где, по его понятиям, находится его душа (ребра той ночью

были здорово помяты приятелями), то там найдешь и мелкое воровство, и предательство, и трусливый страхок перед миром и его злой непонятностью, и верное уже знание, что на земле надо голову к земле держать и помнить, что самое верное, если «моя хата с краю, — ничего не знаю», и такую добродушную русскую, ленивую жестокость — посмотреть, что будет с кошкой, если ее повесить за хвост на дерево?.. К девятнадцати годам он женился, тогда начинается жизнь, надо работать изо всех жил, чтобы скотину можно было великим постом держать, подвязывая к потолку веревкой, чтоб прокормить ребят, чтоб платить подати, — надо было работать и кланяться — всем и на всех, шапки можно было не иметь, ибо всем надо было — пред всеми — шапку ломать. В праздники — пироги, водка да битая жена, да песня о земь, — а в понедельник — тяжелый день — похмелье, когда лучше голову в петлю (и статистику¹ установлено было, что убивали больше всего в праздники, а вешались — по понедельникам). Так шло двадцать пять лет, подрастали сыновья (и били иной раз отцов и матерей за битое свое детство), — и приходила смерть. Хоронили на кладбище и ставили деревянный крест с надписью:

«подъ симъ камнѣмъ похороненоъ тѣло» и пр.

— если это было на сельском кладбище, новой весной в марте, когда выгоняют скот со дворов, телка, почесываясь о крест, уже подгнивший, валила его, и он валялся года два, — в городе же крест спокойно воровал кладбищенский сторож на топливо, — и еще через год даже сын не поминал и не помнил уже отчества отца, — но верно можно было сказать, что этот дважды был избит до полусмерти и в вечное упокоение ушел со сломанным ребром, что сам он — другому — сломал скулу, что трижды он был обманут так, что все надо было начинать вновь, однажды горел, однажды сидел в тюрьме за недоимки, дважды хворал или тифом, или холерой, или оспой, или скарлатиной, всегда чесоткой, селами сифилисом, был в больнице и, выздоровев, страдал не от той болезни, которой хворал, а от пролежней. И еще можно сказать, что у каждого была своя чужь: один любил ловить птиц, другой гонял голубей, третий ложкарничал из любви к ложкам, четвертый, десятый, сотый (сотый любил сына пороть по субботам, сто первый переселился в баню, поняв, что весь мир от чорта, чтоб в бане онго чорта изучить), — о четвертом, о десятом, о сотом можно было сказать и подумать, что он потерял — в нем погиб — неплохой человеческий «талан»... Таланты в землях коломенских были к тому, чтоб гибнуть!..

¹ В частности Иваном Александровичем Непомнящим.

Иван Александрович Непомнящий, статистик, из главы «Список персонажей и авторов повести» (героев, людей хороших и плохих, обывателей и пр.).

Принцип расположения персонажей повести: принципов и систем может быть длинный ряд: не случайно эти слова — «принцип», «система» — не русского корня. — Можно расположить героев и персонажей по принципу «вступления в действие повести»; можно расположить по алфавиту; можно распределить их — в эти рубежные годы России — по годам их смерти, — это вскрыло бы один из корней — не слова, а повести; не плохо было бы раскинуть героев по принципу классовых и групповых признаков, социальной лестницей; получилось бы страшно, если б персонажи были расположены по принципу «куска хлеба» и права на него в эти метельные годы; — принцип алфавитности и «вступления в действие» — явно устарел. Принцип смерти, а стало быть и рождения (моральных и физических), уравнивший «куском хлеба», распятый на социальной — парадной — лестнице, — более правилен. И все же в идущей за сим повести твердого принципа расположения героев — нет, в виду технических трудностей. Принцип «единства места действия» и ассоциации параллелей и антитез неминуемо будут играть роль хорошего режиссера.

Иван Александрович Непомнящий, статистик. Главный герой повести. Место жительства, и старчества, и смерти — город Коломна, в Гончарах. За всю жизнь (после окончания университета) выезжал из Коломны только дважды — за мукой — в Нурлат, в Казанскую, и в Кустаревку, в Тамбовскую, — это было в голод, в 1919 и 1920 годы, когда люди в Коломне ели овес и конятник, лошадиный корм. Чтобы дать характеристику Ивана Александровича, надо описать его вещи, — сам же он — маленький, сухенький, говорить ему шопотом, голову держать в плечах, горбиться, ходить в женской шали, чай любить с малиновым вареньем; — у Ивана Александровича — очки на носу, без очков он не видит, очками всегда вперед, волосы черные ершиком, борода не уродилась, — усики на бледной губе — очень тонкие, очень юркие, заменили глаза, вместо глаз рассказывали, как настроен, что думает, над чем смеется Иван Александрович. — И вот дом: — в доме лежанка в кафелях с ягнятками и в кораблях, у лежанки лампадка (чтоб закуривать от нее, не вставая, самокрутные папиросы толщиною в палец, — никак не для бога, — ибо за всю жизнь Иван Александрович ни разу не был у бога, и не мог научиться, пальцы не слушались, скручивать папиросы; — и кстате, о руках:

руки у Ивана Александровича были лягушечьи—) — у лежанки лампадка, на лежанке — книжка (очередная), лоскутки бумаги, шаль, валенки, подушка и — Иван Александрович Непомнящий, в шали и в валенках, за книжкой; у лежанки — по времени — или только лампадка (тогда очки над лампадкой), или лампа горит (тогда Иван Александрович пишет «Статистику»), или день, очень светло от окошек, и окошки, тоже по времени, — или в зелени летнего садика, или в инейных хвощах на стеклах (тогда очень тепло на лежанке); и кроме лежанки в комнате — книги, только русские книги (ни одного чужого языка Иван Александрович не знал), странные книги — старинные книги: одна стена — осьмнадцатый наш век, другая — первая четверть девятнадцатого, в ящиках и на полочках — рукописные книги; книги теперешние — в других комнатах, в коридоре, в сарае, на чердаке, кипами, пачками, связками, за нумерами и в пыли; — теми, теперешними книгами заведывала Марья Ивановна, тоже статистик, жена, мать и кормилица Ивана Александровича, у нее хранился и список этих книг, и в комнате ее, куда никто не допускался, хранилась и двуспальная кровать (Марья Ивановна была на двадцать лет моложе Ивана Александровича, и была втрое больше его, безотносительно огромная, кустодиевских качеств женщина, — но была она покойна и румяна, как всячески сытая женщина). Перед домом Ивана Александровича дорожку всегда расчищала Марья Ивановна, — но Иван Александрович не любил выходить из дома. Все книги, что были у него, Иван Александрович — знал, — Иван Александрович не любил — ни траву, ни поле, ни солнце; он говорил — со своей лежанки, глаза за очками, только по усикам узнаешь, шутит ли, насмехается ль? — говорил шопотом, и все, кто приходили, тоже шептали, — только Марья Ивановна спокойным басом спрашивала, на вы, — что хочет Иван Александрович — чаю ли покушать, картошки ль? — и где он ляжет сегодня на ночь, то-есть где поставить на ночь лампадку, кувшин с ключевой водою и не охладить ли двуспальное логово? — Перед лежанкой, собственно, под оконцами (ибо комната была малюсенькой, не любил Иван Александрович пространства), стоял стол — рабочий стол — Ивана Александровича; он был завален табаком, недогоревшими его самокрутками, пылью (Марья Ивановна — чистота — не допускалась сюда), лоскутками бумаги; здесь стояли в баночках всех цветов чернила, лежала навсегда раскрытая готовальня, лежала «Книга Живота моего, Непомнящего», лежала бумага всех сортов, покоились пятна всех цветов чернил, и от пирожков, и кругов от чашки, и от дыма, — и отсюда возникали — аккуратности поразительнейшей и чистоты — диаграммы всяческих красок и размеров и всяческие статистические таблицы — — Ни годы, ни революция не изменили у Ивана Александровича его манеры жить и думать.

Иван Александрович Непомнящий — во время действия повести — не умер, проздравствовал точно таким же, каким был до повести. И не он, в сущности, герой повести, а его «Книга Живота моего, Непомнящего», его записи и статистические выкладки. ¹ Персонально он не участвовал в повести, но многие хотели бы его придушить, даже своими руками, — если было бы за что его придушить, — но он ничего не делал, и его не за что было душить. Он со всем был согласен и всему подчинялся — и н и ч е г о не делал, кроме статистических своих таблиц. — —

Иван Александрович — является: одним из авторов этой книги, и в дальнейшем будут указаны главы, написанные под руководством Ивана Александровича. На лежанке Ивана Александровича — пересидели и посидели — очень многие.

¹ Вот примерные записи «Книги Живота моего»:

РСФСР.
КОМЯЧЕЙКА
РКП

при Коммуне
в С. Расчислово
«КРЕСТЬЯНИН».

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Товарищи в Уездкоме. Мы как коммунисты женившись в дореволюционный период на представительницах контрреволюции Авдотье Семеновне Мариновой с детьми и Арине Ивановне Мариновой с детьми, как мы теперь братья один Председатель а другой Секретарь Коммуны КРЕСТЬЯНИН. Просим онулировать наших жен Авдотью Семеновну и Арину Ивановну; и детей. Как рожденных в дореволюционный период.

Члены Партии Р.К.П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ липат меринов.

Секретарь логин меринов.

тыща девятьсот двадцать первого года.

В доме Старковых до революции жил акцизный чиновник Керкович, брат члена суда, он ушел на войну еще в четырнадцатом году. На-днях он приехал, в чине инспектора-рабкрина, забрать свои вещи, — и выяснилось, что еще в восемнадцатом году, когда национализировали дом, были забраны его вещи, как бесхозяйные. Инспектор рабкрина в архивах коммунхоза разыскал списки и стал собирать свои вещи: оказалось, что шубу уисполком передал доктору Осколкову; — доктора Осколкова пригласили в уисполком и предложили сдать шубу в двадцать четыре часа. Инспектор Керкович нашел и свои ковры, ковры были с фигурами людей, испанцев, больших размеров, и в клубе комсомола инспектор рабкрина нашел половины ковров с ногами, — половины же ковров с головами были найдены на квартире военкома.

РАЗДЕЛ КНИГИ, ВНЕ ПЛАНА ПОВЕСТВОВАНИЯ.

Выехать маем из Москвы — —

в Москве уже заасфальтился воздух, опустошилась белевыми сумерками соль московских домов и вечеров, — глыбы домов лезут на глыбы домов, Кремль ушел в сказки, опросторились площади, в домах — неизвестно — зажигать ли или не зажигать электричество в десятом часу? — и на зубах скрипит пыль от ненужного дня, и мимозы у Арбатских ворот — мертвецами. Рассветы — с пятого дома Моссовета, в Гнездиновском, — идут во втором часу, и в пыли после ночи тогда так четки заводские трубы окраин, трубы, которым указано дымить, и ломается солнце горбами крыш. Тогда надо думать: — где сердце Москвы? в Кремле ли? — вон там, под кремлевскими стенами, где в туманы уходит река Москва? там ли, где трубы трубят, дымом? в Зарядье ли? — или в Трубниковском переулке, на Арбате? — —

Вот еще описание Москвы, другое, нужное повести:

В дни «Гадибука»: — был московский — арбатский — вечер, с первым октябрьским снежком, с тишиной в темных переулочках, когда каждый — первый, второй, десятый — кто был московским студентом, должен вспомнить о первом курсе, а не о революции, и о муфте в снегу соседки курсистки (в революцию муфты у женщин в России исчезли, потому что женщины помужали), — в такой вечер каждый близорукий должен вспомнить о своей близорукости, ибо фонари на углах мажутся снежинками со стекол очков. Тогда — тебе — надо понять, что ты никому не нужен и нет у тебя дома. Днем была — дневная Москва, — днем устраивалась зима, чтобы первой зимой прожить после революции; потому что часто тогда думалось, что зори революции отошли. Днем шел тихий — арбатский — снежок, морозило, и снег сразу укутал шум, до весенних первых рам. Вечером надо зажечь лампу у стола, и — книгами — уплыть в воспоминание, в осознание, в счеты с прошлым, — и в сумерки за окном трещали чечотки, прилетевшие со снегом с Воробьевых Гор и со Звенигорода. Но днем в лавках торговали — мясом, вином, виноградом, икрой, как в Европе в тот год и как десять лет назад в этой же Москве, — по старому, — и приказчики говорили, убеждая покупателя: — «Помилуйте-с, старое-с!» — и пол был посыпан опилками. Надо было подумать, что Россия с Памира сошла, о хлебе из овсяных опилок забыто, у Елисеева есть семга, французские сливы и французское шампанское, — а у зеркального окна — девушка, не проститутка, еще в башмаках до колен и в каракулевом пальто, она кончила гимназию, была на первом курсе, — молит, чтоб ее купили,

потому что она сокращена. Старая Москва — стариком, связкой книг, плешью — свернула с Тверской к Никитскому бульвару, ее обогнал лихач в котелке, — от Пресни шли фаланги комсомольцев. Снег падал тихий, мертвенный, все упокаивал и закутывал. . .

... не узнать, где сердце Москвы, сердце России! — И надо искать его там же, где твое сердце: где твое сердце?.. Рассветы — мучительны, и зловещи в рассветах гудки автомобилей. Там, дома, в коридоре спит человек, на полу: этого человека — убить бы! убить, кровь его выпить... И там, дальше, в комнате спит женщина, Милица, за которую жизнь отдать — не много. И там, в комнате, серый рассвет, книги и тленый запах комнатной ночи. —

Выехать маем из Москвы — —

поезд ушел в вечер, и в Люберцах первый проныл комар, а потом от лощин, от болотцев пошел туман, водяные выставили бороды, и около поезда, справа, слева — один, десяток, сотня — защелкали, засвистали в тумане соловьи, и в Раменском — такие огромные связки черемухи продают мальчишки! — Поезд идет в туман, оплели поезд туманы, — надо стоять у окна, и бодрым холодком садится на руки и на лицо роса, и на руке раздулось место от первого укуса комара. В вагоне мрак, махорка — и не-зачем смотреть в вагон. Коломна проплыла в тумане, башнями и стариной, — Коломзавод — налево — стал белыми огнями, трубами и трубной гарью, и над Коломзаводом — от огней — небо было черным — —

. . . Коломзавод — завод, в дыму, копоти, масле, стали, железе — Коломзавод. Коломенская верста — от заставы с орлами до заставы со звездами — две с половиной версты, широко жили, гнали с Астрахани, с Волги — оптом, гуртами — скотину, пшеницы, ржи, с окских барж перегруживали под Коломной (Коломна лежит на трех реках: на Оке, на Москве и Коломенке, три реки здесь вместе сливаются) — перегружали под Коломной с окских барж пуды и тюки на москворецкие, на Бобреневских лугах отгуливали скот; кичились пословицей: — «Коломна-городок — Москвы уголок», — памятовали, как императрицу Екатерину верстой обманули (тогда и о версте в езде пословицу сложили, памятуя распутство царицыно), довольны были, когда император Николай I, ночь не спав от клопов, утром хмуро спросил:

— Чем занимаетесь?

Лосев ответил:

— Гуртами, царь-батюшка, скотом. . . —

и император изрек, хлеб-соль принимая:

— То-то сами и есть, как скоты! . . . —

знали, что у вдов купеческих-коломенских свой промысел был — на всю поволжскую Россию: в Симбирске, Самаре, Пензе, Царицыне, Вольске — держать публичные дома, собирать и рассовывать по ним коломенских и иных девок, а деток своих дома учить благонравию, мальчиков — в гимназии, а девочек: дома. Город доминами белыми подпер к Москве-реке, жил крупичато в Запрудах, в Кремле, в Гончарах, щеголял пред Рязанью. Очень все интересовались узнать — откуда пошло слово *К о л о м н а*? — объясняли, что от прилагательного *колымный* — *обильный*, *широкий*, *сытный*;

от римских патрициев Колонна, ушедших в Скифию и поселившихся здесь (это толкование отразилось и в гербе коломенском, где на синем поле три звезды и колонна); от существительного каменоломня (не даром сами коломенцы рязанским наречием называют Коломну — Коломня); но толковали и так, будто Сергей Радонежский, проходя по Коломне строить Голутвин монастырь, попросил попить, а ему ответили колом по шее, и он объяснял потом:

— Я водицы попросил, а они колом мя — —

Голутвин монастырь, на стрелке, где сливаются Ока и Москва, был заложен, правда, Сергием Радонежским, и там хранится его посошок, — и Коломна жила за пятью монастырями, в двадцати семи церквах, колымная, как коломенская пастила — сладкая. По Коломне проходил старый тракт Астраханский.

И съезла Коломну, как старый тракт, — Казанка, разорила купцов, — а Коломзавод выпил последнюю коломенскую силу. В шестидесятых годах, в эманципацию, в эпоху романтического материализма или материалистического романтизма (что—то же) — в весенние дни на Коломну наехали инженеры, мерили, планировали, ездили к просто-Растиславским в Расчисловы Горы, — потом ушли дальше, за Оку к Рязани. А за ними понаехали другие инженеры, и навалила шаромыжная гольтепа: — стали строить мосты через Москву и Оку, копать насыпи, прокладывать рельсы, жечь ночами костры, петь ночами песни, пугать жителей, воровать по деревьям в погребушках молоко и сметану, цены ломать на базарах, гоняться за девками (отбивая доход у коломенских вдов), — своими костями бутить насыпи, крестами смертей метить путины рельсов, орать на получках о недоданных пятаках. . . Потом и они ушли, оставив за собой тоску ночей, темных дел, ночного раздолья, буя, горя и радостей. Коломна одевалась в белое и красное, мужчины в рубахи до колен, женщины в сарафаны, — гольтепа была в черном, измазанная маслом и землей; Коломна была дебелий — эти сохли на насыпях и руки их тянулись до колен, отмотанные заступами; Коломна пела песни сквозь сон, жирные, как клопы, — эти пели так, что каждый раз надо было бросать шапку в землю. Они ушли, за ними потянулись четыре полосы рельсов, два моста через реки, кресты под насыпями, черные пепелища костров — и —

— и у Голутвина монастыря, у села Боброва — кузня, где собирались и сваривались мосты. Эта кузня и выросла в Коломзавод. Эта кузня — для Коломзавода — сохранила от шаромыжников — песни в землю, скрежет железа, темные рассветы, костры, гудки, черные куртки в масле и копоти, руки до колен (которыми все возьмешь, и нет страшного — взять), иссохшие спины, неурочные огни в ноцах, неурочные толпы неурочных людей. Эта кузня придавила монастырь к реке, заглушила его, заушила. Эта кузня потянула дома, перестроила их из камня в дерево, из Запрудья, из Гончаров — на Новую Стройку, в Митяево, к Боброву. Город запер ворота, — по шпалам, в вагонах потянулись в Москву — скотина, пшеницы, ржи, соль, гуртами, оптами, — тракт Астраханский замолк, зарос подорожником, подорожник порос и на коломенских улицах, дома олишайлись мхом, купец позабыл про «Москвы уголок», стал «вдовствовать» с вдовами вместе. . . Завод стал мощный, один из великанов в России, вырос сталью, железом и камнем, огородился на сотню десятин заборами, математическая формула, трубы

подперли небо, задымили в небо, динамо-машины кинули свет в ночи светлее солнца, сталь заскрежетала железом, завывли гудки, — завод стал — сталелитейный, машиностроительный. — Там, за заводской стеной — дым, копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа, — полумрак, электричество вместо солнца, — машина, допуски, калибры, вагранка, мартены, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны, — горячие цеха, — и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка, — и при машине, за машиной, под машиной — рабочий, — машина в масле, машина — сталь, машина неумолима, — дым, копоть, огонь, — лязг, визг, вой и скрип железа. . . (— Здесь прошло детство Росчиславских. —)

А Щурово, за Окою, над Окою на горе, — полустанок, — встретил тишиной, безлюдьем, опять черемухой; за рельсами во мраке позвякивал бубенчик под дугой, — и мрак вдруг оказался совсем не темным — зеленоватым, зыбким, пропахнувшим черемуховой сырью, туманом; и мрак встретил роем сотни комаров, захлебывающимися соловьями... И тогда нет сил, чтобы не вспомнилось, как навсегда, — Марья-табунщица... — свернуть с шоссе, пойти в туман, пробраться полем, пробраться сначала через черный осиновый лес, затем через красный сосновый, — снова выбраться к Оке, на горы, в соловьиный и совиный крик... — там на горе жил лесник и колдун, у которого зимы зимовала Марья-знахарка-табунщица. Там за рекою в лесах и туманах залегла Бюрлюковская пустынь...

...Выехать маем из Москвы — —

иногда надо человеку выехать из самого себя, — и, если сердце Москвы надо искать там же, где твое, — надо иной раз выехать из сердца Москвы...

Росчиславских было — три брата и две сестры, одна из них — хромая.

Отец Росчиславских, Георгий Юрьевич, был инженером-путейцем, в молодости на изысканиях много исходил он по юго-востоку России. Потом он председательствовал в Зарайской Земской управе и жил у себя в усадьбе на Росчисловых горах. Умер он в 1905 году — и жена, сложив астроблагии и теодолиты в его кабинете, стала править домом. До самого конца земства жена, приезжая с Росчисловых гор в город, проезжала в управу, сейчас же с воза проходила в мужскую уборную и говорила басом сторожу Николаю, чтоб не пускал пока туда никого (— Слушай, барыня!). Говорила она всему уезду «ты», и председателю в том числе, и ночевала однажды в кабинете у председателя по такому поводу: председатель не уплачивал за лесной постав для школы, — Росчиславская расшумелась, ногою топнула, сказала:

— Пока не уплатишь, батюшка мой, никуда не уйду отсюда.

Председатель позвонил, вошел Николай. Председатель сказал:

— Внесешь сюда кровать. Барыня ночевать здесь будет.
— Слушау-с, барин.

Росчиславская здесь и ночевала.

Петлю на Росчиславских накинула Мериниха, мать Мериновых, когда стрелял из-за девки Дмитрий, младший сын, в Григория Меринова — оставила усадьбу тогда Мериниха на десяти десятинах. Это и облегчило перенести революцию. Революция началась с того, что отобрали восемь лошадей и тринадцать коров, а в каретном сарае устроили театр и пожарное депо, поставили две бочки. Мать из усадьбы уехать не пожелала, отказалась, потому что ничего с Росчисловых гор понять не могла, — а за усадьбу держалась, как домовая кошка, хоть и гнали все, кому не лень. Мать попрежнему ездила в земскую управу, где был совет, сначала проходила в уборную, а потом плакалась басом всем, кому придется, и добилась — по дурости, — что ей с дочерьми позволили остаться на земле. Театр из сарая переселился в залу, хоть здесь было и теснее. Кроме театра вселились с села два большевика-молодожена, с молодухами, — большевики от женитьбы не вшивели. Потом театр упразднили и сделали школу, старухе приказали учить ребят. На помещицкой земле Мериновы образовали коммуну; кроме росчиславских остальными членами были крестьяне, своего хозяйства не бросавшие. Обрабатывали остатками помещицкого инвентаря, выхлопотали назад пять лошадей и пять коров. Мать и старшая дочь Росчиславские были сторожками: ночью, когда сторожила дочь, воры ее изнасиловали. Потом коммуна развалилась. Мать умерла от бесчестья.

Братья Росчиславские — два старших инженера — и Дмитрий — юрист — ушли из дома. Дмитрий ушел последним, тогда его, как волка, улюлюкали в Бирючем Буераке мальчишки — а-ря-ря-ря-ря! — и вернулся он единственный, когда умерла мать и развалилась коммуна «Крестьянин»: пришел на Росчисловы горы совсем не шумный, как раньше, постаревший, осунувшийся... — —

— — А о Росчисловых горах поют девки:

Как Расчисловские горки —
Странные делишки. . .
Все помещики — Егорки,
Последни портчишки. . . ! . .

Если от шляха свернуть влево — нет деревни Чертановой, провалилась она под землю, земля под ней — торф — выгорела в лесном пожаре, — проехать полем, перебраться вброд через реку, пробраться сначала через черный осиновый лес, затем через красный сосновый, обогнуть овраг, пересечь село Секирино, потомиться по суходолам, — приедешь к Оке, к древнему городу Ростиславлю, ныне — Погосту Расчислову, Расчиславовым горам и борам. На север от Расчислова по Оке, в лесах, сохранилась Введенская — Введенье божьей

матери—пустошь (впрочем, около Коломзавода торчит Голутвин монастырь, а в Рязани и Коломне — их штук пятнадцать) — —

Нету города Ростиславля, и есть погост Расчислав. В тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году на погосте сгорела церковь, тогда подрядчик перехитрил церковного старосту (или оба, сжульничали мужичьими пятаками?), — съели церковь, выстроили из известняка плохую — богу — кордегардию. И все же на церкви надпись: о том, что церковь эта поставлена на месте, где был некогда город Ростиславль, построенный князем рязанским Ярославом в 1153-м году, одновременно с городом Зарайском, для сына Ростислава, кой и правил здесь. Есть и предание, как погиб город: — в Смутное время, изгнанные московскими воеводами из Коломны, Иван Заруцкий с Мариною Мнишек и с сыном Ивашкой-воренком подступили к городу Ростиславлю, переправились через Оку — вон там, пониже (так и зовется с тех пор это место — П р и с т а н), — спалили, разграбили, р а с ч и с т и л и город до тла (так и зовется с тех пор город — не город-Р о с т и с л а в л ь, — а — Погост-Р а с ч и с л а в). Иван Заруцкий от Расчислава хотел итти на Зарайск, но про то пронюхали мужики (так и зовется село П р о н ю х о в о), — князь зарайский вышел навстречу, дал сражение, победил Ивана, — дрались тогда на секирах — так и осталась деревня Секирина! — а Иван убежал Астраханским трактом на Астрахань, с Мариною Мнишек и сыном Ивашкой-воренком. — Вот и все о городе. В рязанских «Епархиальных Ведомостях» писалось еще, что в городе-Ростиславле собирались князья — тульские, рязанские, суздальские, — чтоб ходить бить мещеру и мурому... И еще. Годах в семидесятых, или раньше, или позже, помещица Ростиславская выгнала с погоста попа, задумала устроить монастырь, набрала девиц, заштатного попа выписала, черная была, как галка, и горячая, как головня, дымилась монашеской страстью, посылала сыновьям-конногвардейцам в Петербург по пяти тысяч, епископ рязанский Мелетий собутыльничал с ней, бумаги у нее были царские, сыновья приехали на весну — всех скитниц взбаламутили. Скит приезжал закрывать рязанский губернатор. Вот и все. С искона веков Росчисловы горы принадлежали Ростиславским, а потом — о Росчисловых горах пели девки:

Как Расчисловские горки,
Странные делишки!
Все помещики Егорки,
Последни порчишки...!..

Топографией и странными помещичьими делами, в роде того, как овес сеять под озимые. На Росчисловых горах чорт ногу сломал: на каждом бугре по усадьбе — шесть усадеб — и три крестьянских общества, по семи изб каждое, — и всему свое название: — то Конев Бор, то Ратмиро, то Бирючий Буерак

(за Бирючим Буераком — глухое место — была коммуна Крестьянин). А помещики на самом деле были все Георгии да Юрии, — то Юрий Георгиевич, то Георгий Юрьевич, то Георгий Георгиевич, то опять Георгий Юрьевич, — и только земский начальник Комынин был попросту Ягором Ягоровичем Комыниным. Частушку же только девки пели так, парни—девкам — пели иначе:

Как Расчисловские горки,
Странные делишки,
Все помещики Егорки,
Сохнут по . . . — э! —

Там, за оврагами, за Расчиславскими горами — Ока, луга, поемы, дали. На Расчисловых горах каждую весну цветут яблони, в старых садах, и будут цвести пока есть земля, — сады в белом яблоневом цвету под луной кажутся костяными, неподвижными, — трудно тогда спать в смене багряниц востока и запада, в соловьином пеньи, и всю ночь в оврагах тогда кричат лягушки... Древний город Ростиславль, брат Зарайску, погиб в смутное время и — —

Братья Росчиславские — два старших брата — ушли из дома и домой не вернулись —

Смерть Юрия Георгиевича Росчиславского, старшего.

Справка из колонии психически-больных № 3.

РСФСР
ГУБЗДРАВотДЕЛ
С.Р. и Кр. Деп.
КОЛОНИЯ
психически больных.

СПРАВКА.

Мая 2-го 1923 г. Гр. Юр. Георг. Росчиславский, сын дворянина, находясь в Колонии на излечении, был убит товарищами-больными в состоянии запальчивости и массового психоза.

Дежурный Лекпом — подпись.

(Печать.)

«Брат! Брат!.. ты слышишь, какая тишина?.. я себя чувствую волком, волксм!..»

(В тысяча девятьсот семнадцатом году, в декабре, когда не рассеялся еще дым октября, когда дым только густел, чтоб взорваться потом осьнадцатым годом — когда первые эшелоны пошли с мешечниками, развозя бегущую с нарочей армию, в ураганном смерче матерщины — — на одной станции подходил к вагону мужичок, говорил таинственно:

— Товарищи, — спиртику не надоть ли? — спиртовой завод мы тут поделили, пришлось на душу по два ведра — —

на другой станции баба подходила с корзинкой, говорила бойко:

— Браток, сахару надо?! — графской завод мы тут делили: по пять пудов на душу. . . — —

на третьей станции делили на душу — свечной завод — кожевенный — степь, ночь, декабрь — —

— в городах на заводах, в столицах ковалась тогда романтика пролетарской машинной революции, которая должна уничтожать землю, а над селами и весями, над Россией шел мужичий бунт, как пугачевский, чуждый и враждебный городам и заводам. Тогда поднимался занавес русских трагедий, Октябрь отгремел пушками по Кремлю не случайно. Тогда вся Россия пошла на шпалы, ибо рельсы из стали, и надо было знать секрет, чтоб влезть в поезд — в сплошную теплушку: тогда брат брату держал у сердца топор, но надо было артелиться и ушкуйничать, и надо было артелью в пятнадцать человек лезть кулачным боем в первую попавшуюся теплушку, через головы, спины, шеи, ноги, в драке на смерть, ибо место для тебя было то, с которого скинул ты чужого. И вот, была декабрьская ночь во льдах. Поезд шел в степь. Каждый, кто ехал, ехал за хлебом, и ехал тогда первый раз, — поезд шел в степь, на диких степных станциях растеривая тех, кто, не желая умирать с голоду, брал быка за рога — просто, через все преграды к жизни, вез себе хлеба. Теплушки были набиты человеческим мясом до крыш, это мясо было злобно и голодно, злобно молчало, когда шумел поезд, и оно рычало в бога и в печень, когда поезд стоял: оно ехало из городов.

И ночью поезд выкинул на дикую станцию полсотни людей. Луна уже сошла с неба, ночь помутнела перед рассветом, была черна, кололась во льдах, на востоке едва-едва зеленело. За станцией был поселок, у станционной коновязи стояли возы, лошади мирно жевали, на возах валялись люди. Скоро узналось, что поселок переполнен ушкуйниками, — поселок не спал, рассовал людей по печам, по полатам, под нары, — а на улице то тут, то там вспыхивали огоньки спичек и папирос, и было очень тихо, потому что все шептались, как перед разбоем. — Приехавшие: — одни решали итти в трактир попить чаю и забиться на часок поспать куда-нибудь под стол или за стойку, другие — сейчас же итти по селам за хлебом; узнали, что ближайшее село в трех верстах. Несколько человек пошло к околице, —

— и когда они подошли к последней избе, где метели надули сугробы и откуда открывалась черная пасть пустого поля, — их остановила старуха.

— В Пронюхово идете? — спросила она.

— Туда, а — что?

— Не ходите. Меня тут Совет приставил — упреждать. Волки очень развелись. На людей бросаются. Вчера ночью московского задрали, за мукой приезжал. А нынче с вечеру — корову задрали. Погнали корову к колодцу поить, — как отбилась, никто не видел, — только слышут, ревет корова, как свинья, за задами, — побежали мужики, видят — шагов сорок — корова, а вокруг ней семь волков, — один волк тянет к себе корову за хвост, потом бросил сразу, корова упала, второй волк тогда корову за шею. — Когда подбежали мужики, полбока волки уже съели. — Не ходите! . .

Восток бледнел, впереди лежало черное холодное поле. Среди идущих за хлебом был один, приявший романтику городской, машинной, рабочей революции, — и эта весть

о волках, это холодное пустое поле впереди, страшнее волчьим разгулом, безмолвием снегов, навсегда остались у него — одиночеством, тоской, проклятьем хлеба, проклятьем дикой мужицкой жизни вперемежку с волками.

С тех пор прошло пять лет. И новые пришли декабри — великих российских распутий.

В те дни в России многим казалось, что исконными, российскими, еще от Петра Первого, дыбами, на огромные дыбы поднята Россия, и из 23-го, положим, октября 1917-го года, в 28-е октября перескочить надо по отвесу более отвесному, чем тысяча верст российских проселков — тоже ставшая дыбом. —)

Но и волки могут страдать... Я прожил эти годы волком, ничего, кроме страданий, они мне не дали. Я просыпался каждое утро с ощущением, что я на станции, уехал и застрял в пути, — но я — волк — и каждое утро я бежал от себя, к волкам же и в дебри... Я все думаю — какая же игра стоит свечей? — и какие же свечи стоят — вот этой игры, что разыграл я, человек, мужчина, инженер, прочее... У меня есть одно — моя жизнь, больше я ничего не знаю, и о ней речь. Трудно быть куром во щах. У меня есть навязчивые картины памяти. Вот несколько из них. Сначала две аналогичные... Это было в девятьсот девятнадцатом году в Коломне, когда я еще не знал Милицы. Была зима такая, как у самоедов, мы спали в шубах и валенках, забыли о белье, вечера коротали с лампадами и у каждого в комнате стояла железка, как на кубрике у матросов в каботажных кораблях: это потому, что мы шли на дыбах все в России, в российской равнине, поставив равнину в отвес, чтобы срываться... Днем я распоряжался столбами и растягивал проволоку, чтобы проводить электричество гражданам, — и работа была на каждый день, хотя проволоки у нас и не было: то тут, то там срезывали ночами проволоку, и тогда я знал, что завтра придет гражданин, поплачется, принесет должные за проводку мешки с мукою, поплачется и скажет, что «проволочичка у него, слава богу, нашлась, сохранилась от старых времен»... — потом, через неделю гражданин прибежал и уже не плакался, а орал, что «сволочи, воры, грабители» у гражданина срезали проволоку. Я знал, что назавтра придет новый гражданин. А у лампочек в общественных местах были надписи, в роде такой: «Вор! не трудись воровать! — лампочка припаяна!..» — Но я отвлекся. Коротко. В Коломне тогда формировался кавалерийский дивизион, шинелей для красноармейцев не было, и им из старых запасов выдали парадную гусарскую форму, красные штаны и всячески расшитые мундиры, — им было, должно быть, очень холодно, но иностранним зато красиво было смотреть на них. Я был в компании командиров. Однажды мы запили и играли в карты, три дня под ряд. Днем, все же, я ходил развешивать пере-переворованную проволоку. И вот, день на третий, днем, проходя мимо, я зашел на минуту, выпить водки от холода. Все было открыто, командиры жили в большом реквизизованном доме,

я прошел ряд пустых комнат и вышел в зал. И я увидел: как все спали. Четверо заснули за столом, один с зажатыми в руке картами и с закинутой другой рукой, чтобы кинуть карту и бить ей, — один спал стоя, прислонившись к печи. Махорочный дым улегся, в окно шел солнечный свет, очень яркий, и в комнате было безмолвно. Мне стало страшно, мне стало очень страшно. Тогда я побежал от них, каждая пустая комната давила новым страхом, и я бежал все скорее, — потом, уже на дворе, где столпились кавалеристы, я стал — не понятно, почему — за собачью конуру и стоял там с добрый час, и я знаю, если бы тогда кто-нибудь побежал мимо меня, я бросился бы на него!.. Это один эпизод, мне ничего не стоит призвать его, и тогда я, как наяву, вижу все подробности, но этот эпизод приходит мне в память, ясный, как галлюцинация, и помимо моей воли тогда мне хочется лезть под кровать и кусаться, и быть волком. Кругом нас, вчера, сегодня, тут, там, — такая страшная революция, — ты слышишь, как а я тишина?.. ¹ Но ведь мне все же жить, — и в сентябре бывают золотые дни... Но вот — другой эпизод. Это в детстве, я был гимназистом, в Расчисловле на рождестве к отцу собирались соседи-помещики, и они все ночи играли в большой шлем. Женщины и дети спали, за картами, обалдев, уже безмолвно, сидели только мужчины. Помню, глубоко ночью мне понадобилось встать. Вы, оба брата, меньшие, спали, — было темно, и за окном, в двух аршинах от стекла черпал ночь ковш Большой Медведицы. Дом замер в тепле, в просторном дыхании здоровых людей, в тех хороших запахах, которые несут деревенские святки в доме прадедов. Я по коврику и потом по коридору прошел в залу, на сундучке

¹ Эти подчеркнутые слова — «какая тишина» — необходимо сопоставить с отрывком из письма Андрея Кузьмича Лебедухи, рабочего Коломзава, — письма, написанного сейчас же по приезде Лебедухи из ссылки в 1917-м году:

«...сейчас утро, воскресенье, и меня разбудил колокольный звон, к обедне, что ли. Я приехал вчера, и мне рассказывали: — «в городе в пожарном депо, лежит убитый «бандит-большевик» Гришка Шпак, народу его показывают за два рубля с каждого, при нем лежат его два нагана и топор, — весной убили Митьку Громова, Шпакова коллегу, так того показывали бесплатно, — а третий их компаньен ищи ходить». Вчера бродил по Коломне, тишь глубокая, тишина вековая, безмолвие, а Кремль, как гнилой рот зубами, полон соборами и церквенками. Завод молчит, заводов у нас нет, у нас только боготы церквенки, и вот сейчас они звонят.

«Вы простите, что так начинаю я письмо: знаю, у всех, кто любит Россию, болью большой она, — у нас колокольни вместо заводов, — бог, чорт бы его побрал, не берет их на небо, они колоколят, как при царе Горохе. От этой тишины, что кругом, страшно, к чорту, надо, надо, чтоб Россия шумела машиной. И — нам не сидеть, сложа руки. Обыватель идет, ползет, испугался, распоясался хамом. Утром вышел на задворки и сразу попал в места, где скошенная рожь торчит, как торчала она при царе Алексее, триста лет назад, культура здесь не ночевала, здесь пахнет дичью и слезами. В поле единственное культурное начинание — коровьи кучи, удобрение, помощь мужику...»

спала няня. Двери в кабинет отца были открыты, и оттуда шел свет. Я подошел к двери и увидел, — вот это тоже всегда стоит перед моими глазами: на ломберном столе горели три свечи, четвертая потухла, и за столом сидели четверо, за картами, — отец поднял карту и задумался над ней, его партнер зажал сигару в углу рта и прищурился, выжидая, — двое остальных мне не запомнились, но они были неподвижны, — а по комнате ходил синими туманами табачный дым. Отец резким движением открыл карту, кинул ее на стол и сказал: — «Пикендрясы!» — Вот и все! Я проплакал всю ту ночь до рассвета. У Гоголя в «Мертвых Душах» есть это слово — «пикендрясы» — и я прочитал «Мертвые Души» только до этого слова, — не мог дальше. Ни разу в жизни не произнес вслух я этого слова, — «пикендрясы», — и больше всего в мире я чту память отца — за это слово — «пикендрясы», потому что любовь есть огромная боль, и боль — есть любовь.

«Брат! Брат мой! . . . И еще об одном я хочу рассказать. Помнишь, студентами, в Москве у Елисеева мы покупали гранаты, мы срывали красную кожу, и там внутри были красные, ничем не связанные с мякотью, холодящие и кисло-сладкие зерна. Как это передать? — Много раз, с Милицей, вдвоем, когда она лежала в кресле, а я стоял около и смотрел на нее, мне начинало казаться, я явственно видел, что, как в гранатах зерна, два ее карие глаза ничем не связаны с ее телом, что тело — это гранатовая оболочка чего-то странного, неизвестного, что выглядывает наружу парюю этих глаз и хорошо укрылось, вопреки всяческим анатомиям, там, внутри тела. То, лежащее внутри и выглядывающее глазами, сделано совсем не из костей и не из мяса, оно растет, должно быть, как коралловый риф и чертовы пальцы (помнишь, мы над Окой собирали чертовы пальцы? их цвет, как глаза Милицы, как кожа на переплетах старых книг). И много раз мне приходилось насильно прятать свои руки за спину, потому что, как кожу граната, мне хотелось, возможности не было не сделать этого — отковырнуть кожу между глаз Милицы, чтобы посмотреть, какими рифами срослись внутри глаза... Брат, брат мой!..»

(Это письмо Юрия Георгиевича Росчиславского (и письмо, ниженаписанное) пришло к брату инженеру Андрею в Коломну на завод в дни и при обстоятельствах, описанных в повести на страницах 80-х.)

Москва. Трубниковский переулок. Годы — девятьсот восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Зима. —

Где сердце Москвы? и не там ли, где твое сердце?.. Маями пустынно в Москве, белые сумерки ворошат душу. Раньше сотни лет под ряд, декаблями в переулках, в Москве кричали торговцы: — Ря-азань! Ря-азаань яблакооо! — —

Слова, автору, мне — как монета нумизмату. Рязань — яблоко! — в декабрях, когда дни коротки и каждый день —

как белый дом в переулочке, с печным огнем и длинным вечером у книг, — приносили антоновские яблоки, замороженные до костей и морозящие до лопаток, — в яблоках тонкими иглами сверкали льдинки, яблоки казались гнилыми — и пахнули таким старым и крепким вином! — Там, в декабрых, далеко от лета: и яблоки в декабре казались гнилыми — их страшно было коснуться! — и яблоки пахли древним вином. — Эти яблоки, как дома в переулках, белые дома с колонками, ушли в отошедшую сотню лет, в декабри, в закоулки старых российских зим.

А июнем — —

московский Кремль — сед, во мхах. На Спасских воротах бьют часы:

— Кто там заспал на Спас-башне?!

Чтобы пройти в Кремль в лето тысяча девятьсот двадцать первое, — в лето, как каменные бабы из курганов, — над Москвою белесые ночи в июне и декреты спутали время на два часа, — чтобы пропустить в Кремль белесой ночью, из Кутафьи-башни звонят в комендатуру. Кремль стоит седой, в ночной, как мхи, белесой мути стоят солдаты — в шлемах и в рубахах, похожих ночью на кольчуги. Из комендатуры точно спрашивают об имени и мандатах, и тогда пропускает стража в шлемах — по Троицкому мосту — в Троицкие ворота — в Кремль. Пушки во мхах мути, стоят как столетье, — Дворцовая улица пустынна.

Из древнего дворца, с террасы, откуда Иван Грозный бросал котят за Кремлевскую стену, — вся Москва у ног. Сердце Ивана Грозного было, должно быть, как поджаренная жаба. Внизу по стене за зубцами ходит часовой. Замоскворечье легло блюдцем — тем, с которого купцы пьют чай. Арбата нет, Румянцевский музей заменил горизонт, чертит небо осьмнадцатым веком. Лоб Лубянского холма стал товарищем. И огни, огни, огни. И белесое небо во мхах. И вся Москва в дыму, ибо — кругом горят леса. Это стою там, где стоял Грозный — я, писатель, — и рядом со мной стоит человек, писатель, большевик, имя которого в революционном синодике поставлено в первом десятке. Автомобиль, уставший стоять, весь день кроил Москву — но человек устал, и вот он стоит в нижней рубашке с расстегнутым воротом, ссутулясь. Там — Москва, Рязань, Помосковье, Поочье, Поволжье, — Россия. Здесь — совнарком, власть октябрьских воль, — и — тоже — Россия... Кремль — сед!

В комнате, где, должно быть, молился Иван Грозный, — стол, диван, стул, шкаф с книгами — и больше ничего. А за окнами конюшни и башни. В этой комнате — мне спать. Мы говорим. На Спасских воротах бьют часы:

— Кто-там-зас-пал-на-Спас-баш-не-э?!

Человеку — стать в рост каменной бабы, чтоб не увидеть в пути от груди к шее рытвин и пор — чтоб увидеть, как художнику, прекрасную красоту. Надо лицеловать ее колена? —

Над Москвой, над Россией, над миром — революция, прекрасная воля. — Какой чорт, вопреки чорта и бога, махнул Земным Шаром в межпланетную Этну? — Что такое мистика? — если зондом хирурга покопосить в язве Успенья-на-могильцах, что застроили купцы язвами небоскребов, — что такое мистика?! — Мхи на каменной груди бабы... Встать в рост каменной бабы — с зондом хирурга, — а ведь этим бабам молились вотичи!..

— Что же — каменная баба — Россия?

— Нет.

— Девятьсот двадцать первый?

— Нет.

— Планета?

— Да.

Но человек устал и так много в нем человеческой нежности.

— Надо спать.

— Спице, голубчик!

Кремль — сед. Соборы в Кремле стоят музеями. Автомобиль раскроил в тумане Кремль к Спасским воротам. И под звон часов — я думаю, думаю.

— Кто-там-зас-пал-на-Спас-баш-не-э?!

— Я! Я! Я! Я! Я! — отвечают часы пять, и — рассвет, красное полымя, заря с зарей близки...

А другим утром он, в первом десятке синодика революции, ранним утром разбудил меня шелестом бумаг, — нарком, — машина двинута, — машина в каменную бабу октябрьских воль. С террасы же — дневная, рабочая, небоскребная Москва, без хлеба и с конятникком.

В комендатуре солдаты в шлемах и в рубашках, как кольчуги. Дворцовая улица, Троицкие ворота, Троицкий мост, Кутафья башня и — Москва:

— И-и-и! А-а-а! Э-э-э! Ира, селетки, холера! — работная, деловая, небоскребная, — если повторять много раз — небоскреб — пахабное слово!.. — —

— — Дым, лесные пожары, людские пожары в России, болотные лихорадки, метели, — анофелес лихорадок, метелей, пожаров — одолел человека: вся Россия в сыпном тифе, и человечки в нем — язвинки, а Украина спорила с Поволжьем, Донщина с Литвою — как рука у горячечного с сердцем и колено с плечом. — Это — девятьсот девятнадцатый год.

Москва, Трубниковский. Зима. — Где сердце Москвы? — Милица!

В коридоре неделю назад расплеснулась вода и так и замерзла, и каждый раз, падая, надо подумать, что надо об этом запомнить, чтобы следующий раз не поскользнуться — и нет возможности

запомнить все. Холод идет с пальцев, и пальцы давно запухли от холода, красные, как морковины. По стенам попрежнему книги в строгих шкафах, первые прижизненные издания Пушкина, Дант, изданный сто лет назад, Шакеспепар, переведенный при Екатерине, французская геральдика и: бумага наркома в первом шкафу о том, что библиотеку нельзя реквизиовать, — на стенах строгие портреты, на полках старый фарфор, из угла чортом усмехается бронзовый китайский бог и около него десяток стеклянных боженят, и на полу ковры. И на столе — из Персии, вышитая, строгая скатерть: и на скатерти в тарелке севрского фарфора — две картофелины; в киргизской чашке — соль. И стыдно сказать: были нелады с желудком, доктор прописал касторку, и касторка не подействовала, потому что обезжиренный организм впитал ее — как жир, а не как лекарство!.. И вот, как комната, как книги, как ледяной росплеск воды в коридоре (холод идет с пальцев) — женщина в этих комнатах, как росплеск воды. Имя ей — Милица. Юрий Георгиевич Росчиславский понял, что тело ее — только футляр для прекрасных глаз. — Есть такие в России люди, как и во всем свете, должно быть, или они родились не во время, или время для них не существует: у Милицы с детства были книги, и для жизни был — водитель и друг — поэт Леопарди, — и, как книги, надо не спешить, медленно двигаться, думать, знать, уметь быть в итальянском ренессансе и в эпохе российского Александра Первого, как вот в этой комнате, — не заметив и не желая знать, что эпоху делали десятки людей, когда миллионы безэпоховствовали и молчали. Но: каждый человек прав иметь свой мир, — и: не счастье ль, ежели свой мир — есть?.. — и каждая книга знаема каждой страницей. Тогда, всю жизнь, муж, писатель, приходил к сумеркам с кипкою книг, — и вдвоем рассматривали Дельвиговские «Северные Цветы» с пометами — тушью — рукою Дельвига... Трубниковский занесло снегами, лишь посреди видась тропинка, зима ломилась с восемнадцатого в девятнадцатый год, Москва затихла в морозе, безмолвствовали даже очереди сплетен у промерзших магазинов, за промерзшей — кормовую — свеклой.

Муж умер сразу. Утром он ушел на службу, как ходили все тогда, потому что все служили тогда революции. Он возвратился ломовою лошадью, как ходили тогда все: на горбу принес мешок с овсом, под мышками портфель, два полена и доску из забора, — а за пазухой был том Некрасовского «Современника», надписанный Некрасовым для Достоевского. — Каких свечей стоит человеческая жизнь? — За окном были синие сумерки, и там промаршировал отряд красноармейцев, в лаптях, кто в шинелях, кто в полушубках, с австрийскими винтовками, — уходил, должно быть, бить кого-нибудь из белых генералов. Электричества не было, и зажгли две свечи, чтобы посмотреть «Современник». Муж встал, вышел, поскользнулся

о росплеск воды и — никогда больше не встал. Муж был строен и строг, и мир за ним — мир Леопарди — был, как из светелки. Трубниковский занесло снегом, муж три дня лежал на столе на строгой — из Персии — скатерти, — лошадой тогда не было в Москве и мужа — Милица — повезла — в Донской — на салазках.

...Человеческая любовь, человеческая нежность и внимательность, человеческая благодарность — приходят иной раз очень жестоко, и жестоко надо расплачиваться за них, — и томик Леопарди падает из рук!.. «В мае рассветы мучительны. Там, дома, в коридоре, где был росплеск воды, спит человек на полу: — убить бы, убить бы память о нем!»...

Трубниковский занесло снегом. Ничего не надо. Ничего не понятно. Росплески воды растут и растут, уже нельзя ходить коридором, и пальцы на руках — уже не морковины, посинели, как мороженое мясо. Мир, вот тот, что шеренгами рабочих идет бить белых генералов, тот, что идет с красными знаменами на Красную площадь, мимо, по Поварской, босой по морозу, что кидает, мечет — Россию, Россией — тот, что пушками бил по Кремлю — непонятен, чужой, никогда не понять!.. Ничего не надо — ничего нет. Была всегда она, Милица, строгой, прямой, целомудренной, — и тело раздвоилось, отделилось от глаз: глаза жили сами собой и замерли — там, в дореволюции. А тело испугалось холодного голода, картошки, которую достают где-то там в очередях у площадей, за которой ездят на крышах поездов в свисте ветра, метелей и винтовочных пуль, как за сказочной живой водой — из сказочного царства мертвой воды... и кто-то там командовал:

— Россия, рысью! Россия, влево! карьером, Россия!.. —

Тогда по дороге на кладбище в Донской монастырь, когда глаза застелились только слезами, ничего не видели, — подошел, прибился человек, человек, помогал везти гроб, номерок привешивал на могиле, — и обратно вез салазки, и говорил не мешая:

— Я и вас, и мужа вашего давно знаю.

И когда салазки скелетом прогремели по лестнице и по льдам коридора, когда комната с книгами встретила мертвью, в коридоре человек сказал:

— Я давно вас знаю. Я все для вас сделаю! Я завтра приду вам помочь.

Был он ласков, как теленок, предан, бесшумен, молчалив; носил он латышскую фамилию, такую, которая никогда никому в мире не понадобится, как и он сам, приехавший издалека учиться где-то в студии, чтобы никогда не стать артистом, но быть неизвестно к чему живущим человеком с паспортом актера. Он пришел и завтра и послезавтра, и остался на кухне. В каждом человеке есть, пока он жив, человеческая, физическая теплота; а он ходил и ездил куда-то там, в этот страшный мир, покоряющий

миры — январями — босячеством, — за картошкой и хлебом; где-то ночами разбойничал у заборов, как все разбойничали, растаскивая заборы на топливо, — и ночами же тогда, среди книг, сдвинув ковер, растапливал железку, такую, какие ставят на кубриках морских кораблей в дни полярных плаваний; электричество не горело, и красные отсветы от железки бегали по книгам, по фарфору, — к дивану, где лежала она, Милица... В каждом человеке, пока он жив, есть его, человеческая теплота, как и у щенка, — и как в морозы, как зверям, не греть людям друг друга этим своим теплом? — Ее глаз, глаз Милицы, этот человек не увидел, да и не мог увидеть, — и она ни разу не взглянула ими на этого человека — так — во весь рост, оком, которое, как заметил Юрий Росчиславский, уходит внутрь и там живет странными рифами, быть может, из окаменелостей книг, чтоб не видеть жизни. Глаза остались не при чем. Милица жила строгою жизнью и любила до Юрия Росчиславского только однажды: своего мужа, — и была она чиста. Но о расплесках в коридоре нельзя было помнить каждый раз, чтобы не падать поскользнувшись, — ничего нет, и ничего не осталось, и мир кругом шел в непонятность, в ненужность, люди оволчились и стали друг другу зверьем, человек был страшен. — А вот этот, нежный, как звереныш-щенок (хорошо ведь щенка приласкать, — пусть пригреет, пригреется!), был тут, молчал, со всем соглашался, куда-то там ходил и ездил за картошкой, и здесь у дивана — отсюда прогонял холод, сразбоив где-то заборину. И потом вот здесь у железки, как щенок у тепла, засыпал, ковер под себя подостлав... Глаза умерли, а тело — испугалось, должно быть, и — вот этой щенячьей теплоты — телу без глаз не хотеть — возможности не было... Такие полярные стали в коридоре морозы и трещал дом ночами, потому что разламывали ночами дворы. Ей, Милице, было все все-равно. У дивана горела железка, против железки на корточках сидел этот: и половину комнаты съела тень от железки, и половину комнаты съела тень от этого, — кроме него и железки ничего не было в мире. Тогда он встал, чтобы отгородить свет книгам, — Милица не увидела книг, освобожденных им, — он подошел к ней, к Милице, и опустил свои руки на ее плечи: он, этот человек, фамилия которого никогда никому не понадобится, который давал ей, Милице, картошку, — он не заговорил о своей любви, потому что она была ясна, — он просто, как щенок, в эту полярную ночь залез, чтобы согреться, под ее, Милицыны, шубы. Глаза были мертвы — и не видели, что теперь только половина комнаты в тени от железки, та, что к окнам, а книги — и Леопарди! — светятся черствыми корками и чортом усмешается из угла китайский бронзовый бог. Этот, без фамилии, любил по настоящему и настоящее понимая так, как умел понимать: не кинуть же в него и в нее камнем и — истинно: любовь человеческая, нежность и внимательность человеческие, благодар-

ность — приходят иной раз очень жестоко и жестоко надо расплачиваться за них!..

Утро пришло тогда семейной постелью, ледники света были ярки, и заблестели в красном солнце чорт и черствые корки книг. И тогда необходимо было взглянуть и увидеть — г л а з а м и : у в и д е т ы !.. Как каждому, человеку дано право — жить и видеть по-своему, и по-своему, до гроба, любить. — Этот, возникший, потому что ничего не нужно, говорил о том, что коровы («коровы? коровы? — ах, да, — млекопитающиеся, кажется, четвероногие?..») — что коровы стоят столько-то, только вон ту полку книг, где Леопарди, и будет свое молоко («ах, да, — коровы дают молоко!..»), — надо соль привозить, а не хлеб, — десять пудов, — на соль можно все получить!.. Этот оказался не тот, что вырос из книг и врос в книги, — и не те, что, полмира заставив железкой, Россией командовали влево. — Десять пудов соли — и будет и масло, и сало, и свое молоко. — «С голода мы не умрем, я не допущу, чтобы ты голодала!..» Этого чорта продать (ну его, страшно от него ночью!), эти вот книги продать, — это оставим себе, — «там остался от вашего (когда о муже, тогда: в а ш е г о) — от вашего мужа пиджак, можно его мне?..» — «Я пойду сейчас на Сухаревку!..» — «На углу мальчишка продает конину, — можно обменять?..» —

Глаз Милицы он не увидел — не увидал никогда. А Милице стало понятно, что остались только глаза, — тело отдано за тепло, — тело — тоже как вещь, которую беречь не стоит: ничего нет, ничего не надо, все равно... И только одно, всей оставшей силой, всеми памятьми, всеми глазами (что ледником сохранились от прежних времен, от прежних эпох, как мамонты в полярностях подлинных):

— «только книги оставьте, память оставьте, — оставьте глаза!»

И надо было, необходимо было, чтоб сплошная была полярность, чтоб все замерзло: и так и было, и веснами и в июле был полярный декабрь... Пусть последнее останется — глаза; тело — это еще не все, тело должно есть, хотя б ржаную кашу. А этот человек был предан, — этот человек любил и делал так, как понимал, и он таскал домой — и маслице, и кашку, и конинку — хотя корову так и не купил, оставив корову как «венец мечтанья».

... Юрий Росчиславский пришел весной, хотя это был сентябрь. Он пришел в девятьсот двадцать втором году, когда революция уходила в легенды. Маленькие трагедии — тому, кто трагедийствует — бывают иной раз больше мира: и всегда особенно страшны — пред лицом жизни и трагедии в смерть — трагедии те, где мелочь, бессилье, безденежье, комнаты, вещи — сильней человека. — В Москве не все уже дома можно было оттопить после ледников, переулки стояли, чтоб вымирать, — и тогда декретами стали все собираться в дома, где зимами можно

было, уделив каждому, кто трудится, шестнадцать квадратных аршин, топиться на этих аршинах: — шестнадцать квадратных аршин российской разрухи много внесли Достоевщины, когда в комнате было дважды-шестнадцать квадратных аршин, когда муж расходился с женой и им некуда было выехать, и они оставались вместе, а муж женился на новой жене, и втроем они жили на соседских шестнадцати квадратных аршинах!.. — Тот, безымянный, с коровьим венцом, отдал, конечно, свои шестнадцать аршин в копилку комнаты с книгами. — Юрий Росчиславский пришел, чтоб увидеть глаза Милицы, чтобы глазами, как гротом, спуститься в солнечный холод Леопарди и чтоб разбирать почерк Федора Достоевского на книжке «Времени», подаренной Некрасову, — чтоб спуститься в холодок тихих слов и мыслей — там за этими днями, ибо мир не только этими днями закутан. Юрий Росчиславский пришел весной, хотя это был сентябрь: и Милица встретила его тем «бабьим летом» любви, когда первая паутинка морщинок у глаз греет солнцем, любовью более благостной, обреченной и прекрасной, чем солнечный холод Леопарди.—Каждый щенок прав жить и кусаться (когда ему больно) по-своему, — и за человеческую нежность, благодарность и внимательность: очень жестоко надо расплачиваться человеку! — тот, мечтавший спастись коровой, начал кусаться по-своему, — и в какую-то больницу его отвезли потому, что он выпил стакан нашатырного спирта; но он остался жив, и его привезли на шестнадцать его квадратных аршин, — и с шестнадцати этих аршин он уйти никуда не захотел. В любовь, благостную, как первые паутинки, как холодок бабьего лета, в последнюю и единственную, как последняя любовь—полетели с шестнадцати квадратных аршин:

- «проститутка»,
- «содержанка»,
- «по моей площади всяких хахалей прошу не водить»,
- «мешают спать»,
- и:
- «прости»,
- «не уходи»,
- «пожалей»,
- когда жили только одни глаза и ничего, кроме глаз и июля, не было...

Из колонии психически больных Юрий Росчиславский прислал брату письмо, вот оно:

«Брат! Брат!.. я утверждаю: счастья на земле много, вот оно, всюду, кругом, — и я счастлив теперь, потому что я — волк. Мы, волки, счастливы потому, что у нас нет никаких начальств. Я грызу врагов и грызусь за друзей!.. И чем меньше обременяет государственность — тем лучшая государственность. Все

эти годы каждый из нас был государственным, все вершили судьбы России: а я не был им, и Вагнер, Шекспир и Рафаэль остались для меня на прежнем своем месте, как и Россия осталась на прежнем месте, — только вот люди, которые меня окружают на нашей даче (они — люди, а не — волки!), очень странны и мне надоедают: один пишет сам себе на все ордера, проснется утром, пишет на стене — «Мандат» или «ордер» — «дан сей гражданину Мыльникову на право встать» — и только тогда встает, потом пишет мандат — «дан сей на право умыться» — и моется; другой ворует у всех хлеб, прячет его за пазуху, под кровать — и не ест, умирает и умрет с голода; третий — интеллигент — налетит, перстом в грудь — «именем Советской Республики вы арестованы» — и сейчас же сам лезет под кровать к сухарям, — а потом вылезет и разговаривает со мной о волках и об англичанах, я ему подробно рассказывал «Путешествие Гулливера» Свифта и «Утопию» Томаса Мора; и так двадцать человек, кроме меня. Иногда вся эта компания бунтуется, неизвестно почему, и однажды даже сломали решетку в окне. Однажды я одному — он пишет проект, отказывает человеку в его индивидуальной жизни, может доказать революционность или контр-революционность солнца — однажды я ему хотел перегрызть горло, но мне не удалось. Все это пишу я тебе, брат, не потому, что меня все это сколько-нибудь волнует, — я волк, и мне одинаково неприятно иметь дело с людьми (потому что они могут меня подстрелить), — в лучшем случае безразлично, потому что на выборы и на подкарауливание в очереди паспорта я трачу неделю в году: это я пишу тебе потому лишь, что ты до сих пор остался человеком. Мне жаль тебя, брат, потому что ты человек!.. А мне теперь все равно — у нас в лесу всем свободно, нет никаких шестнадцати квадратных аршин... Я скрывал от тебя, открою тебе: я жил в Росчиславовом лесу за Окой у Бюрлюковской пустыни, меня поймали люди и посадили сюда, хорошо, что не убили!.. Я жду момента, — о! у меня секрет, — ты знаешь пословицу о нас, о том, что, сколько волка не корми... — в нашем доме в Росчиславовых горах прибита вывеска — «Коммуна Крестьянин», — я бегал туда воровать кур: я тебе никогда не рассказывал, на святках, мальчиком, раз ночью мне понадобилось встать с постельки, горшечек забыли поставить, я пошел через весь дом, у папы двери были открыты и он сказал — «пикендрасы!» — Я проплакал всю ту ночь до рассвета: никогда не читай Гоголя! Впрочем, на нашем дому уже нет вывески «Коммуна Крестьянин»... — Вот почему я стал волком. Переходи, брат, к нам...»

Выехать маем из Москвы — —

в вечер, в поле, в туманы, в соловьиный крик, сладостен тогда даже первый укус комара, — а кукушки поистине отсчиты-

вают годы счастья! — — О Милициной кровной сестре о Елене Осколковой — потом, дальше, хоть все — июлем — одно к одному...

В колонии для психиатрически больных или, попросту, на сумасшедшей даче было сто тринадцать больных, был, конечно, медицинский персонал, сторожей было четыре человека. Точно установить причины драки между сумасшедшими возможности не было. Вечером был обход врача. Двери заперли на ночь. В коридоре остались сторож и сиделка, сторож вскоре заснул, сиделка вышла на крыльцо, к ней пришел знакомый (была майская ночь, и в ночи не переставала кричать кукушка, садилась роса). Когда сиделка вернулась, в палате № 3 был уже крик, сумасшедшие в своих халатах стояли между кроватей и орали все вместе; тогда из угла, сняв с себя все, на четвереньках пополз Росчиславский, он бросился на спящего с ближайшей кровати и стал грызть его горло. Сиделка побежала за мужиком. Мужик схватил палку, соседняя сиделка побежала за фельдшером и врачом (врач ушел в село на практику), — когда они вернулись, сумасшедшие гуськом гонялись друг за другом, — Росчиславский вышиб раму с решеткой, разбил стекла и бросился в окно. Остальные бросились за ним. В это время было уже ясно, что все гонятся за Росчиславским. Дача была на горе, на берегу Оки. Росчиславский побежал к обрыву, — и на несколько минут была надежда, что он будет спасен: он прыгнул с обрыва и затаился, вернувшись шаг назад, под кустом. Сторожа с палками стояли в стороне, боялись подойти. Все гуськом прыгали через Росчиславского и бежали дальше к реке и в туман. Но, когда прыгал последний, Росчиславский — на четвереньках — бросился на него, укусил его за ногу. Тот завизжал — и через несколько моментов Росчиславского уже не было в живых под навалившейся на него кучей сумасшедших... —

— Выехать маем из Москвы: — в вечер, в поля, в туманы, в березовую горечь, в счастье отсчетов кукушки, — счастье тогда даже первый укус комара! — —

Два других брата Росчиславских, Андрей и Дмитрий: о них дальше, потом, как есть о них уже теперь, сейчас — —

Идет и проходит май.

Идет и проходит июнь.

Идет и проходит август.

О волках, из главы «О волчьей сыти».

...Были: октябрь, чернотроп и первая пороша, леса днем, деревни ночами, волки, — были: — волки!.. Уже неделю они бродили по лесам, эти семеро, по пустошам, около Андриюшевского оврага. Сначала были дожди, потом на ночь грянул мороз, и наутро, перед рассветом, упал снег; в этот день первой пороши они убили пять волков, настигнув стаю по следам. Стая все время уходила от них. Это был угол, где сходятся три губернии — Московская, Рязанская и Тульская.

Время проходило так: к полночи они приезжали, на телегах, в отрепьи, с ружьями, запутанные во флажки, с котомками, забрызганные грязью до глаз, — они приезжали в деревню, где поблизости были волки. Все сразу они лезли в первую попавшуюся избу, начальник отряда требовал самовар, соломы, председателя. Шумно и устало пили чай; расстилали на полу солому; ошалевшему председателю, прибежавшему с печки, приказывали к утру собрать полсотни кричан, загонщиков, мужиков и баб в трудовой повинности, сажали его вместе пить чай, чай с ситным и вареной колбасой. Потом чистили ружья, просматривали патроны, располагали их в патронташах, по порядку калибров картечи, — десятки раз перепросматривали ружья друг-друга — «Три кольца» Зауэра, Бельгийцев, Гейма, Штуцера. Семью мужика, того, у кого остановились, загоняли на полати, в угол, — и шумно ложились спать на соломе, не раздеваясь, вместе с ошалевшим поросенком, в анекдотах и песнях, пугая храпом тараканов, под головы подсовывая сапоги и все, что попадется...

Леса стояли бесшумны, безмолвны, осыпавшиеся, поредевшие, в серости, в дожде. Листья в лесах шумели едва-едва, и, если долго стоять и прислушиваться к лесному шуму, — не зазвонит в ушах, потому-то идут неуловимые шорохи, тишина, замирание, и только под-ногами двигает листья лесная мышь, да очень далеко пиньпинькнула синичка; у Андриюшевского оврага, на болотинах, в сосновом лесу и ольшанных перелесках, в березовых клинках росла высокая трава, — и слышно было, как осыпается она, звенит. К сумеркам лес темнел, стихал совсем, замирал, в перелесках возникал серый туман, дождь моросил туманом, невесельем. И в сумерки, в те минуты, когда село солнце, настал мрак, и лишь едва остались тени от неокончательно погибшего солнца, когда даже мыши стихли, — обкладчик-пскович Тимофей подывал волков: в лес они приходили втроем, он был с ножом, те двое с ружьями; те двое, инженер Росчиславский и второй, оставались под деревьями, Тимофей шел на поляну; трое они шли безмолвно, меняясь знаками; на поляне Тимофей вставал на корточки, подпирал шею руками, зажимал особенно глотку и — начинал выть, как воют волки. —

Он выл — тоскливо, страшно, длинно, монотонно, как воют матери; он выл — отрывисто, визгливо, взлаивая по-собачьи, как воют перьярки; он домовито выл, степенно-злобно, как воют самки: — и в лесной тишине ему откликались волки, — тем, стоящим на изготовке под деревьями, было страшно, и Тимофей во мраке уже казался не-человеком, полуволок. Когда Тимофей выл матерым, отзывались матери, злобно; когда Тимофей выл самкой, матери откликались ласково и злобно самки. Лес был безмолвен, и только этот вой на версты щемил лесную тишину: сиротством, страхом, нехорошо... В лесу на новой поляне валялась падаль, лошадиная стерва — привада: волк ночью пойдет грызть ее, трепать, играть с костями, учить щенят, — на утро волки будут здесь... Тимофей похож на получеловека-полуволок, — вот он выполз из мрака, неожиданно — сразу встал с четверенек, погладил бороду, сказал:

— Семь волков. Сука, матерой, два перьярка, три щенка. Идемте.

И он пошел вперед, походкой, точно косят две косы, старик восьмидесяти лет, всю жизнь проживший, как и его отец, с волками, научившийся с волками говорить на волчьем их языке, сам похожий на волка, молчаливый, навсегда лесной. Те двое, что стояли под соснами на изготовку, — потому что матери иной раз бросаются на подывалу, когда он воет матерым, учуяв в нем соперника на волчьи святки, — шли сзади, поспешали, и им страшен был Тимоха, вот этот, что сейчас при них припал к лесным, к волчиным тайнам, и молчит о них, как о пустяках, — вот о том, что здесь, в каких-то саженьях бродит стая волков, придет на падаль у Мистрюкова пруда, будет там играть волчьей своей, недоброй человеку игрой. Тимофей неожиданно говорит:

— Иной раз по осени ищешь волков, по всем приметам, тут им держаться, тут и лаз ихний, — и набредешь на логово: — такой дух у волков отвратительный, не могу сказать, а знаю, — попади мне в руки тогда волк — пустыми руками задушу его, глотку перегрызу, такая ненависть к духу ихнему, не могу сказать!..

На телеге Тимофею первое место, охотники едут шарашить деревню, — Тимофей, сухонький старикашка, лезет на печку, где потеплей, долго разминает руками пальцы на ногах, самогона выпивает полстакана и спит, посапывая древним старикашкой, с открытым ртом, откуда торчат странно-белые и большие зубы. Охотники спорят, матершинят, делят колбасу, торгуются о качестве махорки — без него. Начальник отряда, рябой кожевник Иван Васильевич, и Тимофей уходят в лес задолго до рассвета, — и место сбора егерей и кричан — у Мистрюкова пруда на стреме...

И в час рассвета, в мутный, нехороший час, как сто лет назад, охотник Степан, в помощь сельскому председателю, дубасит в сельский сполох, зовет деревню на сход. Степан сплошь

в кожах, и язык у него кожаный, чтоб пускать кожанейшие слова. Сполах бьет судорожно, испуганно. Мужики, бабы, подростки бегут к колодцу рысцой, на ходу напяливая тулупы, в валенках — пятки наружу — по грязи. Председатель стоит недоумело, молча. Степан молчит. Мужики недоумевают, смотрят в стороны и вниз. Тогда Степан орет на версту:

— Товарищи-крестьяне! Вам рассказывать нечего, какое бедствие для вас волки! Они... иху в селезенку мать, можно сказать, ваше бедствие!

— Это — что и говорить, — говорит недоверчиво старик с пахляной бородой и с посошком в руках.

— И вот, товарищи-крестьяне, отряд по истреблению хищников приехал истребить ваших волков! От вас, товарищи, требуется, чтобы вы отделили от себя пятьдесят кричан, то-есть загонщиков, загонять в загон волков!

— Это — что и говорить, — говорит бодрее старикашка.

— А какая плата? — на чаек надоть! — говорит со страхком кто-то сзади.

— Ттоварищици! — орет Степан. — Наша республика бедна, — никакой платы, — это для вашей же, мать вашу... в гроб, пользы, едрить-твою корень! Вот мандат от исполкома, кто не подчинится, того в клоповник, к матери в... — для вашей же пользы!.. Прошу не возражать, вопрос ясен! Считайте с каждого двора!.. Начи... —

— Это — что и говорить, — говорит бодро мужичонко. — Он для нашей пользы, — волк у меня летось теленка задрал, что и говорить, и мы без мандата, своей охоткой...

— Начинаю! — кричит Степан. — Товарищ председатель, — перепишите всех, кто отказывается итти!.. Живо!..

— Мы без мандатов, — говорит мужичонко; он вышел вперед, поднял свой посошок. — Что и говорить, мы своей охоткой... для нашей пользы, значит...

Било было прибито у колодца. Кругом стояли избы, нищие как с искогон веков, в соломенных шалях крыш, в трахоме оконцев, мигавших коптилками в этот рассветный час. У колодца торчал журавль, болталась бадья. Дорога в колеях по колено упиралась в забор, там росла рябина, — там шел скат под гору, к оврагу, и там был конец свету рассветного часа. Невесело было. Моросил дождь — на благо озимым, на грех лаптям... В избе, где ночевали охотники, солому сдвинули в угол, на столе кипел самовар, делили колбасу, над помойником по очереди мылись, просматривали ружья, совсем запугали поросенка и хозяйку. Потом изба набухла загонщиками, им раздавали трещетки, давали советы, приказы, наказания, раздавали флажки. Степан отвечивал бабе-хозяйке мяса, сала и гречи — на щи и кашу к обеду после охоты. Еще, в сотый раз, за чаем, наспех, перечитывались из тощей книжечки охотничьих правил правила облавной охоты: — «с номера без команды

начальника не сходить, ружье заряжать только на номере, охотничья этика не позволяет»... —

Потом запрягали лошадей, садились свеся ноги, с ружьями без чехлов и меж колен, дулами вверх, ехали окруженные кричанами, — и вскоре егерь Павел запевал разбойничью какую-нибудь песню, разгульную и щемящую. Тогда подхватывали все, пели, пока не подъезжали к Андрюшевскому лесу.

У Мистрюкова пруда ждали Иван Васильевич и Тимофей. Тимофей уходил к загонщикам. Здесь все молчали, были деловиты. Каждому по очереди Иван Васильевич говорил обещающе, самое главное, — шопотом.

— Волки здесь, никуда не ушли.

Потом всем:

— Закуривайте, ребята, последний разок, — и пойдем на номера...

Кричаны ушли с Тимофеем, потащили за собой флажки, ушли вереницей, безмолвно, в лес, — лес сокрыл их своей тишиной. Егерей осталось только семь, тех, что неделей бродили, таскались за волками. Они были деловиты и беспокойны, они спешили докурить свои собачьи ножки, их бессонные лица были решительны. Лес — осиновые заросли, березовый клин — безмолвствовал, серел в дожде, сырость съедала шорох шагов. Иван Васильевич первый бросил папиросу. Тогда пошли: бесшумно, почти на цыпочках, гуськом, с ружьями в руках, — каждый школьником ждал пальца Ивана Васильевича, как он укажет:

— Здесь, вот под этим кустом и стой!..

На номере — над тобой сосны, перед тобой дорога, полянка, заросли, трава по колено, лес, — здесь волчий лаз: — зарядить ружье, загородиться хвоей, стать неподвижно, ни кашлять, ни курить, ни двинуться поспешно. Надо стоять, застыть, — и — тишина. Соседних егерей не видно, лес сер, безмолвен, небо в клочьях облаков, — с сосен капает, под ногами шелестит лесная мышь. Душу, волю, все — собрать в комок, съежить кулаком: — убить!.. Пять, пятнадцать, двадцать пять минут безмолвия, — душа лесная так, как было здесь столетьем. И тогда вдали — выстрел, — а за ним — трещетки, крики, ать-ать-ать-ать-ать, аля-ля-ля-ля-ля, оть-оть-оть! — лес вскрикнул эхом, гудом, помножил голоса и шум трещеток, сто сорок леших побежало без оглядки, полетели птицы, поскакали зайцы, — зайцев бить нельзя, — охотники — егеря — одним комком, крепко сжато цевье и пальцы на гашетках. Прошла лиса, еще промчали зайцы, — и вот, на правом фланге, дуплетом — ба-бах! ба-бах!.. — Это значит: — волк! Это значит: — смерть! Это значит: — убивать! Вот эта неделя бессонниц, беспутств, разбойничьих песен, телег по ночам — для этой минуты, для самого тайного. Лес — сдвинулся, двинулся, куда-то пошел, лесная душа, лешие. И волки — и есть эта лесная, лешачья душа.

И есть в мире — гашетка, мушка и волк, и волчья смерть. Ать-ать-ать, а-ря-ря-ря, а-ля-ля-ля, оть-оть-оть! — кричит лес.

И тогда выходит волк — прекрасный, красавец волк. Голова его вскинута гордо. Он идет крупным шагом, он стелет полено. В серых зарослях, откуда он возник, он кажется огненным, куском огня, он стремителен и верен в своих движениях, красная шерсть стала на спине. Тогда — стремительно: — мушка, ствол, глаз, волчья голова, дым на момент, выстрела не слышно, — и видно, как волк прижал уши, как — на одиннадцать человеческих шагов — волк прыгнул в сторону, и волк галопит... Убила ли душа лесная? — с засады сойти нельзя, нельзя кричать, — лишь еще раз поспешно перезарядить ружье. Но волк все время перед глазами, каждый его шаг, каждое движение, куском огня, куском лесной стихии, той, что —

Потом по лесу тянет запах пороха, кричаны здесь, облава кончена, охотники идут с засады на засаду: — «Стрелял? убил? ушел?» — «Дай закурить!» — «Где моя шапка?» — Вот из кустов кричаны тащат волка, — и: *страшно смотреть на мужиков, потому что каждый, каждый — бородатые, солдатски-бритые, старики и молодые, мужики и бабы, в овчинах, в валенках, в лаптях, босые, земляные жители, скалясь, как вот этот убитый волк, бессмысленно, жестоко, мстя за все свои беды, — бьют этого мертвого волка, швыркают ногами по носу, в бока, под хвост, плюют на него, — «ууу, паааааа, у, стерва, ууу, жрец, ууу, гаааа!»... У мертвого волка течет кровь изо рта. Толпа мужиков, овчины, мужичий дух, оскаленные зубы, поднятые кулаки, жестокие глаза.*

И Степану надо орать:

— Ну, ну, — отходи, разойдись! —

чтобы толпа не разорвала волка в клочья. Мужики отходят злбно.

— Он съел мою овцу! —

— Он задрал мою телушку! —

— Он утащил моего ягненка! —

Лес темнеет октябрьскими сумерками. Лес гудит человеческими словами, пахнет порохом, зайцы давно уже за много верст, и только птицы осторожно возвращаются на прежние места. У Мистрюкова оврага охотников дожидаются лошади, — егеря валят на них волка, садятся по бокам, ноги к колесам, ружья меж колен, едут по грязям. Тогда егерь Павел запевае разбойничью песню, удалую, бесшабашную, страшную, и остальные егеря подхватывают ее остервенело, простуженными глотками. Лес откликается эхом, — этот поощкий лес, где хаживали еще и мещера, и мурома, и татары, и царские стрельцы, поди, много слышали таких песен! В деревне уже трахомятся глаза изб, сиротит в ветре и дожде журавль колодца, рябина запеклась в черную кровь. — Баба сварила шей и каши, — охотники лезут в спорах и крике за стол, — Иван Васильевич режет на столе

мясо, руками сваливает его в миску, командует, — «ешь с мясом!» — и охотники, деревянными ложками, неся их до рта на краюхе хлеба, поспешно едят. Потом одни ложатся на солому отдохнуть, другие играют в козла, все поют песни, спорят о ружьях, о промазах, о том, кто как «резнул» и «ахнул», — так до полночи, когда придет Тимофей и скажет, где он подвыл других волков. Тогда запрягают обалдевших лошадей, взятых по наряду, валят на них котомки и ружья, валяются сами — и едут в ночи, с песнями, гиком, воем, матершиной, сказками, прибаутками, — до новой ночной избы, до новой остановки, в новые грязи...

Иногда волки уходят, след их теряется, — тогда охотники гоняются за ними — по лесам, по болотом, по грязям — сутками, проходят и проезжают десятки верст, по всему уезду, балдеют, растериваются, на ноги ставят всех лесных сторожей и объездчиков. Степан без толка собирает сходы, костит мать, богомать и бога, грозит тигулевкой. У всех охотников тогда одинаковая от переутомления походка, точно ноги на шарнирах, у всех заплыли в бессоннице глаза и осипли глотки, ржавеют ружья, сыреет махорка. Так было в дни до пороши. Прихватил морозец, телеги тряслись по кочкам, как горох в молотилке. Охотники разбились на три отряда, рыскали пешком, отсылая подводы без толку за десятки верст. Дождь перестал, день прошел в ясности и солнце, с полночи повалил снег, опять потеплело и начало развозить. Тимофей ходил один, в лесах и спал и ел, — и он набрел на волков у Кобяковских выселок, у патриарховой пустоши. Поблизости здесь была Бюрлюковская пустынь — Тимофей пришел туда в полночь, долго стучал по окнам своим смитом каких-то лошадиных размеров, — и этим смитом древний старичишко, теперь подлинно похожий на волка, послал монашек по соседним селам, а оттуда хоть к чорту, но чтоб были к рассвету здесь егеря...

— «В революцию русскую — в белую метель — и не белую, собственно, а серую, как солдатская шинель, — вмешалась, вплелась черная рука рабочего — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоты, скроенных из стали, как мышцы, — эта рука, как машина, — взяла Россию и метелицу российскую под микитки: никто в России не понял романтики этой руки, — никто не понял, что она должна была быть враждебной — врагом на смерть — церквам, монастырям, обителям, погостам и пустыням — не только русским, но всего мира; что это она должна была — во имя романтики, как машина, — нормализовать, механизировать, ровнять, учитывать, как учтена, нормализована, механизована машина, сменявшая солнце электричеством, что это она в каждый дом внесла романтику быта заводской мастерской и рабочей казармы, с их полумраком, с их пылью, с их теснотой, с их расчетами и сором бумажным в углу, на полу, и на столе под селедкой. Это — рабочий. Тогда казалось, что над Россией из метели восстала — бескровная черная машина, рычаг которой в московском Кремле, Россия была лишь желтой картой великой европейско-российской равнины, бескровной картой — в карточках, картах, плакатах, словах, в загради-

тельных отрядах, в тысяче мандатов на выезд, в нормализационной карточке на табак, в человечьих лицах, пожелтевших, как табачные карточки». — —

«Некогда Россия — столетьями — прожеванная аржаным — шла культурой монастырей, от монастырей, монастырями, где разбойник и бог рядом. Так создавались Владимирская, Суздальская, Московская Руси. На столетья — в веках — застряли иконостасы, ризы, рясы, монастыри, погосты, обители, пустыни, — дьякона, попы, архиепископы, монахи, монахины, старцы. В монастырях, в городах за спасами, в церквах за папертями, в притворах, в алтарях — иконами, паникадилами, антимирами, ковриками, по которым нельзя ходить, невидимо — ютился дух великого бога, правившего человечьими душами две тысячи лет, — рождением, моралью, зачатием и смертью, и тем, что будет после смерти. В церквах пахло ладаном, тем, которым пахнет на улицах, когда несут покойников. При нем, при боге, были служки, которые носили костюмы ассирийцев: они мало что знали, они богослужили, но они чуяли, что у бога нет крови, хоть и разводят кровь вином, и что бог уходит в вещь в себе, — они же протирали лики икон и ощущали себя — мастерами у бога, у них было много свободного времени. — Человечество, жившее в тридцатые годы двадцатого столетия, было свидетелем величайшего события — того, как умирала христианская религия. — Но — исторический факт — в шестнадцатом веке в России, в семнадцатом — монастыри были рассадниками и государственности русской, и культуры. И другой исторический факт — в революцию русскую тысяча девятьсот семнадцатого — двадцать второго годов — лучшими самогонщиками в России было духовенство».

Монастырь лежал в лесу, у соснового бора, на берегу озера, — на болотах, на торфяниках, в ольшанниках, в лесах — под немудрым поокским небом. Монастырь был белостенным. По осеням, когда умирали киноварья осины, а воздух, как стекло, — цвели кругом на бугорках татарские серьги. Неподалеку, в семи верстах, шел Астраханский тракт — старая окаянная путина, по которой столетьем колодничали. И есть легенда о возникновении монастыря. Монастырь возник при царе Алексее Тишайшем. Смута уже отходила, и засел здесь на острове среди озера разбойник атаман — Бюрлюк, вора Тушинского военачальник, грабил, с божьей помощью, Астраханку: знал дороги, тропинки лесные, вешками да нарезями путины метил, — заманит, засвищет. И на Владимирском тракте однажды, кроме купцов, изловил Бюрлюк двух афонских монахов, с афонской иконой. Монахов этих убили, перед смертью монахи молились — не о себе, но о погибшей душе Бюрлюка, о спасении его перед господом, — о них же скажут богу дела их. Монахов этих убили, но икона их осталась, и вскоре потом Бюрлюк перелил пушки на колокола, в месте разбойничьем стал монастырь. Легенд таких много на Руси, где разбойник и бог — рядом.

Но монастырь стал почему-то женским, хоть и сохранил имя Бюрлюка — Бюрлюковская женская обитель. И идут декабри, в ночах, в снегах, в метелях. В новую российскую метель — Бюрлюкова обитель погибла, забыта: за монастырскими стенами военное кладбище — склад авио-слома, ненужный уже и революции, при нем шесть красноармейцев, комиссар и военспец. — Монашки живут на скотном дворе, без церкви, роются в поле по веснам, зимами что-то ткут и доят советских коров.

Охотники разбились на три отряда. Ту порошную ночь егеря Степан и Павел провели у монашек... — Ночь. Падает снег первой пороши. Под монастырской стеной идет проселок, сворачивает к монастырским воротам, к арт-кладбищу, идет мимо скотного двора, через гостинные стройки, начало и конец его затерялись в лесу. Ночь темна, холодна, шипят сосны, шарит ветер. В малом гостинном доме из нижнего этажа, из угольных окон идет красный свет (там живут, под надзором арт-кладбища, анархисты, высланные революцией из столиц)... Тарахтит телега, едут двое, ноги на отвода, меж колен ружья, — проезжают на скотный двор, тихо стучат в окна и слышен тихий разговор, и лесной шум, и скрип шагов. И мутный свет возникает вскоре в другом конце малого гостинного дома, во втором этаже. И опять тишина, стелется снег в тишину, и шумят лишь необычные к снегам сосны. Новый возникает огонек — у монахинь на скотном дворе, вспыхнул — потухнул, вспыхнул опять, — и вот перебежала по снегу на дворе из тени в тень — бесшумная и черная монахиня, и скрипнула калитка. Гостинный дом построен так, как строятся хорошие казармы и конские конюшни: продолговатой коробкой, с коридором посреди, с двумя выходами в концах коридора и со стойлами номеров направо и налево. Степан и Павел глотками отогревают номер, гремят подсумками и ружьями.

Монашенка растапливает печурку. Они, Степан и Павел, бодры, стаскивают армяки, распоясывают куртки. Мрак лезет в окна. Монашенка зажигает лампу.

— Ф-фу, холодно! Хо, фа! — самоваришко нам, да попогонки бы, — говорит Степан. — Ха, фа! И печку теплее. Сырость.

— В одной горнице спать будете, или как? — спрашивает монашенка, улыбается, — она стоит прямо, против огня, черное монашье платье обтянуло грудь, на свету зубы, глаза, лоб, — и Степан видит, что лицо монашенки, молодой еще, красиво и хищно, — она смотрит на Степана покойно, еще больше хочет выпрямиться, откинув спину и голову назад, белые зубы светят из-за губ.

И Степан говорит:

— Как ты прикажешь, матушка, без дураков, — в двух, и подружку зови. Попогонки достанешь? А поужинаем вместе. Тебя как зовут?

— Сестра Ольга. А ты, батюшка, ведь офицер Герц? А он — комиссар Латрыгин? — попогонки достану, спосылаю к попу на село. Я пойду, самовар поставлю. За печуркой посмотрите, чтобы теплее. Пришлю сестру Анфису. Только — чтоб потише, — чтоб никто не слышал.

Степан Герц греется у печки, — ффу, ха, фа! — монастырский гостинный номер невелик, у изразцовой печки — печурка,

за печуркой деревянная кровать, постель под одеялом, шитым из лоскутьев, на столе под лампой — белая скатертка.

— И придут? — спрашивает Павел.

— Придут, — отвечает Степан.

Приходит другая монашенка, сестра Анфиса, белая и плотно-телая, — ни Степан, ни Павел не замечают, что она в черном галочьем платье, — и Степан, и Павел сразу представляют, что тело ее — не то, чтоб было полно, но деревянно, крепко сшито, как у калужских копорщиц. Сестра Анфиса смеется добродушно и чуть смущенно.

— Печурку надо в другой горнице растапливать, кто со мной? — спрашивает она и фыркает.

— Иди ты, Павел, — говорит нехотя Степан.

Через полчаса в горнице тепло, парно, со стен и окон течет сырость, окна плотно занавешены, на столе, под лампой, шипит самовар, на тарелках разложены — яйца, масло, соль, черный хлеб. Герц вынул из сумки баночку с сахаром, на окне у стола стоят две бутылки самогона, у стола — две монашенки и двое мужчин, самогон разливает сестра Ольга, чай — сестра Анфиса. Лампа — чуть коптит, или так кажется от пара. Печурка, железная, на четырех ножках — полыхает, жужожит, — вот-вот соскочит с места и завертится юлой по полу от жара. И сестра Ольга говорит строго:

— Скорей ужинайте, а то нам половина двенадцатого на молитву, часы стоять.

Но до полночи еще долго. — И через час — прощаются: сестра Анфиса и Павел уходят в соседнюю горницу. Сестра Ольга стоит среди комнаты, Степан — у стола, опершись на него, — спиной к нему — руками. Ольга прислушивается к тишине дома, подходит к печурке, заглядывает в нее, подходит к кровати, откидывает одеяло, медленно идет к столу, протягивает руку привернуть лампу, — и, приворачивая, другой рукой охватывает шею Степана, загораясь, стгорая, — губами, зубами вливает в себя губы Степана —

— Я тебя знаю, Герц. —

У полночи — мужчины спят, обессиленные. Сестра Ольга встает с постели. Привернутая лампа начадила, печь потухла. Ольга в белой рубашке, надевает чулки, башмаки с ушками, рясу, шубейку, черна, как галка. Она раздувает огонь в печурке, припускает свету в лампе. —

Над землей — снега. Эти часы насыпали снег и на сосны, и смолкли сосны, и тишина. За навесом, на скотном сарае, за калиточкой для навоза на огороды, к лесу, — стоит баня. Тут темно. По двору, из углов идут черные тени монахинь — через навозную калиточку, в полночь, к бане. В бане, где был полок, весь угол в образах, мигают — не светят, не освещают лампы, собирается десятка полтора черных женщин, согбенных, и молодых, и старых. И старуха запекает —

старческим дребезгом вместо голоса — некий тропарь, который человеку со стороны показался бы диким, страшным и нелепым. И сестра Ольга подхватывает истерически мотив, и падает на пол, стучаясь лбом по доскам пола. В бане полумрак. В бане жарко натоплено. В бане черные женщины, и черные тени от черных женщин — овцами — бегают по стенам и потолку. В бане замурованы окна. — И мотивы тропарей все страшнее, все страстнее, все жутче. — Так идут часы. — Женщины поют истерически, в бане — —

— — А за третьими петухами, когда не долго до рассвета, но ночь темна, черна, мутна, — сестра Ольга вновь идет в гостиный дом, во второй этаж. Степан спит. Ольга бросает на пол шубейку, в черной рясе наклоняется к лицу Степана, долго смотрит в лицо, — она, изогнувшаяся на кровати, похожа на черную кошку — или на ведьму? — которая хочет выпить всю силу и всю кровь. Степан не знает — —

— Ты коммунист, Герц? — —

— — Герц не знает... Герц просыпается от удущья. Свет от чадающей лампы полумраком, — и над Герцем склонилось лицо, глаза широко раскрыты, безумны, и белым рядом из-за красных губ блестят зубы. И Герцу вспоминается что-то смутное, уже очень далекое, сокрытое за метелями, за голодами, за скитаниями, — где-то там в октябре в Москве, и Герцу душно. — — Сестра Ольга охватывает его шею, черная в черном, точно хочет задушить — —

...К рассвету, когда пришел Тимофей, пришла метель.

Тимофей, пришед в монастырь, долго стучал своим смитом в свет оконца анархистов. Анархисты — интеллигенты — которых сослала революция, — трое, старик с бородой Толстого, и муж с женой, оба стриженные и в пенснэ, — жили в двух комнатах. У них не было печки, где можно было бы поспать, — и Тимофей лег отдохнуть под обеденным столом. К рассвету поднялась метель. Степан уехал в метель за кричанами. Рассвет пришел метелью, зимой, — и к рассвету в комнате анархистов собрались все охотники, чуем учуяв Тимоху, и сюда же пригнал Степан загонщиков, отослав троих по дороге — в волость в холодную. Комнаты анархистов, потому что лежащих в России всегда бьют, выли ведьмой, забились снегом, людьми, махоркой, матершиной, — женщина в пенснэ ставила бесконечный самовар, мужчину в пенснэ послали на село за самогоном, ситным, мясом. Степан, не спавший как следует ночи, пригнав загонщиков, залезал — вздремнуть минуту — в кровать старика, в сапогах под простыню. — И охота была легкой: волки вышли все, и всех их убили, пять волков. С прежними, убитых волков стало тринадцать. Охотники стреляли все, нельзя было разобрать, кто убил и кто пуделял, все спорили;

Иван Васильевич побил Степана, ударил дважды по лицу, — поэтому они возвращались друзьями. Охота кончилась. Охотники ввалились вместе с волками. —

На столовом столе охотники разложили волка, определяли по направлению выстрела кто убил, — и старик с бородою Толстого кричал на женщину в пенсне, чтоб она пошла и сказала, что здесь живет толстовец, враг убийства, что он болен, хочет жить, просит быть потише и к нему не шляться. — Степан послал женщину куда не гоняют телят.

Охота окончилась, у охотников началось пьянство, волки валялись на дворе, двор был глухо заперт. Сосны выли недобро в метели, а метель усиливалась. Охотники пили и пели разбойничьи песни. Тимофей, старикашка, подвывала, пскович, который на биваках всегда спал и был всегда незаметен, всегда молчал, теперь тоже пил и пел. Потом он здесь в доме, посреди комнаты и охотников, показывал, как надо подвывать волков, — здесь в комнате он становился на четвереньки, зажимал себе горло и выл, как воют волки, — *в комнате был волк, — нехорошо, страшно...* Анархисты ушли из дома, прогуляться. Они вышли в лес, стояли в метели, слушали, как воет метель. Потом молча они пошли назад. Когда они входили на двор, они оба стали, испуганные: — на дворе выл волк, *страшно, зловеще, тоскливо и победно одновременно. Потом они увидели человека на четвереньках, этот человек полз к мертвому волку, он опрокинул волка на спину, и стал своими зубами грызть волчью шею.* У дверей в избу на крылечке стал мочиться другой человек, и по голосу узнался Степан, — он сказал:

— Брось, Тимош, — не томись!..

В доме визжала гармоника, тучами ходила махорка, Степан плясал русскую. Иван Васильевич спал среди пола, Павел все запевал о том, как с Нижня-Новгорода собирался стружок. *И посреди комнаты сидела — ко всем передом — бабуща, госпожа земля, с такими всяческими качествами и буераками, что в ней можно было найти «попову собаку», ее окружности так степенно рассеялись по всей избе сразу, — и это из-под нее торчали, из-под всяческих ее правд и прелестей — и новгородский Павел, и кожаныый Степан, и кожевник Васильич, и волчарь Тимоха, и изба, ибо бабуща и над избой села. Лицо бабущи Марьи было здесь, в избе, оно было очень довольно, дремучее, в лишаях бородавок, в склизлых морщинах, вспотело от самогона, губа на губу, глаза закрыты в спокойствии, из носа и изо рта сопли и слюни. И пахнула бабуща всем, что стащили на себя охотники за неделю лесов и мужичьих изб...*

...Наутро охотники ехали домой, на телегах среди зимы. И теперь это были совершенно обыкновенные люди: — кожевник Иванов, народный судья Герц, аптекарь-хохол Лашевич, комиссар Латрыгин, инженер Росчиславский, часовых дел мастер Пантюхов. Тимофей, древний дед, спал, свалившись

на волков. И не это важно, что эти люди стали самыми простыми людьми, которые завтра станут за свои дела и на улице в городе будут кланяться друг другу по чину и званию, — а важно то, *как деревни встречают волков*. Охотники проезжали многие деревни, — каждая русская деревня всегда смотрит на проезжего сотней голодных глаз, затаенно и остро. — Теперь же *каждая деревня всей своей нищетой, всем своим людом от мала до стара сбегалась посмотреть на волков и послать волкам — кто как может — свое проклятье — мертвым, бессильным, бесстрашным волкам*. Здесь была вся русская деревенская злоба, нищета и тупость, — и надо было защищать волков — мертвых волков — от пинков, от плевков, от дрекольева, от оскаленных зубов, от ненавидящих глаз, — ненавидящих уже не человеческой, а звериной, страшной ненавистью. И аптекаря, и инженеру, и часовых дел мастеру — им всем было страшно этой мужичьей ненависти, скотской ненависти, трусливой, беспощадной, и они были на стороне — если так может быть — мертвых волков.

И был уже настоящий зимний день в бескрайнем сиротстве наших полей.

«Коммуна Крестьянин», из главы «Склад бюро похоронных процессий».

О Расчисловых горках поют девки: ¹

...и каждую весну цветут на Росчисловых горах яблони, и будут цвести, пока есть земля: сады в белом яблоневом цвету кажутся костяными, неподвижными. А осенью польют дожди, придут покров и казанская, мужики подберутся после лета, спрячутся по избам на зиму, падут белы снега, — и сады станут вновь костяными, в заморозках: и будут падать белы снега, пока есть земля! — Там, за оврагом, за Росчисловыми горами — Ока, луга — Дединовские, Любыцкие, Ловецкие, Белоомутские луга: раньше тысячи людей кормились десятками тысяч десятин, поставляя на всю Россию миллионы пудов сена, —

¹ Впрочем, частушек очень много, бабье творчество, ибо — «твой милой в красноармейцах, мой у Балаховича, — твой повешен, мой расстрелян, — наша доля вдовичья». Бытописателю их не обойти. «Охохонюшки-хо-хой, ходит барин за сохой, в три ручья он слезы льет, нашей кровушки не пьет». — «Раньше нашего брата не пушали в ворота, — теперь в парадную зовут, последни юбки отдають». — «По деревне слух идет — вшей забрали на учет, чтобы вшей пересчитать, стали баб учить читать». — Подлинно: — «наживу себе беду, в сортир без пропуска пойду, — я бы рада пропуск взять — нету денег взятку дать!» . . . Частушки — девичье творчество, гуляночное. Бытописателю не выкинуть слова из песни. В парнях большой недочет.

Как Расчисловские горки —
Странные делишки. . .
Все помещики — Егорки,
Последни портчишки. . . э!

теперь на лугах гибнут сена — пыреи, дятельники, осенцы, горошники, кашку — заглушил дурулом осот...

Поет девка:

— Я у тяти пятая,
У мила десятая. —
Ничего нас так не губить,
Как любовь проклятая! . .

Поет парень:

— Ноне легкая женитьба,
Со советским листом. . .
Называли это ране:
«Под ракитовым кустом!» . . э!

Вселяясь в Бирючий буерок, в усадьбу Росчиславских, коммуна «Крестьянин» приняла инвентарь — по описи, и Сидор Меринов, завхоз, мусоля чернильный карандаш, писал на каждом стуле — *стул*, и на каждом столе — *стол*, — чтобы было точно, и только тогда расписался в описи, в знак приема столов и стульев. Помещица Росчиславская была принята в члены коммуны, объявила себя коммунисткой, ей с дочерьми отвели для жилья оранжерею, но старуха вскоре померла от перепугу. В сущности, описи не требовалось делать: в доме и на чердаках валялось много и неописанной рухляди. Старик Росчиславский, путейский инженер, исходил в свое время на изысканиях пол-России, и в главном доме, нежилом, в комнате за его кабинетом кучей свалены были астролябии и теодолиты: Мериновы без описи отвинтили сферические стекла, и, по весне, когда стало пригревать солнце, закуривали этими стеклышками, чтобы экономить спички, — и даже в людской избе положили на окно большое стекло, для всех. Из Мериновых в коммуны пошли только три брата, младший, Григорий, остался на селе с матерью. —

В тот год была бесснежная зима, и весна пришла ранняя, в ветрах. Мериновы прожили зиму скучно, в бездельи, — у Липата, председателя, сошли с рук мозоли, — зиму прожили в теплом доме, ели и спали, часто выходили за варок, к проселку, и стояли там часами, глядя в снежные пустые поля. Мериновы на деревне имели одну душу, жили в одной избе, Липат и Логин подростками ушли в город, служили в дворниках, — Липат еще тогда выбился в люди: устроился к рязанской купчихе в любовники и как раз с тех пор стал сохнуть со спины и с заду, всегда ходил в валенках, ездил к докторам и бабкам лечиться от срамной и всем говорил, что у него не то грызь, не то учин... И тогда же, с города, Мериновы отвыкли от мужичьей работы, — знал ее только старший — Сидор, привыкший всю жизнь гнуть спину, — сначала он в коммуне отъедался, потом затомился в бездельи; — и это он писал на столах — стол и наvertsил сферических стекол. Он же и завывал ночной продажей в город, за соль, спирт, мануфактуру

и спички — хлеба и баранины. Мужики на коммуну смотрели косо, злобно, недоверчиво, сторонились коммуны.

В черновике Акта по осмотру коммуны КРЕСТЬЯНИН рукою Ивана Терентьева было записано:

«Читальной нет, книг много, но про них не все знают. Книги нашлись в главном доме, в ящиках, пересыпанные листовым табаком, «чтобы не ели мыши», как объяснил завхоз. Книги очень ценны, много на иностранных языках. — В коммуне есть не знающие, члены ли они коммуны (слесарь и мальчик подпасок), — общих собраний не припомнят. — Крестьяне, входящие в коммуну, берут с собой и крестьянские свои наделы, избы же на поселке сдают внаймы.

Баба:

— Да, што уж, родимый, погорели мы, до тла погорели, совсем обеспечили, вот и пошли в камуню. Исть, ведь, надоть.

Другая:

— Нищая я, касатик, спаси их Хресте за кусочек хлебца старушке. Полы я за то мою и коров дою. . . Нешто от хорошей жисти пойдешь на этакое озорство?

В коммуне только четыре семьи: три брата Мериновы и их двоюродный брат, — остальные бобыли.

Живут в двух домах и бане. Один дом — дача 12 × 12,4 комнаты и кухня, живут 8 человек: три брата Мериновы с женами и их родственник. Второй дом 11 × 14, людская изба, одна комната, окно заткнуто тряпками, живет 23 человека. В доме, где живут Мериновы, чрезвычайно много кроватей, чисто убрано, на столах скатерти, по стенам следы от клопов; бабы молодые, на подбор дебелие, в башмаках, напоказ вяжут за столом. В людской избе — грязно, низко, темно, все старики и старухи, босые, спят вповалку.

КОММУНА

Десятин пахотн.	200.	72.
» озимых засеяно	24.	20.

ДЕРЕВНЯ

Людей	31.	75.
Лошадей	14.	11.
Коров	13.	12.
Свиней	8.	—
Домов	3.	18.

Едят с мясом. конский щавель.

Сеялки, веялки, плуги. сохи, бороны.

Культурного сельского хозяина нет ни тут, ни там. Деревня сдавала по разверстке: зерно, масло, мясо, яйца, шерсть, картошку. Коммуна ничего не сдавала.

(Протокол сохранен Иваном Александровичем Непомнящим.)

Шла весна, как с исконок веков, хлеб у мужиков подобрался, стали заваривать мякину, подвешивали коров, мужики подтягивали гашники, — коммуна была сыта, аптекарь из города — за картошку — привозил спирт, тогда Мериновы запирались у себя в доме, к ночи, пили спирт и орали песни. Великим постом пришел из Зарайска приказ — убрать из коммуны иконы. Иконы вынесли на чердак в главном доме, и к богу тогда отнеслись безразлично, Сидор же Меринов снял и спрятал в землю с икон ризы.

В ту весну дули ветры, — весенние ветры ворошат души русских, как птичьи души, весенние ветры манят бродить,

к перелетам. Мериновы не сидели дома, — в доме было жарко, парно и кисло пахло от добротной жизни, — ходили по усадьбе, выходили на проселок, часами сидели в кухне на конике, выткнув тряпки из рам, к солнцу, — за бездельем не успевали все время приготовиться к летним работам. И на пятой неделе, когда повалился снег и пошли долгие дни в ручьях и грачином крике, — всполошились: два брата Мериновы, Логин и Липат, — прогнали жен с семьями, старший вселил в избу на селе, второй пустил по миру, — и оба стали искать себе новых баб. По округе невест не нашлось; из ближних деревень никто не хотел итти без венца, а венчаться Мериновы не могли. Невест найти помог Кацапов-старик, лет тридцать державший трактир на выселках у шоссе, не то хлыст, не то скопец, хоть и была у него семья таких же безбородых и безбровых, как он. — Несколькими днями Мериновы ходили тайком к Кацапову и Кацапов к Мериновым, — потом Кацапов закладывал в коммуне каурого жеребчика, хозяйственно подвязывал ему хвост, надевал суконную бекешу и — в гулкие весенние дни — уезжал сыскивать невест. Баб Кацапов сыскал нескоро и обеих — дебелых, грудастых, красивых; ездил за ними в разные концы верст за шестьдесят: одну взял от каширских молокан, вторую — от гусяцких, с Гусяцких выселок, где жили конокрады и старообрядцы. Бабы пришли к Мериновым без венца, за деньги, — сели в чистом доме, засорили на крылечке подсолнухами, и месяц в Мериновском доме прошел в блуде и веселии. Был двадцать первый год, — в этот месяц прошли благословенные весенние дни земного цветения, — в этот месяц напала на коммуну шпанская мушка, гнус, томила запахом псины, лезла за шивороты, жужжала зноем.

И в этот же месяц пришла в коммуну старуха Анфуса, из Каширы, мать одной из новых мериновских жен, вся в черном, с лицом, как у галки. Анфуса затормошилась хозяйкой, воркотливо, хлопотливо, комнату выбрала себе в главном, нежилом, доме, как раз ту, где раньше лежали теодолиты. Иконы в коммуне были свалены на чердаке (и ризы с них закопал в землю Сидор), — Анфуса не взяла их к себе, но привела их в порядок, расставила на чердаке под крышей, расчистила перед ними место, скрыла его чердачной рухлядью. В первый же день своего приезда она пошла к Кацапову, — и ночью видели их троих — ее, Кацапова и *Ягора Ягоровича Комынина, бывшего земского начальника*. Хлыст и Ягор Ягорович стали своими в коммуне. Ягор Ягорович полеживал на солнце, пятки вверх, — хлопотала Анфуса. — Тогда старуха — и за ней бабы — потребовали властно, чтобы Ягор Ягорович Комынин исповедывал их и перевенчал с Мериновыми. Исповедывал Комынин у себя в землянке на своем саженце, с глазу на глаз, — венчал — на чердаке главного дома, тайно, в присутствии Анфусы, Кацапова и Сидора Меринова, — и на первом же венчании, в восхищении и экстазе,

Кацапов заговорил — о новом боге Ягорушке. Скопец же привез откуда-то песни на драных лоскутках, и Мериновы зубрили эти песни, чтобы петь их по ночам на чердаке. И тогда же пошли шопоты, что Елену Росчиславскую, младшую, отдали в богоматери богу Ягорушке...

Нил Нилович Тышко написал письмо матери. В этом письме излагалось: — «... что же касается советской власти, то могу сказать, что у меня есть совершенно достоверные сведения, что все коммунисты получили приказ поступить в новую веру, какую — не могу сказать, должно быть, масонскую, — в каждой коммуне избирается свой бог, и ему принадлежат все женщины»... — и прочее.

Выписка из «Книги Живота моего» Ивана Александровича Непомнящего: — «Если бы бога не было, его все равно нужно было бы выдумать, — сказал Вольтер, и, поскольку ноги не растут из подмышек, а оттуда, откуда им приписала судьба, истина о выдуманном боге будет истиной до тех пор, пока не придет знание, и поэтому — вклеиваю в книгу свою вырезку из «Продовольственной Газеты» Наркомпрода за вчерашнее число: «Надежда на урожай хлебов пропала окончательно. Рожь выгорела без налива. Яровые местами не вышли совершенно, а в некоторых волостях пробивают высохшую и затвердевшую корку, и где вышли — пожелтели от бездождья. Даже картофель, последняя надежда чувашей, пропал во многих местах. Чувашки обращали свои молитвы до сих пор к языческим и к христианским богам. Под развесистыми деревьями приносили они кровавые жертвы: закалывали овец, лошадей». — Коммуна Крестьянин выродилась в сектантскую коммуну, потому что мужики Мериновы ложью и бездельем отступили от мужичьей тяготы и правды, — ну, а мистика всегда с «женским вопросом» связана».

Примечание в разговорах, анекдотическое:

Расчисловы горы.

— А ты куда идешь?

— В Расчислово.

— Ну, тогда иди.

— А что?

— Не пускаем мы зато селом комунских.

— А что?

— Не пускают они наше стадо своим выгоном. А обратно продовольствие прижимают. Ну, мы зато и не пускаем.

Разговор этот у околицы, пришел чужой, чуждый человек, старик. У каждого еврея извечное в глазах, то, что оставила красная нить иудейства, сшившая человечество. — Еще Иисус Христос сказал: «не единым хлебом сыт будешь», — но и приварком. Человек, еврей, сионист, — голодающий, — в соломенной шляпе, в ситцевом пиджачке с манишкой из целлюлоида, с тросточкой и корзинкой, — и с глазами, как третий век до рождества Христова, — пришел к Андрею Меринову в Росчиславовы горы. Те дни были днями юдолей июля, когда села Рязань на картошку, — и был праздник. На заваленке сидели мужики, беседовали.

— По разверстке с нас брали хучь — девяносто, то-ись, пудов, а теперь, дивствительно, сто двадцать, по налогу, то-ись. Опять же — шерсть, масло, яйца, к примеру. По нас хучь бы разверстка зато. Один омман. Опять же ране брали, хфакт, с пяти домов богатеющих. Теперь же хфакт — у меня восемь ядаков, то-ись, а он сам — друг-ядак, а все одно — плати с наделу.

— А разверстку по ядакам, то-ись, не хотят мужички, к примеру. Как жили, так и проживем, то-ись. . .

Андрей сказал матери:

— А ты что стоишь, глаза выпучила? Самовар поставила — и проваливай к соседке!

«Нету казенки, нету вина, —

«Пей политуру, ребята, до дна! . .

В избе все стены были в плакатах — в дезертирах, генералах и буржуях, по полу коврики, под образами лампада. Андрей — в лаковых сапогах, «при часах», пахнул как Нил Нилович Тышко. Уходил из избы, вернулся с «вечинкой», с чернилами и бумагой, — из кармана вынул бутылку. — Дал прочитать бумажку:

«Дорогой Андрюша я про вас скучилась выходи ко мне на свидание».

— Выпей для храбрости. Хороший — самогон. А потом пиши мне письмо, покрасивши. Вот. — Пиши. Пиши, что я об ней сохну, но выйти никак не могу. А еще пиши Дуньке Климановой, чтобы выходила гулять. . . А картошку — устроим! Нынче у нас в союзе молодежи спиктакль, приставление, я секретарь, — опосля и устроим у комунских, у братьев. Другие не продадут — сами конятник подмешивают.

По небу стрижи чертились — по осеннему — к вечеру, зной же спадал го июньски, по всей деревне пегухи кричали и — опять по осеннему — резко, одиноко, сейчас же за задами ворковала горлинка. Через улицу, в амбаре жевала рожь ручная мельница, сберегала четырехфунтовки, храпела на всю деревню. А сумерки нашли на Росчисловы горы зеленой мутью июня, луна поднялась медленно: горожане, исковеркавшие ночи на два с половиной часа вперед, забыли ночи. Вечером в школе («э-эх, школа земская стояла, э-эх, стояла да упала. . . Собрался тут сельский сход, — обсуждали целый год! . .») — вечером в школе, под вывеской —

«Росчиславский культурно-просветительный кружок» —

был спектакль. Человека, еврея, сиониста с глазами, как век, — по недоразумению, разумеется, — Андрей притащил с собой, и он был единственный старик на спектакле, сошедший за молодого, ибо был брит. В парнях, девках, подростках, набитых, как в теплушке на железной дороге, — в мясе тел, в буферах женских — деревенских грудей, в писке, визге, гармошке, в сизом дыме махорки, в запахах пота, махорки, помады, пудры, *даже идоформа*, — было святочно, как на святках, — и на партах сцены, рядом с хромой Росчиславской, Марьей Юрьевной, стоял председатель — в белых лосинах и в сандалиях.

— А сосалу-макалу, советскому голубчику, Андрюше Меринову, — наше вам! . .

— Сами сосал-макалки. Вот я вас — того-с! — и присвистнул.

— Где уж нам уж — мы уж так уж!

— Больно ты яровитый!

Председатель в лосинах — что есть мочи — крикнул:

— Товарищи! Сианц сичас начинается! Прошу потише и притушить лампы в зале! —

Его перебила хромая Марья Росчиславская, крикнула:

— Товарищи! В пьесе выступает офицер с золотыми погонами. Золотопогонники теперь отменены, — это только по пьесе!

В притихшем мраке шептали:

— Андрея, прошу вас, — не щепись зато, — Андрюшка жа!

На партах играли без суфлера, заменяли игрой отмененные курьерские, не костюмы — а опять святочный маскарад. А среди пьесы — шум, треск! — с парты упала лампа. Закричали, загамили, завыли, в разбитое окно потянуло землей, земным отдыхом. Лампу потушили.

Председатель в лосинах, спросил:

— Товарищи! Упала лампа, спрашиваю вас, начинать приставление с того места, где пожар, или обратно сначала?!

— Вали сызнава!! О-о-о! А-а-а! . .

Человек, еврей, сионист с глазами, как третье столетие до рождества Христова, — ушел потихоньку со спектакля, уюркнув от Андрея. — Мериниха, Андреева мать, лежала на печи, — гость лег на лавке. Лампадка горела тускло, пели на деревне петухи.

— Спишь? — спросила басом Мериниха.

— Нет.

— Что же будет, объясни ты, христа-ради.

— А что?

— Я уж не говорю про житье, — голод зато и голод, недостача, бог наслал! . . С народом-то что исделалось! — объясни, ты образованный. Ты смотри — Андрей меня — старуху, — матку! — по зубам шваркает чем ни попадя, ханжу бузует, девок портит. . . Я, правда, спуску не даю, — ну, а другие? . . А девки? . . — ни единой-разъединной целой нет, не порченой, — только и делов, что по авинам с парнями шмурыгать. . . Да что девки? — они малоумны, — бабы, мужики взбеленились, по третьему разу за зиму женятся, — и все дуром, и все дуром зато! . . Амман, сикуляция, денной грабеж. . . Царя отменили — так, малоумный был. Ну, а бога почто отменили? — Объясни христа-ради, ты образованный! . .

Старуха ноги с печи свесила, сидела лохматая, страшная. . . А глаза — голодные — были еще в дорождестве Христовом, — лежать на скамье, следить за тараканом, ничего не думать — думать: — картошки бы! . .

— Молчишь зато? — я тебе объясню. Ан-чи-христ пришел! Вот что! Ан-чи-христ! Конец свету.

. . . А поздно ночью ввалился в избу Андрей. Зашумел, свистнул.

— Вставай! Идем.

— Куда?

— Куда — куда? — в комуню зато!

Прошли оврагом — буераком Бирючим — около поблескивал ручей, а тумана не было, роса села-холодная, посырел ситцевый костюмчик, небо было в ключьях деревьев, свисших вверху.

— Забирай по днищу. Хоша не караулють, а може стерегут. Днесь одного убили, се-таки, городского. Курить тоже нельзя. . . А Дунька Климанова — выходила, огулялись! . . Сичас придем.

Контрабандисты: если поймают — избыбют. Где и как тут в оврагах чорт ногу сломал? — Посырел в росе комтомчик. Баня в коммуне стала к обрыву задом, — уперлись в баню. Деревья спутали расстояния, спятились, — небо вырвалось из деревьев огромным платом, в звездах и — где-то — с лиловой полоской рассвета. Усадьба стояла во мраке. Андрей знакомой тропинкой пошел ко крайнему оконцу бани, постучал в оконце, еще раз, еще.

Из избы вышел человек Логин Меринов, секретарь коммуны «Крестьянин», не мужик, а коряга из пруда, с валенками на двух коряжинах снизу.

— Ты, Андрей?

— Я, браток, — выноси.

— А еще кто?

— Свои.

— Ну, сичас. Еще вечер все отвез, три мешка картошки, пуд пшена, масла чухонского полпуда. Гость-то московский?

— Нет, из города, рязанский. Получай манету, все верно, как говорили.

— Ну, знакомы будем. А желтых тыщев нету? У нас мужики очень желтые обожают. Когда надо, загляни, господин. Знакомы будем. Конешно, запрещают, но нам нас. . .

На обратном пути, в овраге, на своей стороне сели отдохнуть, закурили.

— Слышь, а слышь суды! Соломон Ливонич, что я тебе хочу сказать. . . Я тебе по-товарищески, по своей цене, показал, где. . . Что

я тебе скажу. . . Купи мне лисипед! — Купи мне, пожалуйста, лисипед. До страсти мне хочется. Купи, пожалуйста, а то с меня три шкуры сдерут в городе. Может, где по знакомству, — скажи, — за картошку, может, за масло. . . Уж очень до страсти мне хочется лисипед! . . Купи, пожалуйста. . .

А избы на деревне стояли по-ночному. Въелись в землю, вкопались, с картошкой, на картошке. Луна шла к западу, поблескивала мертво в соломе крыш. Глаза у человека — тысячами лет!

Леший прокричал в лесу: гу-ву-уз! . .

... И каждую весну цветут на Росчисловых горах яблони и будут цвести, пока есть земля...

РАЗДЕЛ КНИГИ ОСНОВНОЙ, УЧИН ВО ХРЕБТЕ.

- Россия, влево!
- Россия, марш!
- Россия, рысью!
- Каааррррьером, Ррросссия! —

Машина, из главы «о волчьей сыти».

... Тракт стар, зовут тракт Астраханским. В голубой дали верст — с тракта, с Росчисловых гор, со Щурова, от лесниковой избы, где зимует Машуха-табунщица, — в голубой дали верст черный возникает заводский дым — Коломзавода, гомзы, стали и бетона, — и красные — страшные горят оттуда — ночами — в тумане — огни, чтоб пугать людей и филинов, и — волков...

(Смотри примечание на стр. 20 о возникновении Коломзавода, о песнях ђ земь и о гольтепе...)

У завода возникли деревни, поселки, выселки, слободки; на завод потянулись местные, коломенские и зарайские мужики; Парфентьево, Чанки, Щурово, Перочи — сменили соломенные крыши на железные, возле изб построили палисады, на рубахи надели жилеты, в жилетном кармане — часы. Но пришли и чужесторонние, гольтепа, шаромыжники, мартышки, в черных мастеровских куртках (среди них пришел и род Лебедухи), — эти селились под заводскими стенами, в бараках, по три семьи в одной каморке, жен брали тут же, жены беременели, дрались друг с другом, в общей печке варили похлебку — по будням — и в праздник — пирог, жены были всегда сухогруды и широкоживоты, жен этих часто меняли, делили, проигрывали в двадцать-одно; — эти жили всегда без потомства и рода, вымирали в одном поколении; — эти знали все заводы в России, от Уральских, Донецких до Питерских, до Тульского, всех мастеров, штейгеров и инженеров по имени; — среди этих были странные люди, иные говорили на многих языках, иные носили с собой дворянские паспорта, иные были без паспортов, все они пили и с новым запоем уходили на новый завод, они пели песнями ђ земь; — в их бараках не водились даже клопы, но когда они

наряжались, они не пускали рубах из-под жилета и тогда надевали шляпы;—жен они никогда не брали с собой, жены жили с заводами... Как они возникали — они эти — у заводов, о их детстве, о их вчерашнем и завтрашнем — никто не знал, — им терять было нечего. — Мужики — те приходили на завод иначе, с «мальчиков», и сначала научались бегать перед дождем на квартиру к мастеру за калошами, с мастеровой супругой на базар, по понедельникам с похмелья рабочим — через забор, тайком — за водкой в кабак; учили их подзатыльниками, а учителя надо было поить по субботам — за подзатыльники и за науку... Завод был каменный, мужичьи крыши перекрывались железом, — но к самому заводу, к заводским заборам подпирала жесточайшая, даже не деревянная, а тряпишная — нищета, в водке и в песнях ѓ земь.

А там за заводской стеной, за завкомом, —

— дым, копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа, — полумрак, электричество вместо солнца, — машина, допуски, калибры, вагранка, мартены, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны, — горячие цеха, — и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка, — из дерева, — черное домино, — при машине, под машиной, за машиной рабочий, — машина в масле, машина неумолима — здесь знаемо — в дыме, копоти и лязге — ты оторван от солнца, от полей, от цветов, от ржаных утех и песен ржаных, ты не пойдешь вправо или влево, потому что весь завод, как аякс и как гидравлический пресс, одна машина, где человек — лишь допуск, — машина в масле, как потен человек, — завод очень сорен, в кучах угля, железа, железного лома, стальных опилок, формовочной земли, —

— там, за заводской стеной, за завкомом, в турбинной, в рассвете, в безмолвии, в тишине, когда завод стоит, и сторожа лишь стучат сороками колотушек — человек, инженер — его никто не видит — поворачивает рычаг и: — (из каждого десятка новых — один — одного тянет, манит, заманивает в себя маховик, в смерть, в небытие — маховик в жутком вращении своем, вращаньи — в допусках — в смерти), — его никто не видит, он поворачивает рычаг и :

завод дрожит и живет, дымя трубы, визжит железо, по двору меж цехов мчат вагонетки ползут сотне-тонные краны, пляшут аяксы. Его никто не видит, человека, повернувшего рычаг в турбинной, но завод — живет, дрожит и дышит копотью труб. — Идет рассвет, гуд и гудок, и сотни черных людей идут к станкам, к печам, к горнам. — В сталелитейном, у мартенов: все совершенно ясно; в сталелитейном полумрак; в сталелитейном — пыль; в сталелитейном горы стальных шкварков; уголь, камень, сталь; в сталелитейном пол — земля, и рабочие роются в земле, чтоб

врыть в нее формы, куда польют жидкую сталь; сквозь крышу идет сюда кометой пыли луч солнца — и он случаен и ненужен здесь; — у *мартенов все совершенно ясно*: в мартенах расплавленная сталь, туда нельзя смотреть незащищенными глазами — когда подняты заслоны, оттуда бьет жарящий жар, туда смотрят сквозь синие очки, как на солнце в дни солнечных затмений, — и совершенно ясно, что там в печах, — в печи — в палящем жаре, в свете, на который нельзя смотреть, — *там зажат кусочек солнца, и это солнце льют в бабды*. — А в кузнечном цехе — чужому, пришедшему впервые, страшно: — тоже в полумраке — в горнах раскаляют сталь добела и потом куют ее в прессах, как тесто, и молотами бьют, чтоб сыпать гейзеры искр; в кузнечном цехе полумрак и вой, и гром, и визг железа, которое куют, — в горнах — в горны, где сталь и уголь, рвется воздух, чтоб раздувать, и глотки горнов харкают огнем, пылают, палят, жгут, — горны стоят в ряд, к ним склонились грузоподъемные краны, чтоб вырывать от огня для прессов белую — огненно-белую — сталь, — и горны похожи на самых главных подземных чертей, одни дышат, задыхаются, палят огнем и воют, режут, барабанят, — кранами, прессами, молотами: здесь страшно непосвященному, — н-но у каждого горна висит объявление завкома:

«Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах» — —

Рабочие — черны. Машина — в масле. Здесь — огонь, сталь, машина. Где-то в турбинной — повернут рычаг.

Домино — это черные, с числами, кости, это числа, где число кладут к числу, чтобы получать новые числа. В домино играют в тавернах, где полумрак керосиновой лампы под потолком. В домино играют, чтоб выиграть или проиграть. — *Машина!* — Когда сложат в сборном цехе все костяшки стального домино, — костяшки, созданные по нормалям и допускам фрезерами и аяксами, — тогда *возникает машика*; но сама она — опять лишь костяшка нового стального, цементного и каменного домино, имя которому завод, которых так мало собрано в России.

— *Пусть мало, но на этом пути конца нет.*

Домино машин — бесконечно, чтоб заменить машину мира. — Это Лебедуха.

«Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах», —

—хоть и не видно того, кто повернул рычаг в турбинной, чтобы завод дрожал и жил. Это так же, как прежде, когда — —

Река Ока и Москва были древни, ветхозаветны: реки, небо, пески, сосны, болота, ржаные поля, — Голутвин монастырь выпирал в небо маковками и крестами, в древних бойницах к самой Москве, — и извечно-невеселыми русскими рассве-

тами — тому, стоящему в поле, — страшно было смотреть на гиганта из стали, ставшего над водой из болота, подпершего небо трубами, изгорбившегося стеклянными спинами цехов, светящегося заревами печей, — на рассветах особенно сильно дымили трубы, кутали завод дымом, пахнул далеко в поля завод машинным маслом и серою, нехорошим, неземляным запахом, — на рассветах драли свои нутра гудки чортовым криком, — на рассветах из заводских ворот уходили поезда и ползли туда, чтоб привезти уголь и чугун, чтоб увезти сделанное из чугуна, угля и человеческого труда — увезти на шпалы железных дорог и по ним во все российские веси, — и тому, кто стоял в поле, волку или мужику, или коломчанину — было непонятно и страшно — —

— непонятно, страшно и ненужно было и Андрею Росчиславскому, дворянину, ростиславичу, инженеру, — знавшему, что — —

— если пробраться через Черную Речку, потопиться в суходолах, трястись лесом по корягам, сначала красным-сосновым, потом черным-осиновым, там — как триста лет назад — переплыть Оку на пороме, проехать по займищам, то — там уже затерялся проселок, исчезнул, растворился в зеленой мураве: — приедешь в Каданецкие болота. Там нету дорог. Там кричат дикие утки. Там пахнет тиной, торфом, землей. Там живет тринадцать сестерлихорадок. Там нет ни троп, ни дорог, там ничто не выверено, — там бродят волки, охотники и беспутники, — там можно завязнуть в трясине. .. Впрочем, об Росчиславщине — дальше — — ибо Андрею Лебедеу — не было страшно и было нужно, рабочему, пролетарию, русскому коммунисту, —

ибо —

— как рассказать всегдашний, единственный сон? — сон, где снится, что солнце выплавлено в домне — не даром около домен пахнет серою, как в первый день творения, — что хлеб строят заводами, — и тогда во сне возникали до боли четкие формы и формулы — завода, — геометрически-правильные формы завода: — прямые, круги, окружности, эллипсы, параболы, ромбы, — ночь, — только две краски — красная и белая, — ночь, и на небе круги огней, ромбы светов, их, чтоб осветить всю землю, подпирают краны, и трубы треугольниками подпирают краны, и из-за труб к кругам огней идут по радиусам новые огни, они ломаются эллипсами, — — и там, на заводах, за заборами, в цехах, у машин, — пролетарий, геометрически правильный и огромный, как формула!..

И тому, иному, глядящему с поля от Машухи-табунщицы, — было страшно. За заводом, у Голутвина монастыря сливаются Ока с Москвою, по ним, по Москве и Оке, пошла, заложилась Русь, государство российское... За Голутвиним монастырем, за Окой, над Окой — Щурово, ниже — Перочи, Дединово, Ловцы, Белоомут, — дединовские, ловецкие, белоомутские заливные луга, поемы, займища, поокские дали и пустоши...

И —

опять *мужики* — — (о коих отрывок второй Вступления).

было — —

Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной. — Из долин российских десятилетий, с проселков поокских, из песен с проселков, из керосиновых осенних ламп (интеллигенция русская светилась керосиновыми лампами), — оттуда вот, из жизни с чаем и с крыжовенным вареньем: — взглянуть на октябрь семнадцатого года, на осьмнадцатый, на девятнадцатый и: ясно будет — как на огромные дыбы поднята Россия, вверх, в высоту, и от 23 октября в 28-е стал отвес вверх, более отвесный, чем Памир. Там наверху — туда наверх, в метелях и зноях, октябрем даже в июле, июнем всюду (ибо не было ночей!), тысячами рук, миллионами глоток, миллионами жизней, — сорванными ногтями, в пулеметном свисте, сплошной шинелью, мешками картошки: — ползти, там на отвесах, — падать, ползти, умирать, не понимать, понимать до предела в смерть, понимать за предел понимания, умирать за правду, умирать за вошь, умирать по пустякам. Там, на высотах, всегда был странный, безнебный, *безнечный* июнь, и в этом июне декабрьские стояли морозы, дымили железки, мерзла картошка, мерзли люди, умирали дороги, — и сплошная стояла в безночном июне метель, где не видно ни зги — и эти же зги молоньями в метели! — Тогда, октябрями, когда по кремлям, по церквам, как в барабан барабанили пушки — *великая ложь, как великая правда, творились в России:* коммунисты, машинники, пролетарии, еретики — через бунт, пугачевщиной, разиновщиной, чуждые им, — бунтом, чуждые бунту, — шли ко кремлям, к заводам — заводами — *к машинной правде, которую надо воплотить в мир:* шли от той волчьей, суглиняковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи — к России и к миру, строгому, как дизель. И вскоре тогда — в метелях, в бунтах, в пугачевщине — строгая стала рабочего рука, рука пролетария, взявшая под микитки и бунт, и Расею, — первая в мире, которая заглодила машину мира и его болота заменить *машиной человека*, и так построить справедливость. —

...Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, какую считали подлинной столетьями. — Стать вот тут, у реки, —

и перед тобою: — забор, за забором бурые горбы цехов, под забором горы каменноугольных шкварков, проржавевший железный лом, железные опилки, — под забором, по каменноугольным шкваркам — две колеи железных рельсов от декавыльки, упертые в заборные ворота; — и через каждые какие-то минуты — паровичок, вагончики, каменноугольная пылица, рабочие чернее чорта; паровичок, вагончики шумливо мчат по плохо свинченным рельсам; и их съедают заборные ворота; за забором бурые горбы цехов и — не лесной, не полевой, не бурь и не метелей — шум, заводский шум, очень скучно; над горбами крыш — одно лишь небо, и даже на него не хочется смотреть, и даже нет прохожих, в этот час, и на реку уже не хочется смотреть, на древнюю Москву-реку, она зажата штабелями дров, ящиками торфа, баржами на воде, свистящим парходом, и не видна вода, и не нужен монастырь вдали...

...Шел девятьсот девятнадцатый год, шел июль, — за заводом легли поощкие поля, Росчислав, на лугах пасли табуны Маши-табунницы, — шла и лежала Россия изб, смотрела трахомою избяных оконцев, скалилась подворотнями, усмехалась скрипом дверей... Шел девятьсот девятнадцатый, обнаженный и голый, — октябрый семнадцатый канул в историю, — приходил двадцать первый, скорбящий.

было — —

опять расходился на ночь завком, чтобы выспаться наспех, — пальмы в кабинете заводоуправления отдыхали от махорки, совсем степенные по-европейски, и на столе лежали, не умершие еще, листки бумаги, окурки, ручки, пепел. Ночь. — Это в ночь, в проселки, в туманы, в веси — бросал и бросал завод — волю, людей, свои мысли, свой навык, — сотня туда! сюда десяток!..

было:

там, в ночи, за сотни верст от завода, в степной деревне, где нету полустанка, сгорел, стерт с землей полустанок, — костры в ночах и тысячи, и песни, и окна у деревни горят пожаром, — и задолго до рассвета к выгону идут отряды, раздетые, газутые, без картузов, с винтовкой и котомкой, — они идут меж костров, и красный отсвет красного огня провожает их во мрак, они идут бодро, ружья на плечо, широким шагом, — «бей белогвардейцев!» — И на утро, когда «фрумяной зарею покрылся восток», загрохотали пушки, точно это грохотало солнце, — тысячи пошли — иль умереть, иль победить! И в новых становищах новые горели красные костры.

было:

где-то на Оке иль Волге, где паром как триста лет назад, полдюжины телег, пепел от костра, мужичьи бороды и шопот: «значит, крышка, — хлеба не давать, — зато из городов за фунт достанешь шубу, — таперя, значит, крышка!..» — —

было:

были по лесам и по дорогам стеньки-разина-разбойничьи свисты, посвисты, насечки, заметы, приметы, разгул и удаль по лесам и по разбою, — «бей коммунистов, — мы за большевиков! бей революцию, — мы — за революцию, ух!..»

было — —

за рекой, там, где сливаются Москва и Ока (древнейшие русские реки!), все же стоял завод, смотрел в ночи красными огнями, пугал в ночи людей, волков и филинов, хрипел в ночи — хребет во пучине. Это он командовал девятьсот девятнадцатым:

— Россия, влево! — Заводом — грамота!

— Россия, марш! — Заводом — хлеб!

— Россия, рысью! — Заводом — труд!

— Каррррьером, Рррроссия! — — Заводом — братство!

И этим, кинувшим болотную Россию — карьером, в машину — Лебедухе, Смирнову, Форсту, Андрею Росчиславскому (выгнали заводы свои хребты, чтобы нести Россию) в городах, заводах, на заводах: надо было победить или умереть, — надо было не замечать зим и лет, ничего не видеть и смотреть только вперед, ничем не жить и знать только завтра. И жизнь каждого была — как портфель: не даром тогда вся Россия вырядилась в новенькие портфели, когда в каждом были — кусочек хлеба, кипа газет, мандаты и резолюции, и проекты — проекты, — и портфели пропахли — бумагой, клеенкой и хлебцем. Заводы коптели зажигалками, кидая фаланги черных кепок рабочих, мастерские куртки — рабочих и жизни их — на фронты, за хлебом, в союзы, строя Россию заводской казармой и фаланстерией земного шара, — заводы — стальные — гнули хребты. И Андрею Лебедухе, и Форсту, и Андрею Росчиславскому — быть: как все в эти годы, как портфель, — и брови срослись вместе, нерусские брови, — как портфель, все прилажено, все в регламенте газетных кип, мандатов и проектов. И дни были — как машина, точные без всяких допусков. До четырех — служенье революции, мандаты, карточки, допуски, колибры, железка для раскуривания собачек, сжатые брови от очередей, — слова, дела, прогорьклый рот от папиросок, — и на столе портфель. А в четыре — дом. Мороз на окнах, в доме, в коридорах. И кабинет, столовая, диванная и спальня — в спальне, где на столе картошка, на кровати — два тулупа, а за диваном горкою мешки. И тогда — в четыре — за окном — синим снегом, синюю печалью льют российские сумерки холодное свое стекло, направляясь в ночь, морозы, в тишь ночную. Тогда надо зажигать огонь, холодный, электрический, чтоб холодно светил, чтоб делал комнату в морозе — в огне от ста свечей — похожею на ледяной дворец, — а потом, когда погаснул свет, в огне из глиняной печурки — делал комнату похожей на трюм разбойничьего корабля. И вечер, и начало ночи — иль на кровати, за тулупами, в тулупах, с книгою, чтоб книгою и временем

к ночи умчаться в безвременье и вечность, — или на митинге, или в клубе профсоюза, где опять —

— Россия, мир, Европа, победы, смерть, рабочие, пролетарии всего мира в мир и братство, осьмушки хлеба, четвертки сахара, табак по карточкам и на вокзале заградительный отряд, — «вы слышали? вы знаете? — послушайте!» —

А над заводом, над Окою и полями, и лесами — ночь, зима, мороз. И Андрею Росчиславскому — тридцать лет, и надо, должно в безвременье идти не в книгах, а делами, надо мир испытать не в днях, не в проходящих мелочах, — а в вечности, в прекрасном, в том, что зажигает кровь чудесностью непонятного, неосознанного, не измеримого аршином... И — правда же — огромная непознанность: — там, впереди, Россия, мир — Россия, кинувшая миру братство, смерть, страдания, любовь, плакаты, карточки, чудеснейшую перекройку мира в новом, небывалом, в трудовом правстве, в законодательстве машин, в союзе братств народов. — Это — одно, Андрей Росчиславский.

И — другое: — —

— — там, за заводскими заборами, за степенной солидностью главных контор, за завкомом и клубом союза металлистов —

— дым, копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа. — Там, за заводской стеной, когда еще спят конторы, лишь мыши бродят по столам — в рассвете в турбинной, в безмолвии, в тишине (лишь сторожа трещат сороками колотушек и щемят душу ночные свистки) — человек — *человек* — его никто не видит — поворачивает рычаг — и: —

(из каждого десятка один — одного тянет, манит, заманивает в себя маховик пародинамо, в смерть, в небытие, маховик в своем вращении) —

— и: завод дрожит и живет, дымят трубы, визжит железо.

В сталелитейном у мартенов: там зажат кусок солнца, и это солнце льют в бадьи, чтоб делать из него паровозы, дизеля, и новый мир. — А в кузнечном цехе: — ...у каждого горна висит объявление завкома:

«Строго запрещается запекать картошку в горновых печах». «Завком, подписи, печать, такое-то число».

И — ночь — — было — — хребет во пучине.

Завком, союз металлистов, заводоуправление, ячейка РКП, ночь, — у дверей плакаты: —

«Берегись, товарищ, вора!»
«Бей разруху — получишь хлеб!»
«Дезертир — брат Деникина!» — —

— там в заводской конторе — совсем по-европейски — степенность гулких белых коридоров, солид-

ность тишины и мягкости ковров в солидных кабинетах, где на стенах картины тысячного паровоза, где у окон — огромных! — искусственные пальмы — —

было — —

— Россия, влево!

— Россия, марш!

— Россия, рысью!

— Кааарррьером, Ррроссия! — —

было — —

ночь, потушены лампы, гулки коридоры, у дверей красноармейцы, — только в кабинете у директора, где заводоуправление, зеленая конторская лампенка и искусственные пальмы в сизом от махорки дыме, — и за окном заводские огни, — окно полуоткрыто — ночь, ночные колотушки. Люстру — потушили.

— Иван, родной, ты лег бы спать, — ты не ложился уж неделю.

— Я лягу здесь, Андрей... Мне надо написать. Я напишу, а ты ложись.

— Дай папироску.

Тишина, ночные колотушки.

Лебедуха:

— Позвони Смирнову, пусть придет, он сидит в завкоме.

— Скоро уж рассвет.

Тишина, ночные колотушки.

Смирнов, — расставив ноги, голову на руки, — каждый глаз по пуду, и голова — в тысячу пудов, — как снести?! — :

— Я составил списки. Десять человек на фронт. Андреев с эшалонами по подразверстке. Тебе, Андрей, придется взять еще и профрабату... Сидел и за столом заснул... Завтра утром до работы — собрание всех рабочих, ты выступай, — эх, Деникин, сволочь, жмет!.. Помнишь, у Лермонтова, — Казбек с Шатом спорили? — «от Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и свер...» — —

Лебедуха:

— На завод надо нажать, — патроны, пушки, рабочие дружины... Иван, родной, ты лег бы!.. Иван пойдет на фронт... Мы тут всю ночь вопросы обсуждали...

Тишина, ночные колотушки. А потом — лиловой лентой за Москвой-рекой — рассвет. Один свалился на диване, другой заснул на стуле, — третий — Лебедуха — у окна, в карманы руки, окно раскрыто, роса села, за окном рассвет — —

было — —

по-пушкински «румяной зарею покрылся восток»... «У Казбека с Шат-горою был великий спор», — да... Ночь. Под Курском — Деникин, у Воронежа — казаки, в Одессе — французы, в Архангельске — англичане, в Сибири — чехи... В России — мужики, — мужики, разверстки, бунты, ведьмы, ведьмачи, лешие... Ерунда. Дичь... Ночь, рассвет, — это вот сей-

час Россия идет по шпалам, бежит, не понимает, орет, воеет, жжет костры, деревни, города, людей, правды, веры, жизни, гложет глотки... Пучина людская, — российские версты, глупости наши... «У Казбека с Шат-горою был великий спор», — да, великий!.. Какая тишина!..

... За окном были стройки, виднелась станция. Возникало утро, возникал день. Было мертвенно тихо, только-только собирались запеть птицы, площадь перед завкомом пустыничала. Тогда — издалека еле слышный — зашумел поезд. На станции, как мухи у лужицы на столе, у перронного барьера на земле спали люди, было тихо, и только поезд шумел вдали, еще за мостом. В этот рассветный час показалось, что все лежащее перед глазами, весь мир, остеклянул и не живой, — но поезд заскрипел сотней позвонков, прогудел, — и от станции пошел страшный, воющий нечеловечески человеческий гуд, мухи завертелись по перрону, визжали бабьи голоса, — поезд, полсотни теплушек, покорно ждал, когда его боем возьмут мешечники, и паровоз, посапывая, ходил брать воду, и кто-то, должно быть заградители, стрелял из винтовок...

...Какая тишина!.. Красные армии отступают, голод, нет железа, заводы умирают, города пустеют... Какая тишина!.. Роса села, холодно. Вон, запалили костры... Этот год уйдет в историю — без чисел и сроков. Нет села, весей и города, где б не было восстаний, бунтов и войн. Идет смерть — не постельная — в расстрелах, в тифах, в голоде — у стенок, на шпалах, в вагонах, в оврагах... Статистик Непомнящий подсчитал, что за эти годы родится, проживет и умрет, убив до миллиона людей, девять миллионов пудов вшей, — если бы это была рожь, ее хватило бы прокормить десять таких заводов, как этот, в течение десяти лет... Россия вышла на шпалы, в великом переселении правд, вер и поверий, — вся Россия — серая, как солдатская шинель, — вся Россия в заградах, в пикетах, в дозорах, в мандатах, в пошлинах, — и все же вся Россия ползет в вое пуль, в разбойничьих песнях, в кострах, пожарах, неудержимая... Этот год уйдет заржавевшими заводами, разбитыми фабриками, опустевшими городами, поездами под откосами, серой шинелью, шпалами, кострами из шпал, песнями голодных. — — Какая тишина, — но «восток покрылся румяной зарею». — —

— Андрей, ты не спишь? Кто там пришел? Ложись спать, я выспался, ложись на диван...

Лебедуха:

— Я смотрел на рассвет, думал... Мы **должны** побороть... Роса, холодно!.. Там не спит еще Форст.

(Если душу инженера Форста (как и Лебедухи) уподобить жилету — его, Форста, вязанному, теплomu, коричневому жилету, — то в самом главном кармане, рядом лежат человек и труд, — Человек, с большой буквы, который закинул свою мысль в междупланетные пространства, который построил дизель, который разложил мир даже не на семьдесят два элемента по Менделееву)

еву, но разложил и азот, который вкопал свою романтику во времена до Египта, до Ассирии, до Иудеи. — Кроме жилета у Форста была нерусская трубка, и — от нее лицо казалось — лицом морехода. Он говорил абсолютно правильно по-русски, академически правильно, как не говорят русские. — Он многое помнил за эти годы, которые были, как солдатская шинель. — Тогда, в октябре, когда национализировали завод, стреляли, выбрали завкомы, когда вся Россия стянула гашик и замерла — серыми октябрьскими днями — к победе, — он, инженер Форст, бегал по заводу и все доказывал, — что: — «пожалуйста, будьте добры делайте все, что надо, как вы хотите, будьте любезны, но заводу нужно семьсот тысяч пудов нефти, а навигация закрывается: без нефти завод станет!» — и он достал нефть, семьсот тысяч пудов, тогда, в октябре, под пушками и пулеметным огнем. Это будни. — Он помнит, как наступали белые, как шли поезда, и волоклись люди и лошади серые, как шинель, с пушками, повозками, обозами винтовками, бомбами) — —

Пучин во хребте.

— Стать тут вот, у переезда, — и пред тобою: — справа виадук через пути, вагоны, паровозы, рельсы, железнодорожные постройки, случайные три липы, тополь, — и за тополью, в акациях — «приезжий дом», «дом холостых», дома из цемента под черепицей в стиле шведских коттеджей, дома для инженеров, в спокойствии, в солидности; — слева и сзади — рабочий поселок, нищета, избушки, как скворешницы, в полисадах с маком и лопухами, с мальчишками в пыли и с бабой у калитки и с поросенком в луже, — и у бабы крепкою веревкой перетянуты одежды ниже живота, а на руках, у голой груди, в грудь всосавшись, дохленький ребенок, — и поросенок в луже — гражданин, и гражданином — пыль: — чтоб строить ребятишкам замки, крепкие, как пыль; — и весь поселок точен, как квадраты шахмат, и на крыше каждого (иная крыша из железа, иная крыта тесом, иная греется соломой) — на крыше изолятор электрического тока, и в окнах всюду ситецвые занавески, бедность, нищета, — и на углах квадратов шахмат — по артезианскому колодцу и по столбу для пламенных воззваний о митингах, о Коминтерне и кино, — и домики у рельсов (ображек здесь, здесь некогда расстреливал ребят полковник Риман) оделись вывесками — парикмахерской, столовой, сельсовета, сапожной мастерской (башмак прибит под крышей, как у парикмахера — усы и бритва в мыле, как у столовой — чайник и тарелка); так деревянная Россия подпирала к стали и железу; — и впереди за переездом красным кирпичом возникли — заводская контора, заводоуправление, завком, клуб союза металлистов, — там в доме — совсем по-европейски — степенность гулких белых коридоров, солидность тишины и мягкости ковров в солидных кабинетах, где тепло зимой, прохладно летом, где на стенах картины тысячного паровоза, где у окон искусственные пальмы, — угодливый шумок от счетов, чуть-чуть кокетли-

вый стрекот машинок, медоречивость главного бухгалтера; стекло перегородок, столы, светлейший свет — конторы — совсем по-европейски; а наружи и в коридорах (наружи — на красном кирпиче), огромно:

«Берегись, товарищ, вора!»
«Бей разруху — получишь хлеб!»
«Товарищ — не воруй!»
«Дезертир труда — брат Врангеля!»
«Смотри, товарищ, за ворм!»

и карандашом сбоку:

«Ванька Петушков сегодня запел песни!»
«Дунька-Лимонадка родила двоих сразу!»

...Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной...

И — ночь.

«Пучин во хребте» — эпитафия. —

Ночь — июльская, черная, в куриной слепоте, в лопухах, в крапиве, — надо было бы скрипеть кузнечикам, но на этой земле, убитой нефтью и железными опилками, не росла крапива. Сверхурочная смена — на фронт! бить врага и разруху! — работала до одиннадцати, и в одиннадцать уходили рабочие — по сходням в заборе, где меняются бляхи, на волю, и рабочие шли очень поспешно, веселый народ, с прибаутками, в поле, чтоб докашивать недокошенные травы, чтоб не спать на страде ночей, и уборщицы — из Чанок, с Зиновьевых гор — с завода за реку в туманы — понесли смешки, частушки, сладкие свои девичьи радости.

Там, за рекой, у реки — кочки, болотца, сиротство, нехорошо. В лесу у опушки за Щуровом стоит камень, к нему идут тропки, камень белый, изглоданный, скучный, — к нему ходят — со многих мест, с завода, из города, из деревень — грызть его от зубной боли. Иной раз у камня сидит седенькая монашенка, из Бюрлюковой пустыни, собирает с грызущих милостыню — для бога. И сосны тут голостволы, такие, когда можно запутаться в трех соснах, — просты, как пословица.

Там с поля виден завод, — трубы, дым, корпуса. Ночью с завода идут в небо огни, чужие огни, очень резкие, видные на десяток верст, — волки этим полем не ходят. И днем и ночью, если прислушаться, слышно, как гудит завод — неземляным гулом, шумом машины, свистками, гудами гудков. И, — это июль иль июнь, — когда дни и травы июньские косятся им, июлем, — впрочем, как и каждые одиннадцать часов вечера, — в сенокосные июлевы ночи, в туманы, за реку — отпускает завод людей,

после свехурочной смены: — за рекой, в тумане, возникают девичьи частушки, уборщицы идут, несут туманам с завода себя, свою молодость, тайные смешки. Если это июль — значит, где-то в тумане на лугу, вот тут, под заводом, под городом, за рельсами железных дорог — здесь на лугу пасет табун в ночном Марья-табунщица; к ней девушки ходят гадать по травам, — все расскажет, как укажет трава, как трава шепчет, как ластится, как прилегла. Табун пасется мирно, в Москве-реке — русалки, над полями — туманы, холодок, — у Марья-табунщицы — костер, от костра — мрак, над костром, глазами видно, тает туман, у костра — тулуп, уздечки, ребятишки, тишина и чорт. Маша — колени обняла руками, — смотрит в костер, неподвижно, часы, — в глазах отсветы от костра. Лошади едят покойно, ночь, овода не мешают, тихо. Завод сзади, за десяток верст отсюда, кинул беспокойные огни в небо, красные и белые огни, — а тут вот рядом — перейти луг — лес, простой как пословица, и там есть камень, который люди грызут от зубной боли. И там же у камня, на холмике, в соснах — *конский могильник, конские валяются кости и черепа*, растет папоротник на холмике, — и люди, что грызут камень, *обходят могильник стороною, сторонясь*.

И тогда у забора, у реки все стихло, только переливали на заводе из одного била в другое печаль, да трещали трещетки. Была пятница, банный на заводе день, — и, когда жухлый месяц пошел к полночи, когда все стихло, — раздвинулись в заборе две доски, высунулась оттуда голова, посмотрела кругом, голова была волосата, голова промычала:

— Ну, здесь вы што ли, — идитя...

Тогда из штабелей откликнулись:

— Здесь, давно годим... Иттить?

— Говорю, — идитя!..

Из штабелей возникли двое — монах и баба. Баба первая пролезла в щель к исчезнувшей голове, монах пролез вторым, так же, как баба, высоко задрав свои юбки. За забором здесь лежал паровозный лом, и неожиданно рос бурьян, и в бурьяне к потайному ходу шла тропа. Голова оказалась рабочим лет под сорок. Рабочий сказал:

— Все кончили, и Митюха лег спать. Идемтя.

— Ломит? — спросил басом монах. — В самом хребте?

Ответила баба:

— Иии, как ломит, прямо не может разогнуться! Ты уж помоги.

— Во хребте ломит?

— Во хребте, — сказал рабочий хмуро.

— Значит,—пучин, либо учин,—по разному называют. Иные просто говорят — утин, — но это неправильно, — сказал монах.

— Ты потише толкуй-то, — хмуро перебил его мужик.

Они пошли, шли меж цехов, по шпалам, по кучам угля, шли, как воры. Завод замирал на ночь, холодал, отдыхал, лишь на скрещениях горели фонари, лишь кое-где в цехах не стихнул скрип железа и не погаснул свет, чтобы оставить сторожевые огоньки. Трое шли мраком. Они пришли к заводской бане, баня была пуста и открыта. Трое, они ушли в баню и там притворились плотно. Там монах сел на лавку в предбаннике, сказал: — Поддай пару, Марья, покрепче. А ты, раб божий Иона, лезь на полок, парься крепче!

Мужик стал стаскивать сапоги, хмуро.

Баба сказала в раздумьи:

— Отец, мне раздеваться, што ли? — ты-то будешь снимать што?..

— Нам раздеваться не требуется, — ответил монах. — Только разве намочишься. Сниму на всякий случай рясу. Разуться надо!

В бане было темно. Мужик долго парился, покряхтывал, стонал. Баба пару поддать как следует не сумела, — поддавал монах. Тогда с полка застонал мужик: — «умру, дышать нечем!». Монах ответил успокоительно — «потерпи, не помрешь!» ...Потом мужик соскочил с полка очень молодо, замотал головой, запрыгал, побежал к двери, закричал — «ну вас всех к чертям собачим, псов!» — выскочил в предбанник красный, очумелый. Монах ловко подхватил его, поднял на воздух, у мужика засучились в воздухе ноги. Монах ловко положил его на порог, брюхом к земле, scomандовал бабе — «держи за голову, за уши, сядь на шею!» — Баба исполнила приказ покорно — монах вскочил босыми ногами на спину, заплясал, загнусавил поповским речитативом — «пучин во хребте — иди вон! пучин во хребте — иди вон!» — потом что-то непонятное, засолил пальцами, перекрестил мужичий зад, — мужик уже покорно брыкался ногами, не пытаясь встать. Монах заплелся на все четыре стороны, зааминил. Баба, сидя верхом на мужиковой шее, причитала шопотком.

Потом на мужика лили ведрами холодную воду, особенно ловко монах, норовя попасть в рот, глаза и уши. Вскоре мужик напяливал сапоги, стал приходить в сознательное состояние.

— Ну, как, Иона, ушел? — спросил деловито монах.

— Кто? — переспросил мужик.

— Пучин.

— Ушел!

— Не болит, касатик мой ясный, Иоша? — спросила Марья.

— Пошла ты отседа, стерва, в кобылий зад! — ответил мужик. — Не болит!..

— —

...Вскоре эти трое шли обратно — это второй «учин».
«Учин во хребте» — эпитафия — —
и: — послесловье! —

Был — девятьсот девятнадцатый год. Был июль. Была ночь. — —

Дохлый месяц зацепился за трубу, повис на заводской трубе, был пылен и ненужен, и ночь была черна по-июльски. Эти трое шли тихо. Завод спал — или жил — по-ночному. Пере-кликались дозорные, били в железные била, мир наводили сороками колотушек. Завод остынул на ночь. Колотушки била — всегда хороши для воров, всегда говорят, где сторожа. Эти трое шли — из бани — мраком, бесшумно. И вот — у фанерной мастерской — бесшумно в окне во втором этаже повисла доска, красным деревом метнулась в косом свете фонаря и упала бесшумно на чело­вечьи руки внизу, на углу свистнули тихо — и фонарь, и окно, и безмолвная тень внизу, у стены — тень доски над человеком — плясну­ли, плеснулись, исчезли. И опять лишь колотушки, лишь била — тишина и июль над заводом.

— Воры работают, сволочи! — сказал Иона монаху.

И у инструментальной во мраке повстречались два человека, с мешками, в кепках, раскаряками в безмолвьи, тенями, а не людьми, — и косые лучи фонарей кинули сразу три парные тени. В инструментальной горел сторожевой огонь, трое подошли к окну, взглянули — в огромном, немотствующем цехе, в безлюдьи стояли рядами станки и на черную крысу был похож человек, один во всем цехе, с зажигалкой в руке, шаривший быстро под фрезером. Иона кашлянул хмуро — и зажигалка и человек исчезли. И тогда Иона сказал:

— Воры работают, сволочи, струмент воруют!

Они шли меж цехов, по шпалам, по кучам и за кучами угля и лома, шли по мраку. Завод замер на ночь, холодал, отдыхал. Они вышли к забору, туда, где был свален паровозный лом, где рос бурьян, щелкнул здесь неожиданно кузнечик, пахнул июлевым удушьем. Иона проверил потаенную щель в заборе, высунул голову в нее, — там была река и из-за реки донесся скрип телеги. Ночь. Тогда Иона сказал:

— Погодья, я сичас!

И он ушел в бурьян. Он вернулся скоро, у него в руках — на плечах, на голове — был круг. Монах спросил:

— Что такое?

Иона ответил:

— А это приводный ремень — подметки хороши!

Монах степенно пошутил:

— Ишь-ты, словно хомут на себя напялил. Что значит — пучин-то изгнали!

— Теперь не болит, — подтвердил Иона.

...А там, за Окою, на лугах — кричали коростели, полз туман, в туманы туда пошла Марья, к табуну, та, что по травам гадает. Монах пошел берегом и мраком домой к Голутвину монастырю, — из-за реки смотреть тсму, кто —

— свернул в шоссе, проехал полем, перебрался вброд через Черную речку — кто попал в места, где нету дорог, где болота, где безумеют в крике дикие утки, где бегают бесшумные, не жгущие, зеленые болотные огни, —

— тому

не понять геометрической формулы пролетария.

Кукушки.

Рабочие не любят называть себя рабочими: они зовут себя мастерами или мастеровыми. — На заводе, в машинах, в цехах: кукуют *кукушки*. В каждом цехе — в каждой мастерской — своя кукует кукушка, эти вот Кузьма Иваныч Козауров, Сидор Лаврентьич Лаврентьев, еще, — они обыкновенны, как каждый мастеровой. У Кузьмы Иваныча Козаурова — желет на красной рубашке; на носу картофелиной и лохматом, как щека, — очки, привязанные ниточкой; и глаза из-под очков, во мху бороды, — замшалыми зелеными колодцами; — борода сдвинута влево, в ту сторону, куда после еды и в поту утирался Кузьма Иваныч, — и в кустья бороды вставлена трубка; — а когда матершинил с рабочими Кузьма Иваныч, — тогда из кустьев бороды, из места, куда воткнута трубка, торчали желтые клыки, такие же крепкие и одинокие, как одиноко и крепко, клещом на всю жизнь, засел у себя в дизелесборочном цехе сам Кузьма Иваныч. Дом у Кузьмы Иваныча — на Бобровской слободе, на том самом месте, где стоял дом его деда, пахавшего землю под заводом, — здесь и на заводе Кузьма Иваныч родился и умрет, — и за домом Кузьма Иваныч сеет картошку своими руками, как подобает, — а сыновья его, как не подобает, — один — врач, другой — путеец-инженер, и третий — коммунист Андрей—Лебедуха по партии — рабочий. И, как шестьдесят восемь своих лет, Кузьма Иваныч встает с зарей, чай пьет с блюдца — а после завода чай идет пить в трактир, тоже с блюдца (и в революцию, пока не закрылись трактиры, с хлебом, принесенным за пазухой); и ночи дома он спит на сундуке, прикрывшись тулупом. Кузьма Иваныч — малограмотен, когда спрашивают его: — «писать вы умеете?» — он отвечает: — «фамелий могу!» — Кузьма Иваныч, клещом в заводе, знает завод так же, как свою каморку дома за кухней, где, за сорок семь лет его жития на заводе, свалено все, что он скопил от завода, всякая рухлядь, и где в шкафу (и вот начинается *кукушечьё!*) лежала среди бумаг его собственная секретная — «СЕМЬЕОМЕТРИЯ-СЕКРЕТ», им изобретенная, им

созданная, неизвестно как, им, безграмотным, написанная, — гордость его жизни, такое, что знал он один, что рассказал ему завод и машина — ему одному. Каждый цех, каждую мастерскую он знал, как свою каморку, — мастеров чуждался, — и паровозы «Малет», четырехцилиндровые, звал Афиногенами, — дековыльковые — Митьками, — Ф — Федорами; дизелей — из уважения, должно быть, — он величал — Анатолиями Сергеевичами. — И — вот значительное: инженеры по чертежам и планам собирали дизель, стократно выверенный, — ставили его, чтобы пустить, чтоб ожила машина, — пускали и: — не работал дизель, машина не рождалась. Перепроверяли вновь, вновь разбирали и собирали дизель, — пускали вновь, — но он: не шел, не *оживал*. Тогда все знали, что надо посылать, сейчас пошлют за Кузьмой Ивановичем Козауровым. Кузьма Иванович всегда в этот час был в цехе у станков. Кузьма Иванович долго не шел, делался глух, отзывался, когда называли его полностью именем, отчеством и фамилией, — и прежде чем пойти к дизелю, отправлялся деловитой походкой домой, брал из шкафчика свою «Семьеometriю-Секрет» (только тогда и можно было одним глазом увидеть в этой засаленной тетради каракули, крестики и черточки), — и с «семьеometriей» уже шел к дизелю, понурой, строгий, картофелиной носа вниз; у дизеля он — знающий тайну — говорил:

— Господа анженеры, отойдите от Анатоля Сергеича! —

и тыкал пальцем и глазами в молчащую машину и в свою тетрадь, — он делал это священнодейственно, кругом посматривая волком; он — пальцем, глазами и ключом — хлопотал около машины, у мертвой стали, один, никого не подпуская — Дизель — гениальная машина, гениальнейшая, которую создал человеческий гений, — это вот здесь в дизеле-сборочном, среди машин, около молчащей стали дизеля, стоял драный старичишка в кудлатой бороде на сторону, в красной — горошком — рубашке из-под жилета, — смотрел болотными глазами сквозь очки, перевязанные ниточкой, — в сосредоточенности одергивал рубашку и поправлял штаны, — и гениальнейшая машина: —

— шла, — сталь, машина оживала.

Он, Кузьма Козауров, знал тайну рождения машины, которую не знали на этом заводе. Инженеры стояли в стороне, недоумело. — Тогда в такие минуты он не сдерживался, — он уходил от дизеля, ни на кого не глядя, но он отчаянно жестикулировал и отчаянно матершинил себе под нос: к ночи в этот день он напивался, — но наутро был в своей конторке, строг и сух, и глух к речам о рожденном вчера им двигателе. —

Таких кукушек было много, которые всю жизнь свою перенесли в завод. Кузьма Иванович знал тайну, загадочную для инженеров, он верил, что в дизеле живет душа, такая же, как у человека, — он душу эту умел — колдуньи — вдуть в машину.

Каждая кукушка знала свой секрет, — злословили кукушки про кукушек, — будто — в мастерской еще — чтобы форснуть потом, — иль ввинчивал, иль недовинчивал, иль перевинчивал Кузьма Иванович какой-то лишний винтик, — но инженеры проверяли все и понимали, что дело здесь не в этом, недоумевали; — Козауров же — избрал способ, который перешел потом на все европейские заводы, — способ на простом токарном станке делать фрезерные работы, и не гордился изобретением этим, отказался от патента, потому что в изобретении этом: не было *секрета*. *Секрета* же кукушки никому не открывали.

Он, Кузьма Иванов, был простым мастеровым, он был добряк, — в трактире все его любили, и он любил, чтобы его любили, и матершинить — в напускной строгости — с рабочими — ему был труд немалый. Таких, как он, звали кукушками, — и остальных кукушек, Сидора Лаврентьевича Лаврентьева из паровозо-сборочного, иных — Кузьма Иваныч не любил; в трактире кукушки садились порознь. Иногда Кузьма Иваныч запивал, раза два в году, на неделю каждый раз, — тогда таскался он по цехам со своею «Семьеометрией-секрет», бил пальцем по тетради, совал ее в нос другим кукушкам, — и кричал:

— Мастерааа!.. Сволочаа!.. тоже, свои секреты имеют!.. Да. Выходи на кулачки!? Я без анженеров могу Анатолия Сергеича на ноги поставить, — а ты?! Давай я твоего Афиногена в два счета пуцу!.. И все это у меня в тетради. Анженера — *три*знометрию выдумали, — а у меня — *семь*!.. и все могу. —

В те дни, когда Кузьма Иваныч запивал, из трактира он не ходил домой ночевать, стыдился сыновей, пробирался на завод и спал где-нибудь в канаве, где застигал его хмель. Кузьма Иванович считал завод своим, вжился в него, как клещ, и в трактире часами рассказывал чудесные вещи о машинах. Газет Кузьма Иваныч не читал, новости все познавая в трактире; на заводе — еще до революции — то там, то тут вспыхивали кружки социалистов, самообразования, пятый год прошел забастовками, митингами, свободами, карательной экспедицией семеновцев под командой полковника Римана, расстреливавшего большевиков у переезда (у Козаурова убили сына), — Кузьма Иванович был в стороне от движений рабочих (хоть и приходилось ему — за сыновей — прятаться в пятом году), — политикой он не интересовался, — но поколотил однажды инженера, когда тот не-за-что задирает рабочего его цеха, и за цех свой стоял горой, как и цех твердо стоял за него. Октябрь он, как и другие кукушки, Лаврентьев, Прошкин, другие, — встретил пассивно, — октябрь сделал его начальником электростанции, но жизнь его не изменилась. Кроме завода Кузьма Иванович ничего не хотел знать: кукушки — это те, кто рождают машину.

(В дни революции сдружился Кузьма Иванович с инженером Форстом и статистиком Иваном Александровичем Непомня-

щим, и, когда закрылись трактиры, ходил после завода к ним пить чай, со своим хлебом —) —

...На заводе в машинных цехах куковали свои кукушки. Кузьма Иванович Козауров — знавший секрет рождения машины — в строгости — был счастлив своей жизнью. Каждый прав иметь свою кукушку и должен иметь ее! — —

Инженер Андрей Росчиславский — Марья-табунщица.

...Ночь. Мороз. Зима. Леса за Щуровом, к Расчислову, — пройти семь верст от города полями и лесами, — там. Если итти в даль от елепеновой сторожки, пойдут леса владимирские, муромские, перешагнут через Оку и Волгу, сокроются в лесах ветлужских, вологодских, — и так до тундры. Дорога идет лесом, между сосен и березок, кое-где ольха. Дорога в рытвинах, в ухабах, — но не проезжая дорога: здесь ездят в лес лишь мужики, за дровами по наряду и воровать дрова, — здесь изредка проедет с песнями отряд охотников на волчью облаву, пугать леса стрельбой и криками кричан, — здесь изредка прогонят конокрады тройку, чтоб сокрыть ее, чтоб замести следы на Перочи, на Зарайск и — даже на Заречье, на Старую Каширу, на Бюрлюкову пустынь, что за Окой. И не сразу с дороги увидишь на поляне дом, сарай, амбар, — елепеневу сторожку. И можно десять раз заехать к Елепене — охотникам, ворами иль мужичонке, которого поймали на порубке — и не заметить на дворе землянки, — вся она в снегу, похожа с трех сторон на кучу из навоза, и лишь с четвертой стороны есть два оконца и дверь, в которую надобно войти, сгибаясь вчетвереньки. А Елепень — молчалив, в щетине, бритой в месяц раз, в шапке на всю жизнь, с шарфом зеленым вокруг шеи, в валенках; — и странные глаза у Елепени — белые, сплошь одно бельмо и только маленькая дырочка зрачка, — казалось бы, он должен ничего не видеть, но он видел все насквозь: на лоб свисали волосы, не мытые годами, и из-под них глаза вселяли сиротливость, беспокойство, — сплошные бельма, видящие все насквозь, спокойнейшие бельма, никогда и никуда не поспешающие. Не даром мужики его считали лешим, и глаза его — лешачьими глазами. Впрочем, мужики его считали лешим себе на горе, потому что — —

— ночь. Или метель зимою, или осень в злых дождях, — мужик свернул с дороги, просекой проехал с версту, — ночь, лес и шум лесной, не веселый шум по осени, тоскливый шум, страшный шум. Лошадь опустила голову понуро; тихо — лесным шумом, нет никого живого. И топор ударил глухо... — И не всегда потом, в работе разогревшись, замечал мужик, как потихоньку меж деревьев — да и не заметил бы во мраке! — появлялся драный пес, обнюхивал, вилял хвостом и убегал обратно, — а через несколько минут, разбуженный с постели, приходил с берданкой Елепень, тоже потихоньку, из-под

кустов, в ногах у него терся пес, — и из-под кустов спокойно говорил:

— Это ты, Иван! — кончай!

У Елепена осталось это от тех времен, когда сторожить надо было на самом деле, когда за это драли шкуру с самого, — манера жить осталась по привычке. Про собаку никто не догадывался, но собаку иной раз видели, и твердо утверждали, что ходит по лесам ночами Елепень на четвереньках и вид имеет «на пример» собаки, либо волка. А в избе у Елепена — с Иваном — разговор был короток в спокойствии белесых глаз:

— Привезешь, Иван, мне ржи полпуда? . .

— Елепень, товарищ, бога ты бойся! . .

— Привезешь, Иван, мне ржи полпуда или отправишься в отсидку в волюсть на неделю. . .

— Елепень, живоглот, ведь с голоду приехал! . .

— Лошадь здесь оставишь на дворе, а сам пойдешь пешком, и чтобы к свету быть обратно. . .

А лес шумел осенним горьким шумом, лес темнел в дожде, во мраке, в шерохах и шумах, хлестал ветвями, окапывал с ветвей холодной капелью, — и мужичонко шел — почти на четвереньках, и ему казалось, что каждый пенёк — конечно, леший, — что каждый куст — конечно, рзвует волком. И всамоделешние выли волки, и к рассвету ужал филин. И полпуда ржи, к рассвету принесенные в сторожку, весили уже не полпуда, а фунтов тридцать, смокшие в дожде немногим меньше, чем мужик в дожде и поте. И рассвет шел синий, обורванцем, в желваках облаков: в притихшем лесе — падал, падал лист, смертью шелестел, и шелестели смертью капли с веток. . .

А зимою лес безмолвен, только днем на ветках низкоросья пиньпинькает синичка и вужикает на лесной малине положительный снегирь. Снег синь от солнца — днем, снег синь — от месяца ночами, снег синь — от синей снежной тишины. Снег придавил малюсенькие елки, снег надел перчатки на лапы сосен, снег разостлал ковры, расшитые следами белок, зайцев, лис, синичек. Над снегом, над деревьями — или звезды, или синь небес. Какая тишина. Какой мороз. Какие звезды — —

...А в городе тогда надо зажигать электричество, чтобы делать комнату в морозе — в огне в сто свечей и в огне глиняной печурки — делать комнату похожей на трюм замерзшего в море корабля, пропахший рыбой, солью, нефтью, потом... И вечер и начало ночи — на кровати, за тулупом, в тулупах, с книгою иль без нее (тогда глазами в потолок невидящим, непонимающим взором), — чтоб временем и мыслями умчаться в безвременье и вечность. — — Надо мчаться в июль, где пастушка — табунщица-Маша... —

Каждую субботу, когда завтра—воскресенье, день без портфеля и без железки (чтобы железкой раскуривать сигарки)— без сжатых наглухо бровей, побед на всех фронтах рожнов российской революции, — тогда заложить лошадь, розвальни, кинуть туда сена, маузер засунуть в боковой карман, винтовку в передок... — Можно проехать двояко: — или через завод, дохнуть его копотью, услышать скрежет будущей России, про-

томиться тоскою заводских заборов, крикнуть криком плакатов с заборов о третьем интернационале, — или проехать у застав на Протопопово, кремлевскими стенами, тишиной и смертью старой Руси, мимо церквей, ставших, как стоят во рту гнилые корни, мимо домов с побитыми революцией стеклами и фронтонами. Надо проехать в поля, в снега, в гречневую кашу проселков, в убожество полей и далее русских. Надо крепко закутаться в тулуп, склонить голову, — «нно! тащися, сивка!..» Лес тих, салятся тени, тишина.

А потом в городе и на заводе, в клубе профсоюзов, где всегда —

- Россия — в мир!
- Россия — машиной!
- Россия — рысью!

— В зиме,
в морозе, в перекуренной махорке — —

— июль, луга, туманы над лугами, ночь, — мечтанья, — табун пасется мирно, у костра табунщица-Машуха, баба в двадцать пять лет, красавица-урод, — у костра тулуп, уздечка. Марья обняла колени, смотрит на костер, неподвижно, тихо, часами, — в реке плескаются русалки, зарево завода — далеко. Маша неподвижна, пока в тумане не возникнет голос:

— Маань! —

это девушки пришли гадать на травах, на росе, в ночи, — рассыпали свои смешки, гадают о прекрасном, о бытии, о жизни, о том, что впереди (а впереди — всегда прекрасно!). И на пригорке над табуном — *могильник конский*,¹ черепа и камень, который грызут люди от зубной боли... —

Андрей Росчиславский рассказывал товарищам, Лебедухе, Форсту, всегда случайно:

— А знаете, у меня выработалась привычка — ездить по праздникам в лес к леснику Елепеню. Странные люди сохранились еще в России. Этот Елепень, его мужики считают лешим, — ни один мужик не поедет к нему в лес, обязательно поймают. И какой характер. Когда я был у него последний раз, — он был в лесу, пришел, — он всегда молчаливый, сумрачный, — пришел, сел в сторожке на скамью и заплакал. Я стал расспрашивать — в чем дело? — Он говорит: — была у него собака,

¹ «В разделе «Сельское хозяйство», в главе о ветеринарии, стр 81:

«За истекший год в уезде эпизоотий не было. Были только отдельные вспышки сибирской язвы... С середины лета на лошадях в волостях расположенных на берегу Оки и в других частях уезда, появился цереброспинальный менингит, от которого погибло около 60 лошадей... При появлении сибирской язвы в некоторых пунктах уезда ветеринарный персонал забил тревогу и сделал обследование во всех селениях *скотских могильнико в*. Оказалось, что в большинстве случаев эти могильники совершенно исчезли...» (Запись Ив. Ал. Непомнящего.)

Трезор, ходил с ней сегодня на охоту, погнали зайца, — стрелял, подранил, — заяц пошел, собака за ним, Елепень по следам, — и видит — сидит собака под кустом, грызет зайца, — погиб гончак, больше не погонит, — приложился Елепень — и — отправилась собака на тот свет, — прощай, друг, изменил товарищу!.. Пришел домой и плачет, — щетинистый, косая сажень, покойный, — а плачет, как ребенок. Стрелок Елепень — замечательный...

Дальше Росчиславский затруднялся рассказать что-либо о Елепене. Ему трудно было передать поэзию ночевок на полу, жуть случайных ночных шопотов и разговоров, ряд ассоциаций с детства — о разбойниках, волках, лесничих, — шорох тараканов, и то, что в каждом человеке еще осталось от звериного, от лесов, земли, от земляных, лесных, звериных тайн. Слова не облекали сути Росчиславского. Росчиславский не знал, что вот убитая собака похоронила быль лешего в умах крестьян, леший перестал ловить в лесу, не бегал Елепень лесами лешим, и мужики стали покойно ездить воровать дрова. —

Росчиславский говорил дальше, закуривая папиросу и волнуясь:

— Но самый замечательный — не Елепень... За двором лесной сторожки есть землянка, там на зиму поселились пастухи. Андрюша-пастух и с ним, но не жена его, Маша-табунщица. Вы посмотрите, как они живут. Я никогда не видел. У них ничего нет, нет даже хороших валенок и всего один тулуп, — за водой к колодцу они бегают по очереди босяком, по снегу. И в углу у них навалена картошка, хлеба нет. И едят они из миски, которую смастерил из глины Андрюша, как-то сам ее и обжег. Каменный век!.. Когда я пришел к ним первый раз, Андрюша, ему уже за сорок, сидел на печи, свесив голые пятки и играл на рожке, а Маша плясала. И так они все время и живут, поют и пляшут, — удивительно!.. Андрюша, по-моему, дурачок, лицо идиота, говорит односложно, урод, лохматый, страшный, — я только три слова от него и слышал: угу, не, ага!.. А Маша — замечательная, — я не могу сказать, чтобы она была красавицей, она низкоросла, слишком коренаста, груба, как обрубок, — но меня чарует в ней какая-то стихийная сила и грация, словно это каменная скифская баба из раскопок, и лицо у нее, с сизым румянцем, тоже точно вытесано из дуба и размалявано маляром. Я ее спрашивал, как они там живут, — она ответила прибауткой: «Эх, какие мы сами, такие под нас и сани!».. С самой ранней весны и до осени она в лугах, с лошадьми, спит днем, живет ночью, и к ней ходят гадать на траве, сама рассказывала о значении трав, я позабыл, — подорожник от пореза, молочай от лишаев... И какая странная звериная нравственность и чистота, — и какая силища, физическая! Мне рассказывал Елепень, — ночью на нее напал парень, хотел ее изнасиловать, — она его связала уздечкой, избила до полусмерти, — а утром

отпустила, никому не пожаловавшись, — пришел домой весь синий от синяков и страха, — потом рассказывал, — таскала она его к реке, чуть-чуть отмолил, чтобы не утопила... Ее считают знахаркой... В ней такая звериномудрая степенность и медленность... А Андрюша — полуидиот, мямлит три слова, молчит и играет на дулейке, водяной какой-то, его водяным и считают... Какая странная судьба — летом все время под небом, — зимой неделями не выходить из землянки, где стены и пол, и потолок из глины, где за ночь мерзнет вода и в углу картошка... Маша-табунщица иногда колотит Андрюшу и выгоняет его из землянки на снег, — он всегда покорен. И они счастливы... Каменный век!..

Так рассказывал Росчиславский о Марье-табунщице, — и, говоря о ней, он был ближе к тому неосознанному, что лежало в нем: он не умел рассказать, что Марья, которую он встретил зимой, в снегу, в морозе, — никогда не рисовалась, не представлялась ему зимней, всегда около нее возникали туманы июльских лугов, месяца рождения, головы коней в покое ночного, когда не мешают оводы. Он не думал тогда о том, что вдалеке горит красное зарево завода, — и не вспоминал, что жизнь его была точной и пропахшей, как его портфель. Он не вспоминал, но если бы вспомнил, ему бы стало грустно, как при мыслях о детстве, — если бы вспомнил о поокских из раскопок каменных бабах. Ему было бы неожиданно-странно, если бы ему сказали, что — вот кругом много девушек, у него есть связь с хорошей, умной, культурной женщиной — что он любит, влюблен, мечтает — о Маше-табунщице, о ее страсти, об этой страсти в лугах, в ночи, там, где камень, который грызут люди от зубной боли...

...Потом Росчиславский замолчал о Марье-табунщице, — он никому не рассказывал, что, как —

— ночь, мороз, зима, декабрь. Звезды кинуты щедро, не жалко их, и свечей из-за леса поднимается красный уголь месяца. На поляну пред сторожкой из окна идет мирный свет. Месяц ползет все выше, зеленеет, — тени сосен синеют парчей, снег под луной лежит бархатом, — какому нечеловеческому деспоту понадобилась такая красота! — В избе у Елепеня на полатях спали детишки, на кровати заснула жена, принесшая уже тринадцать человеческих душ на этот свет, из которых уцелело пять. Елепеня не было дома, — и на соломе на полу, под образами, не раздеваясь, в тулупе спал Росчиславский. В избе было душно. Не спал в избе за печкою в закуте — один лишь поросенок, он выспался за сутки мрака. И тогда отворилась с мороза дверь, босой прошмыгнул Андрюша, прокрался к Росчиславскому, потряс плечо, сказал в жутчайшем безразличьи водяного:

— Андрея, встань, Машуха кличет, — а я здесь посплю...

В землянке на окне горит свеча домашнего литья, окно в снегу, через него ничто не видно, и свеча горит, алмазами. И Машуху сразу не увидел Росчиславский, — она на печке, и у Машухи губы, как у зверя. Машуха спрыгнула проворно с печи, задрались юбки. — Машуха дышит тяжело, как лошадь, вывезшая в гору воз, — и губы у Машухи теплы и мягки, как у лошади: — — древний хмель, что изъел червями каменных поокских из раскопок баб, вздохнул в избе, погасил свечу, — и во мраке, в голове у Росчиславского, в избе, от грудей, губ и колен Машухи — те пошли июлевы туманы, табуньи, сенокосные, болотные, туманней и белесей, чем сама июнева ночь, — поэту можно вспомнить о зареве завода над Окой. И Машуха шепчет:

— Лезь на печку... — —

(В эти дни пришли письма к Андрею Росчиславскому от брата Юрия Георгиевича, где брат писал о волках.) — Андрей Росчиславский оставил после себя записи — —

ЗАПИСИ.

«На масляной неделе в Коломне в кинематографе Люльева остановился зверинец. Я ходил туда. На базарной площади были карусели, играли гармонисты, толпились около люди, гимназисты, мужики в тулупах, бабы в красных овчинах и зеленых юбках. Тут же на двух столбах была единственная — и вечная — афиша о зверинце:

Проѣздомъ въ Городъ остановился
— ЗВѢРИНЕЦЪ —
Разные дикіе звѣри подъ управленіемъ
В а с и л ь я м с а.
А также
ВСЕМІРНЫЙ ОБТИЧЕСКІЙ
обманъ ЖЕНЬЩИНА-ПАУКЪ

«На афише были нарисованы — голова тигра, женщина-паук, медведь (стреляющий из пистолета) и акробат. Афишу мочили многие дожди. У карусели выли гармошки и бил барабан, овчины толпились, луца семечки и наслаждаясь; на конях, на каруселях ездили, задрав ноги, парни; девки плавали в лодках; в одном ларьке продавали олады, в другом — зер-

кала и свистульки. Площадь была велика, и шум от каруселей казался маленьким.

«В доме гражданина Люляева был когда-то общественный клуб, выступали заезжие фокусники, бродячие актеры и местные любители. — На лестнице горело электричество, были развешены картины зверей, толпились мальчишки, — в дверях сидел хозяин зверинца Васильямс; в матросской рубашке, никому не доверял получать деньги, мальчишек бил по загривкам, но иногда и прозевывал счастливец, и тогда тот, сияя, пролетал у него под локтем внутрь; лицо у Васильямса было доброе, с ним можно было торговаться о плате за вход. — Там, где раньше сидела публика, наблюдавшая за фокусниками, хлестнул по носу скипидарный запах зверей, звериного пота. Здесь было целое сооружение, учиненное заново: по стенам стояли клетки с попугаями, орущими неистово, — с безмолвными филинами, немигающими и такими, как чучелы, — на пустой клетке было написано: «пингвинус»; серия ящиков занималась кроликами, очень похожими на тех, которых продают на базаре; в двух клетках сидели мартышки, в ящике, в сено прятались морские свинки; в клетке, разделенной на десяток отделений, чирикали — щеглята, синицы, зяблики, гаечки, трясогузки, чижи; в круглой клетке сидел орел, совсем полинявший. Электричество светило неярко; там, где была сцена, был устроен тир: на стойке, обтянутой красным коленкором, расставлены были — чайный сервиз, самовар, гармошка, галстук, пенснэ, — каждый мог испробовать счастье, стреляя булавочкой в вертящийся диск. — Женщины-паука не было, — ее показывали через каждые полтора часа на пять минут. Народу в зверинце было немного. — В той комнате, где бывало фойе, — были большие клетки; в одной лежал кривой медведь, — кривой, усталый, облезший, в войлоке; в другой — металась два шакала, тигра, нарисованного на афише, не было; но в углу, в медной клетке, плохо освещенной, — был волк; волк был невелик, но стар и убог; клетка был маленькая; волк бегал по клетке; волк изучил клетку, — он кружился в ней, след в след, шаг в шаг, движение в движение, не как живое существо, но как машина, — исчезая в тень клетки и возвращаясь в свет; потом он остановился, опустил голову, взглянул на людей понуро, устало, исподлобья — и тихо завыл, зевнул; — волк был беспомощен, страшный русский зверь. В зверинце было немного народу, и больше всего толпилось у клетки волка. Больше ничего не было в зверинце Васильямса.

«И вот — о волке. Я знаю, — когда тает снег, после зимних вьюг и метелей (никто не докажет, что гёсны прекрасней метелей), — из-под снега, в ручьях, в весне — возникают новые цветы, но вместе с ними — много на земле прошлогодних листьев. Если годы революции русской сравнить со снегами вьюг и весенних ледоходов, — из-под них по Руси, по русским

весьма и селам небывалые размножились волки, побежали одиночками и стаями, драли и скот, и зверье, и людей, лазили по закутам, выли на поезда, разгоняли стада и ночные, страшили одиноких путников, возродили охоты облавами, сворами борзых, с поросенком, — что же: новые цветы иль прошлогодние листья—? Волк страшен в полях, свиреп, хозяин лесов; мне — волк — прекрасная романтика, русская, вьюжная, страшная, как бунт Стеньки Разина. Но — что же — прошлогодняя листва или новые цветы — этот Васильямс и его зверинец? Где и как он прожил метельные годы российские, как голодал, кем был национализирован, — кто денационализировал его, отпустив, как шарманщиков, таскаться по селам и всяем российским — прошлогодней листвой иль цветами —? И вот здесь, в клетке, ободранный, обобраный — волк, покоренная стихия: его братья бродят по лесам, воют, живут, чтоб убивать, родить, умирать, его братья свободны, и они — русские, ибо правят они над русскими полями, лесами, ночами, — а он, облезший, ободраный — маятником мается, *след в след, движение в движение*, здесь в клетке, — как он попал сюда, к Васильямсу, в компанию женщины-паука? — У волка здесь толпился народ, — здесь и у обезьян, должно быть, отыскивая созвучие...

«Рядом со мной, у волчьей клетки стоял мастер Козауров, и он сказал:

«— У, гадость! Смотрю на волка — и вся дикость наша, русская то-есть, прет из него. Всех их мерзавцев в зверинцы надо.

«Я подумал:

«А я — я смотрю на него, и мне его жалко, мне сиротливо. В волке вся романтика наша, вся революция, весь Разин. Мне жалко, что он заперт! Его надо выпустить, — на волю, — как осьнадцатый год».

«Я сказал:

«— Вся наша революция стихийна, как волк.

«— Ну, революцию я понимаю иначе, — ответил Козауров. — В пятом году как раз и понял, когда Риман расстреливал сына. К чертям всех Васильямсов с волками и так и далее!.. —

«Волк снова забежал по клетке. Прошли со звоном, прокричали, что сейчас покажут за особую плату женщину-паука. Красноармейцы, стрелявшие в тир, вынули из-под шинельных пол кошельки. Ни я, ни Козауров не пошли смотреть женщину-паука, — Козауров не желал, чтобы его надували. На улицах было темно. Волк остался в помещении гражданина Люляева, в тусклом электрическом свете, в скипидарящем запахе звериного пота. — Карусели на площади перестали вертеться. —

«Я помню, как мне довелось на волчьей облаве, в лесу встретиться с волком с глазу на глаз: волк, показавшийся огромным, шел галопом, его голова была высоко вскинута, он был прекрасен, — он не видел меня, он шел свободно, и я помню ту дикую, звериную радость, — не страх, только радость и буй-

ство, — когда я целился в него, чтобы убить, — я ранил, волк остановился, недоумевая, вскинул голову и — ушел от меня тем же покойным, величественным галопом: — *там волк был свободен, стихия*... Волк мне — прекрасная романтика России, наша русская, вьюжная, страшная, — но волк здесь, в зверинце Васильямса, в клетке, ободранный, обобраный — *покоренная стихия*: его братья живут по лесам, воют, убивают, живут, страшат, его братья свободны, и они — русские, ибо правят русскими полями, лесами, ночами, — а он, облезший, ободраный — маятником мается, след в след, движенье в движенье, *как машина*, здесь в клетке...

«Был праздник, свободное время, и я пошел в Расчислово. Небо чернело. Влево, вдалеке у железной дороги белым заревом светил завод. Лес принял шорохами и шумом вершин, — древний лес, сосны в два обхвата. Я думал и ждал, что сейчас завоют волки, выйдут на дорогу. И правда, далеко в лесу провыл волк. К Марье я не зашел, устал и решил зайти к анархистам в монастырь. Монастырь был безмолвен. — Семен Иванович, в валенках и шарфе, трудился у печки, растапливал, хотел сварить картошки. Печка дымила. В комнате было холодно, и не было света, кроме печурочного. — Наши не вернулись с вами? — спросил Семен Иванович.

«— Нет, не вернулись, — сказал я.

«— Они ходили на завод, наниматься...

«— Слушайте, Семен Иванович, — сказал я, — я был в зверинце. Там есть волк. Осьнадцатый год не вернется, он прошел, навсегда. Какая была романтика, все рушилось, гремели грозы, люди шли, шли, шли. — Где теперь все это? Мужичья Россия загорелась лучиной, запелись старые песни, замелась метелица, заскрипели обозы с солью, умирали города, заводы, железные дороги. Осьнадцатый год не вернется, он ушел навсегда. Мой брат погиб, мы всех растеряли, мы живем на монастырском кладбище, и мой брат, как волк в зверинце. —

На заводе —

— в сталелитейном, в мартене — сталь и уголь, и они в мартене, как кусок солнца — в мартене зажат кусок солнца, *стихия*, на нее, как на солнце, *нельзя смотреть простыми глазами*, она бурлит и жжет.

В зверинце —

— в клетке за решеткой — волк, *стихия лесов*, и он в клетке, как машина, *след в след, мышца в мышцу*, движенье в движенье, *на волка сиротливо смотреть*.

«Что такое — машина? И кто такой пролетарий? — У машины, как у бога, нет крови?

«Сегодня опять спас меня Кузьма Кузауров — и опять так же, как несколько уже раз. Ночь я не спал, заснул под утро,

и меня разбудили в семь часов, когда выл гудок, еще не рас-
свело как следует, и казалось, что воет — этим страшным,
охрипшим, рвущимся из-под земли, серым — гудом, воет моя
комната, диван, стол, все,—от него, от этого гуда, который про-
низывает все, никуда не уйдешь. И язык от него во рту был
как выпаренный веник. Таяло и бил весенний ветер, было серо.
Рабочие уже прошли, когда я пришел на завод, и завод уже
скрежетал, выл, гудел, как всегда. Я думал о заводском гудке,
о том, как мучительны эти пять минут, когда он гудит, — но
еще мучительней тот момент, когда он— сразу, жданно-неожиданно — стихает, тогда приходит могильная — я не нахожу
иного слова — могильная тишина, пустота, от которой хоть
в воду. Я прошел, как всегда, на электростанцию, сидел в кон-
торке, наблюдал за работой, ходил к печам, там шутил с уголь-
щицами, расчисловскими девками, они просили помочь им
тащить вагончик, я помог, не узнал их сначала, чумазых от
угля. Потом я прошел в машинное отделение, — паро-динамо
пущено уже третий день, у машин был старик Козауров,
у амперметров счетчики; в машинном, как всегда, было очень
чисто, светло, тепло. Я помню, как с физически -ощущае-
мым отвращением я посмотрел на маховик паро-динамо,
огромный в несколько сажений, вращающийся беззвучно за
решеткой, и...

«Я очнулся, потому что меня за руку держал Кузьма Козау-
ров, я помню его фразу: —

«— Отойдите, Андрей Юрьевич, опомнитесь, —
он был совершенно спокоен; я помню, что первое, что я сделал,
это — я прислонился к плечу Козаурова, помню цвет рубахи
и запахи масла, махорки и пота; Козауров был совершенно
спокоен и как всегда придурковат, в руке у него была мас-
ленка, и он отошел от меня к турбине. Мне было очень
совестно перед ним, мне хотелось узнать, что было со мной,
но спросить я постыдился. Я сказал:

«— Спасибо, Кузьма Иванович, вы зря беспокоились!

«Он ничего не ответил, но я работать уже не мог. Была суб-
бота, работы кончались в час. Я сказал, что иду в главную
контору, и главными воротами прошел домой. Страшно хотелось
спать. Я думаю про Козаурова, мне все время хочется позвать
его и спросить, что происходит со мной, он знает обо мне то,
чего не знаю я, — и мне стыдно, хотя к нему у меня большая,
почти детская нежность. В девятьсот пятом году у него убили
сына, карательная экспедиция семеновцев, полковника Римана,—
тогда он несколько недель скрывался в расчисловских лесах;
была зима; однажды, проезжая вечером домой с завода, я встре-
тил его на дороге, он меня узнал, я его окрикнул, но он поспешно
свернул от меня и пошел в лес, он был похож на затравленного
волка, шел устало, руки в карманы, голову вниз, в мужичьем
полушубке, лес уже чернел к ночи. В час загудел гудок,

вновь затошнил мою душу, за окнами весело шли рабочие, спешили на поезд. Сейчас за мной придет лошадь. Надо кончать.

«Ездил на воскресенье в Расчислово, ночевал у анархистов, ходил — —

(Андрей Росчиславский не знал, что вот там, на монастырском кладбище, у анархистов, сосланных революцией — — их, анархистов, трое: Семен Иванович, Анна, Андрей — — . . . в комнате горит железная печка, созданная здесь же на монастырском арт-кладбище из военно-технического слюма; под потолком висит лампа. На диване с книгой лежит анархист Андрей Волкович, у печки возится Анна. Потом приходит из города со службы Семен Иванович, он греется у печки. В доме холодно.

— Сегодня во всем мире карнавальные торжества,—говорит Андрей.— Сегодня во всем мире, в Европе, в Африке, в Австралии, в обеих Америках — неделя карнавала и рядин, все рядятся и веселятся, во всем мире, кроме России и Азии.

Молчат.

— Вы, Андрей, не ходили на завод? — спрашивает Семен Иванович, и в голосе его злоба.

— Нет, пойду завтра.

— Да, ступайте. Надо что-нибудь делать. Не умирать же голодом. Анна подает на стол горячую картошку. Семен Иванович садится есть. Андрей натягивает на плечи тулуп.

— Вы куда? — поешьте! . .

— Пойду пройдуся. Спасибо.

В коридоре гостиного дома мрак и холод, здесь не топят. Над деревьями стоит луна. Тишина гробовая и неподвижность над монастырем. Тени — точно их вырезали ножницами, рядом с Андреем идет карапуз его тени. На скотном дворе в кухне у монахинь вспыхнул огонек, и вот перебежала из тени в тень на дворе — бесшумно — монахиня. — Ворота во двор открыты. — —

Луна ушла за лес, померкла красным углем, исчезли тени,—все стало как тень, — потемнело небо и ярче звезды, — теперь совсем ясно, что небо — ледяная твердая твердь, по которой можно было бы кататься на коньках, если бы была возможность залезть туда. Лес почернел, поугрюмел. Андрей долго бродил по просею, он слышал, как где-то вдали в лесу провыл одиноко волк — Андрей думал о России, о волках. Монастырь — безмолвен, темен, мертв — торчат к небу шатровые колокольни.

Спит, руки скрестив на груди, далеко откинув голову, выставив кадык, — Семен Иванович, бесшумно дышит. Легла уже Анна. — Андрей сидит у стола, над тетрадь, у лампы под абажуром из газеты. Встает с постели Анна, кладет руки на плечи Андрею, прислоняет голову к голове.

— Ложись, милый, спать. Не грусти. Ну что же, что сегодня во всем мире карнавал? — Ты хочешь есть? . .

— Я не грущу, Анна. У меня странные мысли. . . Где, в какой еще стране, люди чувствуют так свою ненужность, как в России? — к двадцати годам каждый уже знает, что он никому не нужен, даже себе, — мир и человечество идет мимо него, он не нужен миру и человечеству, но ведь он — частица, он составляет человечество! Ведь англичанин, швед, француз, немец — он горд, он звено в цепи, он необходим, он соучастник той культуры, которую несет человечество. Слушай, весь мир на крови. В мире человек знает две силы, я еще не оформил, как их назвать, и где их границы: одна это та, когда стихия природы побеждает человека, тогда — бог, и вторая та, когда человек побеждает стихию природы, — тогда: человек с большой буквы. Вспомни — был мир, когда люди

жили только от земли, пахали, пили и ели, как им велела стихия земли: тогда миром правил бог, тогда богу строились соборы, монастыри, церкви, и человек был ничто перед богом. Реальность — стихия земли, и романтика — упование — метафизика — бог. И вот, — помнишь, в XVII веке, в Европе, в Англии и Франции, были изобретены — ткацкий станок и паровая машина, и они перестроили мир, они сделали Европу гегемоном мира, они породили протестантизм — в религии, они народили капитализм — в хозяйстве, они породили буржуазию и пролетариат: — это они первые частички той силы, когда человека надо писать с большой буквы. Пролетарий и машина пришли в мир братьями и с новой моралью и романтикой. Послушай дальше. Мы все сейчас думаем только о революции, только от революции. — Утверждаю, что Россия, страна историческая, была и есть уже много сотен лет и кончится не сегодняшним днем. Россия растет — как дерево, ее путями. Человек двадцать девять дней в месяц работает и день пьянствует, в пьянстве — ему море по колено, — но трудится и создает свой быт, свое право на жизнь, он в будни. У государства тоже есть свои будни и пьяные дни, — это революции. Пьянство родит будни, будни родят пьянство. Россия пьянствовала пять лет, — прекрасные годы! Теперь она идет в будни, она кончается. Надо сделать подсчет всех морей, кои нам по колено, и утверждаю — не революции и не революционный городской несует счастье. Самое страшное — обыватель. Сейчас, что бы ни делало человечество, — две трети всего человечества должны быть заняты тупейшим делом землешаства, чтобы прокормить остальную треть, их труд убог, ибо он дает излишку только одну треть, — две трети человечества ковыряют землю, живут со скотом и зависят от стихии природы, — и вся плодородящая земля тратится, чтобы на ней росли картошка и рожь. И вот пришел человек ученый, гений, он вооружен всем, что дала культура, — и он изобретает, как механически, фабричным путем прокормить человечество, — картошку, хлеб и мясо, белки, углеводы и жиры будут делать на заводе, он построит маленький заводик, куда придут пролетарии! . . . — и две трети человечества освободятся от крепости к земле, освободится две трети человеческого труда, человечество получит досуг, освобожденный труд пойдет в города, он будет строить, творить, создавать, он найдет себе путь; но освободятся еще квадрильоны десятии земли, на них возрастут леса, сады, — будет невиданная в мире революция, которая перестроит государство, мораль, труд, освободит, раскрепостит труд, создаст такое, что мы не можем представить. Освобожденный труд прорвет каналы, высушит моря, сравняет горы, кинет весть о себе на Марс. Это создадут — гений, культура и пролетарий. Человечество мерзнет зимами у полярных кругов, — будут созданы резервуары, в коих будет храниться тепло, — и тепло одной Сахары отопит весь земной шар. Но это не все. Половина человеческой жизни уходит на сон и отдых, — создадут химический завод, который будет производить порошки, и человечество освободится от сна, — и опять новый освобожденный труд. И это создадут знание и пролетарий. И еще: — человечество удваивает свою жизнь, человек будет жить двести лет. — Весь земной шар будет садом, ибо не будет пахотных полей под картошкой и в корме для свиней. Лошадь, корова и курица будут только в зверинцах, ибо их уничтожит машина. Это создаст — гений, культура и пролетарий. Россия первая кликнула клич пролетарию и пролетариям мира, в этом величии нашей революции. Это — метафизика пролетария. И я — с коммунистами-машинниками. Человеческий труд перестроит мир, подчинит землю человеку. Ты понимаешь, Анна? — В мире есть две силы, — и это вторая: гений, знание, труд и человек, — сила, покорившая машиной мир, — машина и пролетарий, и — опять — человек. Ты понимаешь?

Анна молчит, прислонив щеку к щеке.

— Но тогда будут васильки? — спрашивает Анна.

— Да, будут.

— Но васильки растут во ржи, а рожь, ты говоришь, исчезнет? — Знаешь, монахини сегодня опять пели ночью. Я выходила на крыльцо

и слышала, как вдалеке провыл волк, теперь идут волчьи свадьбы. А наверху опять кто-то приехал, опять блуд, там мать Ольга —

— Но есть другой закон, — говорит Андрей, — культура создается богатством. Богатство — это только то, что консолидировано трудом и машиной, труд, накопленный в реальные ценности. Наше золото в рудниках, наша руда под землей, нефть и каменный уголь в земле — не есть ценности. И нет страны более нищей, чем Россия, — такой я не знаю. Без богатства не может быть культуры —

— Да, но тебе завтра надо итти на завод, Андрей, пора спать, — говорит Анна.

Ночь. Безмолвие. Кует и сковывает мороз. И видно с проселка от монастырских ворот, как гаснет внизу в гостинином доме огонь. В лесу, за монастырем бежит волчья стая, гуськом, след в след, впереди вожак, — так стая избегала за ночь верст тридцать. Комиссар арт-кладбища, обалдевший от сна, выходит на монастырский двор, он слышит волчий вой, и этот вой ему —

— одиночество, тоска, сиротство, проклятье хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни вперемежку с волками! .) —

«. . . ходил на охоту за зайцами, бродил по лесу. Скоро уже весна, великий пост входит в свои права. После обеда крепко спал. Приходила Марья, подкараулила меня одного, шепнула:

«— Приходи вечером в сторожку, дома нетути никого.

«Сказал, что с вечера поеду на завод, и с полдороги пошел к Марье в сторожку, шел над Окой и думал, что вот это поощкое безлюдье, эта тишина, эти наши поля, дали, перелески — и есть подлинное, подлинная жизнь, и надо не строить города, а заботиться о том, как бы их разрушить, уничтожить, чтоб жить просто, как рожь, как лес. Думал, что если я когда-нибудь женюсь, то женюсь на такой, как Марья.

«Марья встретила меня в новом ситце, который я подарил ей, веселая и заботливая. Я принес поесть, селедки и баранок, сели по-семейному ужинать, потом она стаскивала с меня валенки, полезла на печь, разделась, и в восемь часов мы легли спать. Иногда лицо ее и вся она меня мучат; лицо ее почти кругло, кумачево-красно, с сизым румянцем, брови густы, точно гусарские усы, черные, как смоль; глаза тоже темны, но не черные, а зеленоватые; губы огромные, мягкие и безвольные; от всей от нее одуряюще пахло всеми запахами ее лесного жилья, начиная от огурцов и кончая коровьим потом, и вся она, невысокая, коренастая, была точно вытесана из булыжника — огромная грудь, огромный живот, огромная задница, огромные руки. На ночь она оставила светильник, и я видел, как в страсти, из-за полуоткрытых, огромных, красных губ поблескивают плотно сжатые, тоже огромные зубы.

«Утром она разбудила меня и проводила до станции, я приехал на завод прямо к гудку. Смотрел с Протопоповской горы на завод, на эту страшную машину в сотни десятин (слово десятины как-то не подходит сюда), на частокол труб, на дым от них, на корпуса из камня, на кучу зданий, — все черное, коптящее, чужое. Слушал, как этот завод гудит стоном людей и железа. Потом, на станции, я понял, как этот завод дышит, продушен,

задыхается — копотью, серой, огнем, сталью, человеческой, обескровленной жизнью... Мне стало страшно за тех рабочих, что ехали со мной, — они бодро шутили, курили маховку, щелкали семечки; потом, когда «малашка» (так называют рабочие свой поезд) стала, они, оборванцы, весело побежали к заводским воротам, обгоняя друг друга, как телята весной на первом выгоне.

«Эти несколько дней были странными, страшными и кошмарными. Как рассказать о них? — у меня все путается в голове. Опять Козауров оттащил меня от маховика, этот маховик — мой враг. И я попросил прийти ко мне Козаурова, я сказал ему:

«— Пожалуйста, Кузьма, зайдите ко мне сегодня вечером, на квартиру, — и змялся, растерявшись, чем объяснить эту просьбу, не принятую в наших обычаях, и забыв его отчество.

«Он ответил, как все подчиненные:

«— Слушаюсь.

«Я сказал тогда ему:

«— Нет, — я прошу вас зайти по частному делу... Если хотите, я приду к вам... как вас по отчеству?

«— Мое фамилие Козауров. Нет, зачем же, я приду к вам. Я все понимаю, — сказал он, и тогда я не понял его.

«После семи я прилег почитать газету и заснул, — и во сне я увидел себя и маховик, видел со стороны, с осязательной явственностью. Прежде всего я услышал гудок и — тишину, которая бывает после него, эту могильную пустоту, от которой — к чорту, головой о стену. Потом я увидел маховик, чистоту машинного отделения, тепло, свет мутного дня (тепло, как свет и чистоту, я — не ощущал, а видел). И вот, у маховика — я, я крадусь к маховику. Я вижу свои ощущения. Маховик меня гипнотизирует, я немею, я бессилен, я ничего не помню и ничего не могу сделать: перед моими глазами стальной, в масле, все время вращающийся, все время уходящий за решетку и все время приходящий из-за решетки, абсолютный в своих движениях, в своем движении — неподвижный, категорический, как смерть, бессильный в своем движении, бессильный не двигаться — маховик, только он, ничего нет в мире, кроме него. Я делаю шаг к решетке, мои движения так же безвольны, как безвольно движение маховика. Я поднимаю ногу на решетку. Сталь маховика вот тут, в четверти аршина от моего лица, я слышу, как отбрасывается воздух, движение воздуха теплее, чем тепло в машинном, — я слышу, как посапывает маховик в своем движении, новые звуки, как в детстве запах своей же шинели, и кабинета отца, когда спрячешься в шинель с головой у отца в кабинете. — Я закидываю вторую ногу на решетку, — и тогда возникает Кузьма Козауров, его рука не старчески-властно снимает меня с решетки, и он говорит: —

«Отойдите, Андрей Юрьевич, опомнитесь», — но прежде чем опомниться, прежде чем проснуться, я вижу того волка, с которым я встретился когда-то на обвале, прекрасного, свободного волка, а сейчас же за ним волка в зверинце у Васильямса, в медной клетке, — он кружился в ней, след в след, шаг в шаг, движение в движение, *как* маховик. Тогда я проснулся. Было темно и тихо, и в тишине было слышно, как капает капель, — и я подумал о том, как прекрасно, что великий пост развернулся, как прекрасна земля, — как несчастен я, оторванный от земли.

«В окно шел свет газового фонаря. Я посмотрел на часы, было десять.

«Тогда постучали, я подумал, что пришел Козауров, — но пришла Марья. Мне почему-то было страшно видеть Козаурова, и я обрадовался Марье. Я сказал:

«— Вот и великий пост, дороги развозит, скоро и снег стает. Иди, ночуй, поставь самовар! Знаешь, раньше не было заводов, люди в Москву ездили на санях. Теперь распутица, — дома, стало быть, сидели бы, неделями, не спешили бы, и на все время хватало бы, и вот с тобой можно было бы полюбоваться целую неделю под-ряд... Иди, раздевайся, ложись! Все чудесно. Чудесно, что ты пришла!

«Она меня не поняла (да я и сам не понимал, как следует, что говорю), посмотрела строго, сказала:

«— Ты что, пьяный, что ли?»

«— Нет, я не пьяный, — сказал я и понял, что видеть ее, быть с ней в ту минуту мне было самым дорогим, у меня закружилась голова — она была прекрасна.

«Она всегда была домовитой, степенной, неспешащей. И я мучился, пока она ставила самовар, пила чай с блюдца, говорила о своих новостях, угощала меня чаем и после чая пожелала еще селедки. От нее пахло ситцем и потом, после чая она аккуратно складывала этот ситец на стуле. Я потушил свет, только газовый фонарь бороздил пол. Марья была степенна и в любви, а мне хотелось неистовствовать. В одиннадцать гудел гудок для ночной смены, шло стальное литье, — но на этой огромной груди, дышащей хорошими кузнечными мехами, мне не было страшно. К двенадцати Марья заснула, я заглядывал в ее лицо, оно было покойно и — не знаю, прекрасно или отвратительно; губы, мягкие, как тесто в квашне, были открыты (я все время касался их), и оттуда пахло луком. Раза два во сне она так бесстыдно чесалась (это обстоятельство было мне страшной радостью, от которой немеет сердце), и мне было совершенно ясно, что мы не здесь, на заводе, в доме европейского образца, а где-то в каких-то пущах, в каких-то диких столетях, в избе на курьих ножках, на вещем болоте, в сосновых дебрях, и сейчас заорет леший. И я — я не помню, в бреду или в яви — бредил, думал о себе, о моих делах, о заводе, о Рос-

сии. Я пробредил до тех пор, когда завыл гудок, и он мне показался в рассветной мгле — криком лешего, не страшным.

«Я думал:

«— Вот здесь, где теперь завод с двенадцатью тысячами рабочих жизней, с десятком огромных цехов, льющий, вытачивающий, собирающий тысячи паровозов, пароходы, дизеля, машины, завод, к которому из всех углов России идут поезда с углем, рудой, деревом, торфом, дровами, нефтью, который во все углы России разбрасывает свои паровозы, вагоны, инструментальные станки, завод, который на хребте своем несет разруху и революцию, который хочет победить мир, завод, около которого живут в лачугах люди, потерявшие свой угол, свою родину, свою землю, собравшиеся отовсюду, забывшие поле и лес, и ширь наших далей, узнавшие только машину, тоску машины, и расплавленную сталь, одинокие, несчастные, оборванные люди, — здесь, где этот завод, пятьдесят лет назад рос тихий лесок, текла рядом Москва-река, пахал бобровский мужик свою долю, пел жаворонок, цвели васильки, — вот здесь, где теперь дым, копоть, лязг и вой железа, гудки, крик паровозов, толпы людей, небо в копоти и земля в железных опилках и нефти... Что принес этот завод, что принесли эти трубы в дым и корпуса в сажу? что несут они России и будущему? — первым делом — вот что: — бухгалтерский расчет! на заводе работает, это вот тут, двенадцать тысяч людей, пришедших сюда потому, что их прислало сюда горе, нищета, их выкинула иная жизнь, и статистика знает, что жизнь заводского рабочего тяжелой индустрии — от этих горячих цехов, от переутомления, от серного запаха, от завода, сокращается на целую четверть.

«Марья спала, в окно шел зеленый газовый свет, я склонился над Марьей и, протягивая в темноту руку, защищая Марью, говорил:

«— Подумайте, жизнь сокращается на одну четверть, — жизнь рабочего! — то-есть на три месяца в год, то-есть на неделю в месяц, то-есть на шесть часов в сутки; но на заводе работает двенадцать тысяч человеческих жизней, помножьте шесть на двенадцать тысяч — семьдесят две тысячи часов, три тысячи дней, десять лет, — десять лет человеческой жизни уносит каждый день завода. Машины заменили кровь огнем и маслом, — и машины мстят за это десятью годами человеческой радости, горести, всего, что дает единственное у человека — жизнь, — десятью годами в сутки. Но все же машина несет человечеству счастье, да? — волк в клетке у Васильяма — стал как машина, счастлив ли он? Машина изобретает машину, и они освобождают человеческий труд? — я читал, когда в Лондоне было проведено по улицам электрическое освещение, тысяча фонариков осталась без куска хлеба, они проклинали это электричество — оно отняло у них хлеб! Машина родит машину, возникают города, железные дороги, заводы, фабрики, небо застилается трубами,

дымом, небоскребами, земля асфальтится, травится известью и нефтью, — это несет счастье человеку? — едва ли!.. — Сотни тысяч, миллионы рабочих коротят свою жизнь заводами и машинами, люди мчат на поездах, не досыпают ночей, спешат, гонятся, не успевают, — лондонское электричество, освободив тысячу фонарщиков, семьсот из них отправило в небытие, а триста остальных придумали новое, стали рыть подземную дорогу, люди бросились сокращать свое время в эти подземки, а десятки тысяч извозчиков пошли с рукой, пока тысяча из них не придумала на станциях подземок устроить кабаки на повозках, тоже очень поспешные, а другие придумали кабарэ, а третьи изобретают новый фасон платьям, — а человеку надо и это новое платье, и это кабарэ, и проехаться по андерграунду, и у него нет времени подумать, нет времени прочитать толстую книгу, нет времени создать такое, чтобы жило столетье, — быт определяет сознание, это верно, — и ему некогда любить, — за цивилизацией, за пятикопеечной газетченкой, за воротничком возрождается дикарь, ничего не знающий, не имеющий времени узнать, и не имеющий сил узнать всего, что наворотили машины. Проклят тот день, когда был изобретен пар и машина... Но вот, Россия...

«И мне стало страшно жаль Марью; она мирно спала, но мне было понятно, что Россия — это Марья, вот эта вот, спящая, покойная, до которой, к счастью, еще не добралась машина, ибо машина кинула бы ее на завод, машина съела бы ее несложную мораль и этику, съела бы ее румянец, заставила бы ее толкать вагонетки с углем к печам, дышать копотью, остротами мастера, — потом мастер велел бы ей прийти к нему на квартиру или в праздник за Оку в Щуровский лес; и там бы она пошла по рукам, как ходят все заводские девки; и в этих вшивых бараках, где живут кучами, где нет и не может быть радости, где собралось человеческое отребье, она почла бы за счастье, что ее взял мастер, потому что *это* и бутылка водки — было бы счастьем. Она, Марья, дремучая, покойная, страшноватая и прекрасная (все эти эпитеты я применил бы и к России) покойно спала, раскинувшись на спине, около меня. Было уже за полночь, когда с заводских дворов ночные рабочие увозят сор, привозят топливо, отвозят на главную линию изготовленные паровозы и машины, и за окном был шум, под окном все время бегал, посапывая и посвистывая, не давая отдыха даже в ночи, паровозик.

«И я говорил спящей Марье:

«— Россия? — но ведь весь мир жил тысячелетия покойно, без железных дорог, машин, заводов, и был счастлив не меньше, чем теперь... Россия, мужичья, хлебопашеская, канонная, тихая, в жаворонках и песнях, и поверьях, — ведь она жила так тысячелетие. Мужик пахал землю, не спешил, был перед богом и солнцем, — был под солнцем, шел по зеленой мураве с сохой,

пел прекрасные свои песни, и в Москву ездили раз в году и неделями, и сказы слушали неделями, и любили прекрасно, и тогда было счастье, тогда была духовная жизнь, — и ветры, и землю и небо, и непогодь — знали, — и прибавилось ли счастья, что вот изобрели самовар, которого мужики и до сих пор не все имеют, и паровоз, от которого не зря шарахаются лошади, ибо он их убьет, а люди к которому подходят, как к чумовому, крестясь, и кабарэ, где позорится прекраснейшее человеческое — любовь?.. Вот, пришел этот наш завод, и забываются старые песни, шинков стало сотни, дети у рабочих не рождаются, они вымирают, в первом поколении у каждого рабочего по три любовницы, и каждая работница — проститутка, и вечером все перекрестки гудят похабными частушками...

«Марья проснулась задолго до гудка, поставила самовар, попила чаю и ушла. Я сказал ей, прощаясь:

«— Знаешь, Марья, ты самый дорогой мне человек. Не забывай меня!

«Она почему-то обиделась, ответила:

«— Все шутки шутите, и ночью бормотали на-смех, что на заводе людей убивают!.. и еще, будто я просекушка, с мастером. Я все поняла. А на завод я, все равно, поступлю, в уборщицы... охота тоже — лошадей гонять...

«Я стал ей растолковывать, что она ничего не поняла, что мне жаль ее, что она прекрасный мой образ; пусть останется она табунщицей; она и тут ничего не поняла, но подобрела, ухмыльнулась, сказала:

«— Ну, ладно-к, приду уж... схожу к монаху в монастырь, за травами, и приду.

«Гудок мне не был страшен. Я прошел прямо в машинное, на электростанцию, к динамо. Маховик все время приходил из-за решетки и все время уходил за нее, маховик посапывал, — ничего необыкновенного не было. Я был очень возбужден, ходил по машинному, приказывал, просмотрел вторую турбину, спускался в котельное отделение, наблюдал за новой немецкой установкой, — а потом... — —

«Меня встретил инженер Форст, сказал мне: — «На вас лица нет, что с вами?» — и вдруг мне понадобился — я не знаю почему — Козауров. Я прошел в машинное, Козаурова там не было. Я спросил, где он, мне сказали, что он не приходил, я послал конторского мальчика к нему на квартиру, спросить, почему он не был вчера у меня и когда зайдет? Мальчишка вернулся, недоумелый, сказал, что Козауров запил, не приходил домой ночевать. Я заволновался. Тогда второй монтер, таинственно улыбаясь, спросил меня:

«— Он вам, Андрей Егорович, по какому делу?

«Я ответил:

«— Он хотел вчера зайти ко мне, чтобы потолковать кое о каких вопросах.

«Монтер сказал:

«— Это вы хотите его сеньсометрию узнать?— все равно не скажет. Всем интересно, как машину оживить. Я увижу его в обед, он в шинке засел, скажу. Не волнуйтесь, он человек твердый. Придет.

«— Скажите ему, чтобы он обязательно пришел ко мне. Я его жду.

«— Хорошо, товарищ, только бесполезно, — сказал монтер и улыбнулся очень хорошо.

«Я его не понял, но я вообще ничего не понимал. Опять пришел Форст и с ним Лебедуха. Форст заговорил:

«— Вот мы, пришли к вам, Лебедуха советует вам пойти домой, выспаться, а потом съездить в Москву, побывать у врача. На вас лица нет. Вы переутомились. Что с вами? Нельзя так много работать. Приходите вечером ко мне. В Москву, в Москву, к доктору!

«Я помню, на меня напала злоба, неизвестно почему. Я крикнул:

«— Оставьте меня в покое! Я никого не трогаю! Я гоню пот, убиваю людей, чтоб их силой дополнить тепловую энергию и их жизнью нагонять вольты! Я — честный инженер. Оставьте меня, к чорту нравоучения! — К чорту вас, Лебедуха, с вашими революциями, если после революций останутся машины!.. Пришлите ко мне вашего отца!

«Тогда все пошло в туман, в этом тумане — последнее, что я помню — это то, что коллеги на меня не рассердились, Форст взял меня за руки...

«Я очнулся дома, был вечер, тишина, мрак. Я протянул руку к столику, чтобы взять папиросу, папирос на обычном месте не было. Я повернул выключатель, и — вместе со светом — вошел в комнату Козауров.

«Он сказал нетрезво:

«— Простите, я не мог вчера прийти, то-есть был выпимши. Вы меня звали, Андрей Юрьевич. По какому делу?»

(Смотри примечанья и главы — о машинах, о Марье, о пучине во хребте и о хребте во пучине, о волках и вольчей сыти—.)

...Эти места имели всё, чтобы не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной... — —

Что такое — машина? и кто такой — пролетарий?..

Конечно, машина — метафизика, и, конечно, машина больше бога, строит мир. Но весь мир на крови: и что кровь машины? — и кто такой пролетарий? — В Египте, в Ассирии, Вавилоне — откуда пошли, дошли до наших дней, затерялись в веках, — звездочеты, астрологи, маги, монахи, волхвы, алхимики, масоны, запутав историю человечества метафизикой — запутав столетья, запутавшиеся в столетьях, — они вели мир, — у бога

был двор, и у каждого двора были сотни божьих служителей, — конечно, не назовешь божий двор заводом и сотню причетников — рабочими, — но бог, стоящий в святилище, уходил от реальностей в вещь в себе, в нереальность, в мистику. — Ну, вот, — весь мир на крови — и: что кровь машины? — Надо пройти на завод через заводские ворота. Ты отрезан от мира забором. Завод черен, завод в копоти, завод в саже, завод дымит небу. Ночью блестит завод сотнями электрических светов. Поле, цветы, небо, песни, пахарь — позади. Стоят корпуса, стоят цеха. Дым, копоть, и визг железа. Но вот где-то, в турбинной, где динамо (на каждый десяток один — масленщик — гибнет, волей своей бросаюсь в маховик, вращением своим манящий, гипнотизирующий, обезволивающий в смерть, как взгляд удава), — человек — инженер — поворачивает рычаг, и весь завод дрожит, дышит и живет: от маленького гвоздя в шкиве до дизельного корбуратора — одно, одна машина, одна воля. Конечно — метафизика, конечно — мистика, — где поп — инженер, а рабочие — служки у бога. И тот, кто поймет оторванность от цветов и полей, и пахаря, кто почувствует сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, и победит это сиротство, и поборет волю в смерть под маховиком, кто — растворив, претворит это в себе, — тот: — пролетарий! Этот, принесший в мир машину, которая стала сильнее его воли, — черный, в копоти, в масле, — если будет знать о звездочетах и алхимиках, поймет, — что он их брат, ибо у машины, как у бога, нет крови. Этот — своей алхимией — сместил алхимика и так же затеряется в веках, как дьякона Астарты, которые в святом святых подкрашивали бога, — затеряется своей метафизикой. Их немного, этих причетников машины, они — коммунисты, они пролетарии. И еще: те у бога должны были томиться в лености и ленью искать забвенья в звездах — эти у машины должны трудиться, им не до звезд, — миры звезд они победят машиной — —

— ...Послушай!.. Октябрь пришел восстаньем, бунтом, боем — ...Веками шла Россия в перелесках, болотами, проселками, — страшная страна, в разбое, в леших, в ведьмах. Россия заложилась — бегством: сначала побежали мы от киевщины, от уделов, — потом бегали от православья, от царей, от бар, — всегда бежали от строительства и государственности. Цари сели на Оку и помосковье собрали, собирали Русь — дыбами, надолбами, монастырями, заставами, нагайками. Припомни, или ты не знаешь, — Московская Россия — вся была — как притвор церковный, как церковь, от женского кокошника, как купол — до культуры из-за иконоспасского монастыря... И все же — бежала Русь на Дон, на Волгу, на Украину, за Урал... И всегда гуляли по России Разины и Пугачевы... В семнадцатом году гуляли по Руси они же, и теперь еще гуляют, еще гуляет Стенька Разин. Это он — враг городам, это он гра-

бит заводы, — это он запел старинные песни, встряхнул старинными поверьями, зажег лучину, повалил поезда под откосы, побежал с фронтов, засорил вошью и тифом, — он, мужик, — большевик!.. Национальная русская душа — страшная над Россией метель!.. все разбросает, если... Послушай, — какая тишина!.. Ты спишь? — прислушайся!.. Слышишь? — слышишь в вихревую эту метель, в корявую, кровяную, полыхающую заревами удалую, разбойничью, безгосударственную, — вмешалась, впелась черная чья-то рука, жесткая, стальная, как машина, государственная — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоты, сжимающих все до судороги, — она взяла под микитки и Россию, и русскую метелицу, и мужика, — сжала до хрипоты, — это она захотела строить, — строить, — слышишь, — строить!.. Никто не понимает, — это мы, пролетарии, — это мы — машинная Россия, это — заводы, заводская Россия надевает на свой хребет пугачевщину, болота, лучину, поповщину... Всю Россию мы построим заводом, — это мы будем делать правду, справедливость, хлеб и воду — трудом — на заводах... — —

(—...никто не понял в России тогда романтики пролетария. Вся городская великороссийская Россия тогда жила — — это они, пролетарии, нормализовали, механизовали, равняли, учитывали, — это они внесли в каждый дом быт завода с нормой труда, с нормой хлеба, с нормой света, с нормой прав и бесправий, как машина. Это рука — рука рабочего, пролетария. Это пролетарий над Россией из метелей — в метелях — — в буре, бунтах, голоде, войнах — строил машину, всесильную машину, рычаг которой был в Московском Кремле, где сидел Ленин, — это Кремль построил Россию, как карту, как план машины, — в карточках, картах, плакатах, словах, мандатах, во всяческих заград-отрядах, в карточках на табак, чтобы курили и некурящие, желтых, как человечьи лица, хоть вся Россия правилась метелью и кровью... Огромная воля!..» — *(выпись из «Книги Живота моего» статистика Ивана Александровича Непомнящего).*

Ночь, ночные колотушки — —
было — —

учин во хребте, и пучин во учине, и учин во пучине, — по лесам, по дорогам стеньки-разина-разбойничьи посвисты, свисты, насечки, заметы, приметы, разгул и удаль по лесам и разбою, — «городам теперь крышка! бей коммунистов, мы за Машку, бей революцию — мы за революху — ух!» — —

было — — хребтами заводов —
— Россия, влево!
— Россия, марш!

— Россия, рысью!

— Кааарррьером, Ррросссия! —

...эти места имели все, чтоб не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной... —

...Если там, за ребрами, где, надо полагать, по его понятиям, находилась его душа, порыться у кукушки Қозаурова, и еще порыться под лысым его черепом, — есть ли там у сердца гордый холодок, а в мозгу твердое сознание — того, что вот он, вот ему дана тайна, тайна немногих (потому что только на русских заводах могут существовать кукушки) — тайна рождать машину-дизель?.. Дом, где жил Андрей Юрьевич Росчиславский — похожий на шведский коттедж Дом Холостых — стоял на инженерском поселке, там, где туго сплелись железнодорожные рельсы и тощие росли тополя, — поселок был рядом с заводским забором. Был вечер великопостных российских распутиц, когда ветер ест снег, когда чавкает снег под ногами на проселках, и в долгие сумерки кричат на проселках вороны. — И в дом к Росчиславскому сразу вошли двое (там была уже Марья, и позднее пришел Форст), — двое — один через кухню, другой парадным — отец Кузьма Иванов Қозауров и сын Андрей Лебедуха. Отец был нетрезв.

Сын спросил отца:

— Ты зачем здесь?

Отец сыну ответил вопросом:

— А ты зачем притащился сюда? — тебе меня не учить, значит!.. —

И так и потом все время отец и сын перерекались. Старик первый вошел к Росчиславскому, нетрезво сказал:

— Простите, я не мог вчера прийти, то-есть был выпимши. Вы меня звали, Андрей Егорович? По какому делу? — Я ваше дело знаю, Андрей Егорович, вот что. Я вам посоветовал бы — вот, что, как учеников я учу, открою секрет... Вы собашником не были?

Вошел Лебедуха, поздоровался. — Росчиславский, без подштанников, сидел на кровати, вдвинулся в угол за подушки, колени его — около подбородка — были худы и волосаты, и ноги он все время подбирал под себя, таща одеяло. На столике и на полу у кровати были навалены книги. Электричество горело ярко. Росчиславский не заметил слов Қозаурова, — он сказал входящему Лебедухе:

— Нет, подождите, Андрей Кузьмич! Вы — коммунист? — вы за механизацию мира?

— Мы хотим...

— Нет, погодите! Когда в Лондоне было проведено электричество, завоевание цивилизации и машины, — тысяча лондонских фонарщиков, диккенсовских фонарщиков, осталась без труда, была выброшена умирать. У нас на заводе каждые сутки

завода съедают десять лет человеческой жизни. Машины мстят. Мир дичает, все спешат, бегут, мчатся. Вы слышали о предстательной железе в человеческом организме? — она все время раздражена, человечество в дыму машин, в копоти, в моральной грязи, в недоученности, — живет, как насекомое в банке с кислородом, удваивая, утраивая свою поспешность, точно в кинематографе, когда демонстратор спешит...

— Погоди, Андрей Егорович, — я хочу сказать, то-есть... — начал было Козауров.

Заговорил Лебедуха, перебив отца:

— Совершенно верно, Андрей Юрьевич, — сказал он, — это капитализм. Совершенно верно, — лондонские рабочие, фонарщики пошли голодать. Но наша цель — как-раз не дать им голодать, и как-раз освободить фонарщиков от фонарей, — мы хотим освободить человеческий труд: это социализм. Прибавилось ли или убавилось объективных ценностей от того, что тысяча людей заменена машиной, электричеством? — прибавилось, ибо эта тысяча может создать новые ценности. Капитализм их выбросил за борт, — мы дадим им новый труд, по их званию, — а, если им не подыщется труда, то мы накормим их за счет тех ценностей, кои создала машина, — и то, что они будут свободны — это и есть основная цель социализма... Мы идем к этому.

— До этого еще далеко, — сказал Росчиславский.

— Да, до этого еще очень далеко. Но мы боремся, первые в мире, и пока мы — как затравленные волки, но...

Росчиславский перебил, поднявшись на кровати, поспешно:

— Как затравленный волк, — говорите вы! А вы видели волка в клетке у Васильямса, — ведь этого никто не выдумает: волк у *Васильямса!* — он бегаёт по клетке — *как машина!*.. А наш мужик? — а васильки? — а Марья? — а наши болота? — а знахари? —

В это время в комнату вошел третий, инженер Форст. У прилоки стала Марья.

— Погодите, то-есть! — крикнул сердито Козауров и застрашил рукой сына и Форста. — Я хочу сказать... Вы собашником не были?.. нет?.. ну, вот, принесет сука помет, хороший собашник отберет щенков, что получше, а остальных — либо в реку с камнем, либо на веревку да удавит, — уж как, то-есть, не муторно хорошему хозяину собаченков вешать, а вешает, — необходимо! Вот и говорю... У вас, Андрей Егорович, болезнь, называемая — *страх*. Страх, значит. Перед душою машины. Вот, как собачонку вешать страшно, язык высунет, — так и страх ваш, болезнь, надо из вас вытравить: иначе вы не жилец на заводе, — бегите от него, как от чумового. Я вот при начальстве скажу, — придет малец на завод и — зуб на зуб ему не попадает, страх, лешай да черти ему чудятся, машинный чорт, называемый *машинник*, его пугает. Как увижу такого,

знаю, погибнет, если не научить, душа его машинную душу не приемлет, страх. — Я тогда его беру и прямо, на ночь, либо на праздник — либо к котлам, либо в кузню, либо к динамам — смотря по тому, какого чорта боится — посажу и караулю. Если перебоится, почует, — *псчует*, слышь! — тогда, значит, — будет мастеровой! А если нет — бери монатки, иди вон. Вас, Андрей Егорович, надо под пол, под маховик на ночь посадить. Вот, то-есть. Душу машинную вы не приемлете! —
— Брось, отец, мистику разводить, — сказал Лебедуха.

— Нет, это не мистика, он дело говорит, — сказал Форст. Росчиславский крикнул:

— А наша национальная душа? — а Марья?

И тогда — вдруг сразу — получилась ерунда.

— Я здесь, барин, — сказала от притолоки Марья. — Я с обеда вас дожидаясь, как уговаривались... Кузьма, слышь, Козодой, не серди барина!.. ступай на куфню, оставь господ!.. Я к вам, товарищ-барин, как вас назвать, Лебедуха Козодой, что ли? — в конторе на заводе уборщиц нанимают, определите, пожалуйста..

Козауров сторожко огрызнулся:

— Ты что тут командуешь, знахарья кровь?!

Росчиславский закричал:

— Марья, Марьюшка, милая!.. Тебя они погубят! Ты одна осталась у меня, Россия, подойди сюда, сядь со мной, я обниму!.. Андрей Кузьмич, Форст, — не уходите. Я буду около вас плакать. Кузьма, вы несколько раз спасли мне жизнь — около маховика, — я не боюсь его больше. Но Марью он съест, — маховик!.. Это мистика машины, это смерть васильку, это смерть Марье, — это рождение новой жизни, не знаю какой, но такой, где не будет волков и лесов, а будут сады и зверинцы... — Росчиславский заплакал и стал спиною впихиваться в угол за подушку, — челюсть его дергалась, точно он сдерживал зевоту.

— Позвоните доктору, — сказал Лебедуха, — у него истерика, где здесь телефон? — —

...Был вечер, когда ветер ест снег и воздух бухнет теплом и сыростью, и чавкает снег под ногами, — ночи тогда очень темны. Форст и Лебедуха вышли вместе и вместе пошли во мраке. молча. Попрощались.

— *Что же, еще одна наша жертва*, — сказал Лебедуха.

— *Да, жертва, только не ваша, — а жертва нам, вашему отцу и мне*, — ответил Форст.

— *Ну, мы будем еще спорить*.

— *Да, мы поспорим. — Это жертва машины, а не революции.* Но нам — вместе.

Они пошли в разные стороны — —

Поздно ночью перед домом Росчиславского стоял совсем пьяный Козауров, он махал руками, грозил дому и говорил сам с собой:

— Азияты! меня учить!.. — Я сегодня у товарища был, в городе, выпили. Мы с ним вместе на заводе работали. — «Ты, — говорит, — азиат, на заводском кладбище живешь, — сифилистик ты», — говорит. Я спрашиваю его: — почему я сифилистик? — «А помнишь, — говорит, — у твоего дяди, у токаря по металлу, нос гайкой оторвало?» — А-а, — я ему — отвечаю, — в таком случае помнишь у нас был директор — сифилистик, — так всем трубам на заводе пришлось 606 впрыскивать, чтобы не провалились от сифилиса. — «Врешь!?» — говорит, и глаза выпучил. — «Не вру», — отвечаю. Смотрит обалдело. — «Врешь, — говорит, — я на прошлой неделе был, видел, как рабочие сидят около труб, греются, — трубы стоят!» — Потому, говорю, и стоят, что им впрыснули 600 и 6!.. — Обалдел парень, глаза таращит, не понимает! — А я все понимаю, как учить... — —

.....
Ночь. Мороз, Зима. Звезды кинуты щедро, не жалко их. И свечей над соснами сбоку поднимается красный уголек месяца. На поляну пред сторожкой из подслеповатого окна Елепеня идет мирный свет. Тишина такая, что звенит в ушах. Месяц идет выше, бледнеет, тени деревьев, сосен в рукавицах снега идут синей парчей, снег под луной лежит бархатом в алмазах инея, — какому нечеловеческому деспоту понадобилась такая красота? — —

В избе у Елепеня на полатах спят детишки, на кровати заснула жена, принесшая уже тринадцать человеческих душ на этот свет, из которых уцелело пять. В избе душно. Не спит в избе — за печкою, в закуте — один лишь поросенок, он выспался за сутки мрака.

На морозе, у дверей землянки, скорчившись, закутавшись с ногами в Елепенин тулуп, притих Андрюша, — он безразлично смотрит в небо, изредка зеваает, как зевают на луну собаки, — он покоен, как всегда, — его лицо в завшивевшей бороденке — в лунном свете — ничего не выражает, как ему дано от бога. Он мирно ждет, когда прикажут.

В землянке на окне горит свеча домашнего литья, окно в снегу, через него ничто не видно, и свеча горит — как в сказке. Но на печи — не сказочно — Марья с Елепенем, у Марьи губы, как у зверя. Елепень же — леший, косая сажень, с щетиною небритого ежа на скулах. У Елепеня — белые, насквозь невидящие и глядящие глаза. На печке, в блохах, душно — даже блохам.

Елепень говорит:

— Собаку вот мою убили, сволочи... — и молчит. — Бабы, Машуха, ладная, — зато вас и держу... — и молчит. — Без собаки трудно... весь лес растащут...

Машуха дышит тяжело, как лошадь, вывезшая в гору воз, — и губы у Машухи теплы и мягки, как у лошади. Древний хмель, что изъел червями каменных поощких из раскопок баб, покорно бродит по землянке, — поэту можно вспомнить о зареве заводов за Москвой-рекой.

Елепень молчит.

— Собаку вот убили, дознаюсь кто — убью, не пожалею... — и молчит. — Машуха, ты... баню, коли хочешь, здесь устрой, чтобы ходить с монахом... я — ничего — велю... — и молчит... — А этот, значит, с ума спятил? — во! и, значит, от тебя?..

.....
...Путь из 23-го октября в 28 стал отвесом более отвесным, чем Памир. Там наверху — октябрём даже в июле, июнем всюду — ибо не было ночей — падать, ползти, умирать, — там странный, безнебный, безночный июнь, и в этом июне — декабрьские — железных печурок и дыма — морозы —

шел девятьсот девятнадцатый год, шел июль, — за заводом легли поощкие поля, Расчислав, на лугах пасли табуны Маши-табунницы, — шла и лежала Россия изб, смотрела трахомой избяных оконцев, скалилась подворотнями, усмежалась скрипом дверей...

было — —

опять расходился на ночь завком, чтобы выспаться наспех, — пальмы в кабинете заводоуправления отдыхали от махорки, совсем степенные по-европейски, и на столе лежали, не умершие еще листки бумаги, окурки, ручки, пепел. Ночь. — Это в ночь, в проселки, в туманы, в веси — бросал и бросал завод — волю, людей, свои мысли, свой навык — сотня туда, сюда десятком...

было:

там, в ночи, за сотни верст от завода, в степной деревне, где нету полустанка, сгорел, стерт с землей полустанок, — костры в ночах и тысячи, и — песни, и окна у деревни горят пожаром, — и задолго до рассвета к выгону пошли отряды, раздетые, разутые, без картузов, с винтовкой и котомкой, — они шли меж костров, и красный отсвет красного огня их провожал во мрак, они шли бодро, ружья на плечо, широким шагом, — бей белогвардейцев. — И на утро, когда «румяной зарею покрылся восток», загрохотали пушки, точно это грохотало солнце, — тысячи пошли — иль умереть, иль победить. И в новых становищах новые горели красные костры.

было:

где-то на Оке иль Волге, где паром как триста лет назад, полдюжины телег, пепел от костра, мужичьи бороды и шопот: «значит, крышка, — хлеба не давать, — зато из городов за фунт достанешь шубу, — таперя, значит, крышка» — —

было:

были по лесам и по дорогам стеньки-разина-разбойничьи свистки, посвисты, насечки, заметки, приметы, разгул и удаль

по лесам и по разбою, — «бей коммунистов, — мы за большевиков, бей революцию, — мы — за революцию, ух!..»

было — —

Несуществовавший разговор.

(Лебедуха:

— Вас, Иван Александрович, надо было бы расстрелять.

Статистик Иван Александрович Непомнящий:

— Нет, зачем же, Андрей Кузьмич, я никому не мешаю. Я для истории. Я за Россию...

Вопрос:

— Почему не развалился завод? —

Ответ:

— Потому, что он стальной! —)

было — —

завод хрипел гудком, рвал свое нутро, задыхался дымом, дымился. Шли на завод рабочие—оборванцы вся революционной Руси, в опорках, босые, злые, голодные, без шапок; скрипели цеха, скрипели краны, гудели паровички, орали плакаты — «бей разруху, бей Деникина, бей темноту народную!» — —

было — —

ночь, потушены лампы, гулки коридоры, у дверей красноармейцы, — только в кабинете у директора, где заводоуправление, зеленая конторская лампенка и искусственные пальмы в сизом от махорки дыме, — и за окном заводские огни, — окно полуоткрыто — ночь, ночные колотушки. Люстру — потушили.

— Иван, родной, ты лег бы спать, — ты не ложился уж неделю.

— Я лягу здесь, Андрей... Мне надо написать. Я напишу, а ты ложись.

— Дай папироску.

Тишина, ночные колотушки.

Лебедуха:

— Позвони Смирнову, пусть придет, он сидит в завкоме.

— Скоро уж рассвет.

Смирнов, — расставив ноги, голову на руки, — каждый глаз по пуду, и голова — в тысячу пудов, — как снести?—:

— Я составил списки. Десять человек на фронт. Андреев с эшелонами по продразверстке. Тебе придется взять еще и профрабату... Сидел и за столом заснул... Завтра утром до работы — митинг, ты выступай, — эх, Деникин, сволочь, жмет... Помнишь, у Лермонтова, — Казбек с Шатом спорили — «от Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и свер» — —

Лебедуха:

— На завод надо нажать, — патроны, пушки, рабочие дружины... Иван, родной, ты лег бы... Иван пойдет на фронт... Мы тут всю ночь вопросы обсуждали...

Тишина, ночные колотушки. А потом — лиловой лентой за Москвой-рекой — рассвет. Один свалился на диване, другой заснул на стуле, — третий — у окна, в карманы руки, окно раскрыто, роса села, за окном рассвет — —

Смирнов:

— Ты бы ложился, Андрей. Тебе завтра ехать по селам — —

— ...и завтра, и после завтра, — доколе? — говорить, делать, не спать, побеждать, делать, делать, делать... строить, — по России проложить машину, на заводе строить хлеб, солнце заменить турбиной, по полям посеять города-сады, сделать жизнь прекрасной — —

Смирнов:

— Ты как хочешь, а я рабочим выдам завтра добавочные фунт селедки...

Ночь, ночные колотушки. Смирнов сидит, расставив ноги, и голову на руки, и глаза по пуду, — как голову снести с такою тяжестью? — как не упасть и не заснуть вот тут, где подкосились ноги. —

Лебедуха:

— *Помнишь, как-то мы прокоротали ночь втроем, с нами был Иван... Ивана разорвали мужики на продразверстке. Ивана уже нет, хороший был товарищ...*

Смирнов:

— Что же, тебе страшно? — многие еще погибнут...

— Нет, мне не страшно. Многие еще придут на его место. Казбек с Шатом спорит, ничего не поделаешь...

Ночь, ночные колотушки. И потом рассвет. Какая тишина!.. —

И было собрание рабочих, до цехов, до машин, росным рассветом, под небом на заводском дворе, тысячью глоток —

— и на собрании,
как везде, были:

было

и

получилось — —

Было:

между электростанцией, сталелитейным и заводскими воротами, на площади, где скрестились линии ширококолейной и декавыльки, где нависнул тысячетонный кран, где горами свалена болванка и железный лом, где дым, где гуд завода — собрались рабочие, десяток тысяч, на собранье, стали паровозы, замер кран, рабочие сидели — на болванке, на мостике у крана, на шпалах, на паровозном тендере; кругом дымили дымы; — рабочие бриты, чтобы не въедалась сажа в бороды, у иных волосы в скобку, под польку иные, иные на английский пробор, — и все же крепко въелась сажа, хмуры лица, злые лица; у тех кто впереди и кто стоит — тех лица энергичны.

Было: —

— — что должно было быть — —

Лебедуха:

— Товарищи! Мы строим первую в мире рабочую власть, — мы, рабочие, строим свой мир. Мы должны победить. Я ничего не хочу знать — мы должны победить — —

было, что должно было быть.

Было:

— Товарищ Лебедуха! Вот император Александр II, освободитель, отставил крестьянство от крепостного права, а коммунисты его опять вводят для рабочих, — мобилизуют на заводы, гонят работать, а сами кормят воблой. Зачем для рабочих опять вводится крепостное право? —

Было:

— Товарищи рабочие! Вот мы все теперь кормимся по пайкам, — а я говорю — враки! Потому пайки выдают такие, что от них, если только их есть, умрешь ровно через три с половиной недели, я высчитал, — а народ не умирает, — значит все жулики, и коммунисты тоже, раз не помирают, значит кроме пайков кормятся, — и нечего спрашивать с нас, что мы ремни на подметки ворует, — все воры!

Было:

— Граждане рабочие! Вспомните октябрь семнадцатого года. Что нужно было немцам, чтобы победить нас? — отнять у нас хлеб, разрушить наши заводы, развалить нашу армию! — Кто это сделал? — большевики! — Они отняли у нас хлеб, заградив рабочего от крестьянина. Они разграбили заводы, растащив машинки на писание мандатов! Они заставили нас драться с нашими братьями!... — —

Было: — многое.

И —

получилось:

— Десяток, — в профсоюзы! —

— Сотня, — за хлебом!

— Дружина, — на фронт!

— К ссссттанкам, — ты-ся-чи! — —

— Россия, влево!

— Россия, марш!

— Россия, рысью!

— Кааарррьером, Ррроссия! — —

— Есть нечего — жить весело!!

Это вот здесь, на заводском дворе, в очередях, кепкой ò земь:

— Запиши, товарищ, меня на фронт.

— Я к тебе, Семенов, в дружину...

— Давай винтовку, — плачь, бабы!

— Крой Колчака, — даешь Деникина!

— Я от товарищей не отстатчик.

— Нам не бывать-стать пропадать!

Это завод заскрежетал, двинулся, пошел работать, пошел кран таскать тонны, это пошли рабочие черными реками по цехам; к станкам — к труду, к будням, к мартенам, —

— у мартенов совершенно ясно, как солнце зажато в печаш!..

...Ночь. Ночные колотушки. — А потом рассвет. Там, за окном — завод. Там, за заводом — Памиры. Там холодно в июне, там нет ночей, — там декабри вперли в июни, июнями — в декабри... —

— Московский Кремль сед, во мхах. На Спасских воротах бьют часы:

— Кто-там-зас-пал-на-Спас-баш-не-э?!

чтобы пройти в Кремль в лето тысяча девятьсот двадцать первое, в лето, как каменные бабы из поощких раскопок, — не надо звонить в комендатуру, не надо итти Кутафьей башней, Троицким мостом, Троицкими воротами, — надо уйти в русские сказки, так же прекрасные, как московский Кремль, как русский июнь, как мхи июньских сумерек...

Чугунное литье.

Вопрос:

— Почему не развалился завод?

Ответ:

— Потому, что он стальной. —
(Эпиграф.)

...есть!..

На заводе шло чугунное литье. Чугуннолитейная работала в три смены, двадцать четыре часа, — чугунолитейная безмолвствовала два года, теперь ее пустили. Чугуннолитейный цех не спал, рабочие не досыпали, инженеры не уходили с завода круглые сутки. Черное здание, многожды прокопченное, с побитыми стеклами в крыше, — чугунолитейный цех, — гудело жаром, на дверях повиснул дым. — Люди ходили с воспаленными от жара глазами, тем шагом, которым, если итти по прямой линии, пройдешь четырнадцать верст в час; люди молчали, рабочие в блузах с засученными рукавами, в синих очках, в кепках на затылок. Лили все чугунное, что нужно заводу на месяцы, — что нужно заводу, обточив, собрав, свинтив, кинуть в русские дали и веси...

Вагранка лила третий день. Была ночь, те часы, когда все спят, когда спутываются расстояния и понятия, и когда люди — или ничего не понимают, или чокаются душой о душу... Здание, как сарай, с кранами под крышей, скрипящее лебедками кранов, было темно, — когда открывали вагранку, когда лился жидкий чугун, тогда надо было надевать очки, чтобы видеть, чтобы не ослепнуть. Люди молчали, — им было не до разговоров. Чугун лился в чаны, — и когда эти чаны ползли над землей, красные отсветы падали на потолок, освещали каждую паутинку, тем-

нили электричество, над ними, из мрака, возникали — не люди, — человечьи подбородки, челюсти, лбы, руки, кепки, — все красное, сосредоточенное, молчащее; — и звезды над крышей, в разбитых стеклах — сразу меркли, когда туда попадали отсветы от чанов с чугуном. Потом чугун лили в формы, — и тогда он плескался тысячью искор, и тогда люди казались не людьми, а чертями в преисподней. Во мраке черные тени людей, безмолвно и поспешно, с лопатами, рылись в формовочной земле, ровняли, отрывали, рыли. В литейном было трудно дышать, — там в вагранке было зажато жидкое солнце, на которое, как на солнце, надо смотреть сквозь очки и которое жжет солнцем. Люди не досыпали, люди уставали, — шло чугунное литье. Шло литье.

Инженер Форст и Лебедуха перед полночью вышли из цеха, — покурить, отдохнуть, размять мышцы. Сразу за дверями обвеяла отдохновенно прохлада, над головой стали звезды, направо из электрического света в небо, во мрак, уходили трубы. На шпалах лежали рабочие, курили, отдыхали. Слышно было, как огромная труба тянет из вагранки раскаленный воздух. Пошли по тропинке между цехов, ноги шли привычно по привычной плоскости, между рельсов, стрелок, куч материалов. Молчали. Впереди, за площадкой, стала электростанция. Пошли к ней, подошли к окну.

За стеклом, в абсолютном свете бесшумно работали турбина и паро-динамо, людей не было видно. Всмотрелись, — увидели: прислонившись к решетке, под турбиной, склонив голову на грудь, спал Козауров, с тряпкой в руке. Вошел смазчик с чайником и с куском хлеба, прошел к лестнице в котельню и спустился по ней вниз.

— Смотрите, — сказал Форст Лебедухе. — *Ночь. До смены еще далеко. — Машина — это консолидированный человеческий гений. Монтер спит, смазчик ушел пить чай к угольщикам... Машина работает одна, без человека... Присмотритесь, — как она работает!.. Она работает одна, без человека!..* Замечательно!.. Ваш отец должен сейчас молиться, а он спит...

...Машина работала одна, без человека.

Форст спрятал трубку и смотрел на машину, как, должно быть, смотрят в бурю капитаны кораблей, не мигая; Лебедуха бросил папиросу. Смотрели молча. — И увидели: — в дверь из конторки, в халате, с руками вперед, с волосами, сбитыми постелью, — вошел Андрей Росчиславский. Глаза его смотрели невидяще. Он сходил со ступенек на кафели пола, точно шел в воду и пробовал каждый раз, не холодна ли она? — И тогда он быстро пошел к паро-динамо, опустив руки — —

— Скорее! Спасайте! — крикнул никогда не кричавший Форст и побежал.

— — когда Форст и Лебедуха вбежали в станцию, — человека-Росчиславского уже не было, — а был — кусок крас-

ного мяса с порвавшейся кожей и вылезшими костями, и этот кусок таскался за посапывающим маховиком... — —

...И тою же ночью чугунного литья над землей и заводом прошла небывалая гроза. Ветер рвал заборы и крыши, и людей. Громы гремели так, что не слышно было шума машин, и человеческий голос тонул шопотом. Молнии рвались — здесь вот, над головами, — шарами, стрелами, ромбами, и свет их не уходил с земли, туша свет электричества, — в зеленом этом свете было светлее, страшнее, чем днем. Тучи цепляли за цеха, за трубы, и каждый взрыв молнии—десятка молний сразу— сразу рвался громами, десятками, сотнями, валящихся сразу памиров. Громы гремели зловеще и торжественно, торжествуя, — молнии рвались и бились тысячью вместе-взятых электростанций, — и ветер рвал и разметывал заборы и крыши. — На скотном заводском дворе — от пожара, обезумев, погибая в безумии — бык и за ним десяток коров — свалили ворота, — бык вышиб ворота в завод: и меж цехов, у чугунолитейного цеха мчал обезумевший бык, рогами сметающий все, и за быком мчали коровы, — и бык, и коровы, должно быть, ревели, но рева их не было слышно. Громы бросались памирами, — молнии рвались тысячью электростанций, — людям надо было головы прятать — и прятались люди — в подушки, в перины, под кровати. — Марья-табунщица в поле, должно быть, легла на землю вниз головой и прижалась к земле. Можно было подумать, что древние перуны мстят за смерть Ростиславича. — Потом пошел дождь. —

В чугунолитейном шло литье. Форст и Лебедуха были там. Они вышли посмотреть грозу.

Форст наклонился к уху Лебедухи, сказал шопотом (потому что только шопот и был слышен в этих ревах):

— Какая несовершенная машина — природа. Сколько триллионов килоуатт выбрасывает она по-пустому. Если б эту энергию собрать, то одной этой ночью можно было бы осветить всю Россию на год...

Из громов пошел дождь, сразу стихли громы, и можно было заговорить просто, и простой голос Форста добавил:

— И эту энергию, эту машину соберем и организуем мы, инженеры!.. —

— как рассказать всегдашний, единственный сон? — сон, где снится, что солнце выплавлено в домне — не даром около домен пахнет серою, как в первый день творения, — что хлеб строят заводами...

— Там кричат дикие утки. Там пахнет тиной, торфом, землей. Там живет тринадцать сестер-лихорадок. Там нет ни троп, ни дорог, там ничто не выверено, — там бродят волки, охотники и беспутники, — там можно завязнуть в трясине!..

РАЗДЕЛ КНИГИ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, КАК РЕАЛЬНОСТЬ, ПУЧИН ВО УЧИНЕ.

.....
.....
.....
...если вот здесь, из многоточий, над этой книгой и над этим повествованием, над Россией, над декабрьскими июлями русскими — с памирных высот и из мира — выплыть большому человеку, человеку с большой буквы — поплыть большим фантастическим кораблем в коломенские земли — — человеку надо думать над всей Россией, над буднями, над мелочами — — то этому человеку будет видно — — этот человек

увидит — —

— если оттуда — с пространств и просторов — смотреть: ничего не видно. — Ночь. Ничего не видно. Пусты, пустынно, черны пространства. Пароход гудит, точно намерен вывернуть свое нутро. На носу в темноте кричат:

— Отдай носовую — у!

Капитан командует с мостика, задушенно:

— Средний.

— Есть! —

Шипит вода, пристань отворачивается — пароход идет в черный простор, в плеск воды, в холод. Слева стоит белесое зарево, и зарево красное вправо. Просторы пустынно, пусты. Палубу, снасти, решетку перебирает ветер, шарит, ворует, свистит. Зарево стало сзади, поредело, поблекло, — исчезло зарево справа. Впереди — тишина. Человеку стоять на носу, смотрит в черную даль, — ничего не видно — мрак. Впереди Русь и Россия подлинные, на сотни верст вымороченные села, волости и уезды, уставшие, изгоревшие в людоедствах, в бурьянах, в мертвых дорогах. Холодно. Справа красно вспыхнул огонек на бакене и исчезнул. Ветер шарит, ворует. Тогда приходит командир парохода, во фрунт отчеканивает рапорт.

— Прикажете делать остановки, — укажите — где?

— Нет, товарищ, пойдем без остановок, так. —

— Теперь частые туманы. В тумане итти нельзя. Прикажете на якорь стать, не подходя к берегам?

— Пожалуйста — вставайте.

— Есть! —

И слышен крик командира, — в безмолвии, в пустыне:

— Готовь якорь!

— Есть! —

Туман, безмолвие, пустыня, лишь плещется вода о борт.

И во мраке, в потном тепле, в тишине — слышен разговор, медленный, тягучий — —

Ж е н с к и й г о л о с : — Ты это, што ли? Што же это — один посадил, а все лезут в черед... Не щипи!..

Б а с о к : — Тише, ты, баба!.. Мы теперь своего богатства не понимаем. Турцию, браток, можно завоевать мирным порядком, — взять и перелить Черное море в наше, в Балтийское, вот и все... Эта, браток, тема государственного масштаба.

Молчание.

Т е н о р о к : — А как перелить-то?

Б а с о к : — А для этого, браток, надо прорыть канал, либо Двину с Днепром в одно срыть, — и валяй качай на нашей территории, мирным порядком, помалкивай. Так же можно и Каспий выкачать, и никто ни слова протесту, потому что — дома...

Т е н о р о к : — Двину с Днепром нельзя слить, потому что текут они в разные стороны.

Б а с о к : — А я говорю — водокачки!

Т е н о р о к : — Опять же в Московской губернии раньше море было, — начнешь качать и зальешь чего не надо. Ты это, товарищ, контр-революцию разводишь...

Молчание.

Б а с о к : — Богатства мы своего не понимаем... Вот опять же у итальянцев снегу не бывает. Англичане и предложили нам концессию о ввозе снега...

Н о в ы й г о л о с : — Ты эти концессии брось ко псу под хвост, — спать мешаешь!

Б а с о к , миролюбиво: — Мы говорим про наши дела в государственном масштабе, а ты — спаать!.. Раз в году и приходится научно поговорить, — а ты — спааать!..

— А я говорю — спитя, не мешайте другим!..

В о мраке завозились, уронили чайник. Ж е н с к и й г о л о с , сердито:

— Тише, ты, чорт, по дойлам-то ходишь!..

Ночь. Ничего не видно. Пусты пустынно, черны просторы, плещет вода, туман. Не виден в просторах город,

и только на заводе одинокий горит во мраке свет, яркий, точно вырезанный из мрака. — Шипит вода, пароход идет черным простором, в плеске воды, в речном холоде. И туман — серый, осенний, липкий. Огней на баканях не видно. — Человек стоит на палубе, на носу холодно. — Тогда приходит командир парохода и говорит:

— Здесь прикажете приставать?

— Да, здесь мы пристанем, — отвечал Архипов.

— Есть, — и капитан уходит.

Ночь. Шипит вода. Тишина. — И тогда гудит пароход, точно намерен вывернуть свое нутро.

— Средний!!—кричит капитан с рубки, и гремят, скрипят рулевые цепи.

Человеку думать о России, о революции, о мраке, о водоразделах русских, — так, как думают наедине. — Ночь. Шипит вода. Тишина. Туман. Прогудел пароход, и с берега откликнулось общипанное эхо. — Туман, тишина. И серый в тумане пристаёт к конторке пароход, — серый в тумане стоит человек.

— Чаль носовую-у! — —

— — на рассвете прознали о приезде Комиссара. Сначала на пристани толкались два крестьянских ходока, приехавших в эту ночь из-за реки, тыкали приговор, объясняли всем, что село их рыболовное, занимается рыбой и садами, — а с них берут продналог зерном, с лугов. Пришел вор Пронька. Кучкой, веером расселись торговки с кошельками. Потом приехали на тарантасах — секретарь укомпарта, predisполком, завсовнархоз. Торговок прогнали. Пронька ушел сам по-добру-по-здорову, ходоков направляли в холодную. Сначала-было выстроились у сходней, — но рассвет надвигался медленно, — промерзли, пошли в конторку к кассиру пить чай. День приходил пасмурный — —

— — утром члены исполкома пьют чай на пароходе. И почему-то разговор пришел — к чайным. В Щурове есть советская чайная и чайная Дедушкина.

— Надо сознаться, к Дедушкину больше ходит народу, — говорит управдел исполкома.

— Все от постановки вопроса, — отвечает заведующий наробразом.

— От нашей халатности, — возражает управдел, — наша чайная вот под твоим началом ходит, а сам ты к Дедушкину ходишь.

Завнаробраз фраппирован, потом говорит, сдвигая строго брови:

— А может, у меня ссть какие особые задания в чайной Дедушкина в смысле наблюдения, то-есть?.. — говорит он.

Пьют чай. Военный комиссар — матрос — вспоминает, как дрались под Царицыном, последний раз.

— Я тогда телеграмму еще послал на Сормово, — говорит матрос. — У нас была канонерка «Бойкий», ей в бою оторвало нос, и такая же канонерка «Ястреб» ремонтировалась на Сормове, — я и послал: «отклепать немедленно нос у Ястреба и приделать к Бойкому» —

— — рассвет серый, неспешный, страшный — корабль в вечность и человек пришли в осени тысяча девятьсот двадцать первого года, когда по Руси и Расsee заговорили, что революция в России кончена — —

— — (где-то пленарный был волостной съезд советов — — Съезд собрался в школе в Росчиславовых горах. В школе шипел гул толпы и первыми запахами были запахи махорки и овчины. От махорки и овчины в школе казалось темно. Потом разобрались козьи бороды, лошадиные хвосты, кроличьи курдючки — мужичьих бород, — треухи, папахи, шлыки, пиджаки, гимнастерки, полушубки — людей, мужиков, сидящих на полу и скамьях, стоящих в дверях и на окнах, сваленных, смятых грудой Руси. На сцене сидел президиум — члены волисполкома. Член президиума говорил очень громко, и неуверенно, и бестолково.

— У нас теперь, товарищи, новая экономическая политика, — политика у нас теперь: — слышь! — э к о н о м и ч е с к а я! И правда, товарищи, на что нам мельницы и парикмахерские, а также квасные заводы? — Пусть их обрабатывает предприниматель, — пушай разживается! Государство, товарищи, оставляет себе мощные заводы, а остальное отдает в аренду. Теперь будет аренда, а также хозяйственный расчет, товарищи, — то-есть. . . —

но тут докладчика перебили с места. Давно уже те большевики, что делали Октябрь девятьсот семнадцатого года, разложились на большевиков и коммунистов, и большевики отошли от революции. Зал, съезд слушал докладчика напряженно и злобно, — и вскочил с места прежний, семнадцатого года, большевик, сдернул треух с головы, помотал им, оглядел собрание победно, мстнул козьей бородкой и заорал:

— И что же мы видим, граждинины?! — И выходит, граждинины, что приходится делать третью революцию! — И выходит, что опять хозяйский расчет, то-есть — гони монету хозяину! И политика теперь — е к о н о м и ч е с к а я, — стало-ть, за все — деньги, в роде как барский экономии, и — вы слышали, граждинины, что сказывают из президиума?! — опять помещики будут сдавать землю в аренду! — —

Из президиума — докладчик — перекричал:

— Помещиков — нету, про помещиков в газетах не писано, товарищи! Государство будет сдавать в аренду, а не — помещики!

— . . . вот и говорю, — ответил треух, — и вот и говорю, граждинины, и надо третью революцию, и за помещиков стали коммунисты, — товарищи! И мы предлагаем резолюцию — —

Тогда зарвел зал, задвигался, пополз, насел к рампе, поползли хвосты, козьи бороды, курдюки, лисьи, козьи, рыбыи глаза, треснула перегородка к музыкантам, слова полетели, как галки на пожаре:

— Будя! — долой!

— Помещиков не желам!

— Долой хозяйский расчет!

— Долой барский экономии! —

Из президиума председатель, треща звонком, орал:

— Товарищи, рабочие и крестьяне! Военный коммунизм кончился! Народная власть не может на штыках!.. Товарищи, рабочие и крестьяне! Вся власть ваша! Черти! давайте по порядку!

Кто-то провизжал:

— Штыкиии!? Стрелять будитии?! — Пали!! Стреляй! — —

Вновь затрещали парты, полезли в воздух шапки, кулаки и матерщина — —

... и еще где-то здесь в кинематографе сидел красноармеец, смотрел, как любит графиня, и щелкал семечками. Шелуха от семечек — с красноармейских губ — падала кругом на пол. Тогда к красноармейцу подошел капельдинер, скужливо сказал:

— Подсолнухами сорить воспрещается. Подберитее шелуху, а то острахую. Запрещено! —

Красноармеец вкось, одним глазом посмотрел на капельдинера, кинул в воздух семечку, поймал ее ртом — и сейчас же стрельнул обратно шелухой, едва мимо капельдинера, как в пустоту. — Капельдинер молча пошел к двери и — не спеша вернулся с милиционером, — милиционер шел решительно. — Красноармеец вкось, одним глазом посмотрел на милиционера — и сейчас же, нагнувшись, поспешно стал собирать в свой шлем шелуху с пола. — Красноармеец тоскливо сказал, как говорят подчиняющиеся насилью:

— Эх, пропала к чортовой матери вся революция! .) — —

...Идет и проходит май...

...Идет и проходит июнь... —

...Идет и проходит сентябрь...

...Идет и проходит октябрь! — —

Города, из повести о Черном хлебе, страны обывательские.

Эпиграфом — к главам Ивана Александровича Непомнящего. — Р. С. Ф. С. Р. КОМ'ЯЧЕЙКА
Р.К.П. при Коммуне в С. Расчислqво
«КРЕСТЬЯНИН».

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Товарищи в Уезкоме. Мы как коммунисты женившиеся в дореволюционный период на представительницах..... и пр.

З а р а й с к - г о р о д.

На базарной площади — не гоголевская, а всероссийская — лужа. На углу лужи «Трактир Европа», посреди лужи — городские весы, на другом углу лужи — сапог и крендель. Когда лужа подсыхает, тогда — пылица. В переулках травка и герань, а скамейки у ворот изрезаны похабными словами. В монастыре — караульная рота чон. Мухи в городе — по погоде, как лужа. За оврагом овраг, там холм, за холмом — холм: холм всегда тосклив своим простором, ибо этот простор не вберешь в душу. За городом — большак, села и деревни, ночи и дни. Железная дорога — сорок верст, а сюда, так сказать, ветка.

В городе три камня: первый — на Соборной, обозначающий братскую могилу Октябрьского Восстания; второй — против

каланчи, с изречениями из Луначарского, указывающий, что здесь заложен Дом Народа; и третий камень — за городом, на коровьем выгоне, в том месте, где, по приказу исполкома, намечается станция железной дороги, той, что сразу соединит с Питером, Москвой и Нижним. Был этот город и есть — захолустье. Жил город по принципу — в з а и м н о: комиссар Пашка Латрыгин, заведующий здравотделом, обязывал больницы не делать абортон без его мандата, а мандат выдавал за три пуда муки в пользу отдела; совработница муку для абортов брала за бумаги вне очереди; врач послаблял себя в смысле спирта; за спирт сапожник шил ему сапоги; сапожник за спирт доставал себе яловок; — жили по принципу в з а и м н о. Так же процветала в з а и м о-к р а ж а, например, с электрическими проводами и с огурцами с огородов.

И надписан над городом — телячий хвост вверх ногами, комбинация невозможная —

В доме Старковых просыпались все по-разному. Дом был национализован, хоть и грош была ему цена. Дом давно треснул по всем косякам, но стоял, печки в доме разобраны были на мазанки-печурки вместо железок. Вместо обоев в доме была копоть. Окна заткнулись чем попало. Все же пропах дом клопами, — стало быть, не последняя нищета. В нижнем этаже дома были: кладовые слева, — справа жил слесарь Крынкин, старик, который, когда напивался, залезал на крышу и, оттуда поучая, разоблачал большевиков. — В мезонине жил вор-Пронька, родом из цыган. Когда в понизовьях на Волге началось людоедство, вверх по рекам, по чугункам, по льдам, пешком потащились тысячи. Под городом они поселялись в солдатских бараках, — там Пронька нашел себе жену, девку Антониду, — выкормил, стала баба-красавица, добродетельная и тупая, как коровий язык, — признавалась, что съела дома у себя в Пугачевском уезде — отца и сестру малолетку, — сестру придушили, а отец, помирая, говорил матери: «ты, слышь суды, — помру, не хорони меня, — сама понимаешь...» — Антонину прозвали — Тонькой-людоедкой. У Проньки в мезонине снимала угол Поляша-кормилица, из детского дома, которая каждый год рожала: дети у нее помирали в ряд, и она поступала в приют — кормить грудью, за паек: — любила родить, потому что перед родами пропадало молоко, приходилось с места уходить, голодать, — а как родит, ребенок умрет, — снова на паек. Пронька гнал самогон и иной раз, когда выпивал, бил Поляшу и людоедку. Тонька-людоедка научила тогда Поляшу, — как начнет приставать, чтоб сказала п р о р у к а в. Пронька Поляшу побить собрался, — Поляша сказала:

— Вот скажу про р у к а в-то!

И Пронька взвыл вепрем, посизел, рот заслюнился, табуретку схватил, завопил, как вебрь:

— Убью-у паскуду! Зарежу-у!

Поляша весь день и всю ночь у ворот простояла, в дом боялась итти, — бушевал Пронька. Потом выяснилось: Пронька в Луховицах торговку убил, долго деньги искал и нашел — в рукаве; — рассказала людоедка. — У Проньки друзья были и в городе и в уезде, приезжали, жили, выпивали. Пронька бывал во хмелю иногда и любезен, тогда говорил гостям:

— Вы мне друзья сердешные, приехали с дороги и выпимши. Я для друзей. Ложись-ко ты спать с Антонидой, с женой, поспи с ней, поиграй, а ты ляг с Поляшей. А я уж один, как-ни-то.

Поляша, которой все равно было родить, спать с мужиками — любила. — Бывали у Проньки завсегдатаями Мериновы, а Андрей Меринов — друг-приятель.

В главном жилище, в середине дома, где шел по всему дому коридор от кухни до прихожей, — жили возле кухни: бывшая хозяйка дома Аглая Ивановна с дочерью Анфисой, бывший член суда — теперь секретарь совнархоза — Илья Ильич Керкович, телеграфистка Рая; на половине коридор был заделан тесом, замазан алебастром, и у прихожей, от всех отгородившись, жил с семейством доктор Владимир Адрианович Осколков. Осколков был у всех в почете. Пронька кланялся ему издалека.

У телеграфистки Раи был любовник, он спекулировал, он ездил — там куда-то, — привозил муку и масло, потом вновь уезжал и привозил мануфактуру и керосин. Он Рае привозил и хлеб и керосин, чтоб можно было жарить для него котлеты и завивать кудряшки. Фиса, дочь хозяйки, дружила с Раей, завивала с Раей волосы, хотя любовника еще не имела по малолетству. Аглая Ивановна — через Раю — просила Раинога любовника привезти муки, дала серебряные мужьины часы. Был у Раи брат, который приходил к ней ночевать, когда отсутствовал любовник. Петр Керпович, любовник Раин, привез восемь пудов муки — для Раи и Аглаи, — но не успел сказать кому по сколько; муку, не развешивая, положили в кладовой — и ночью ту муку из кладовой украли, пробравшись в кладовую со двора в окно. Сначала плакали и Рая, и Аглая. Но бывший член суда Илья Ильич Керкович здесь разъяснил на основании Десятого Тома Законов Российской Империи, что плакать надо лишь Раисе, что Аглая не при чем, и что муку или часы обязана Раиса возратить — на основании Десятого Тома — Аглае. Рая Десятого Тома не знала, должницей считать себя отказалась наотрез. У Раи и Аглаи произошел скандал, и визг, и бой, и вопль. Аглая с дочерью направилась к телеграфистке Рае в комнату и, так как мебель здесь была хозяйская (и дом лишь был национализован), — вынесли из комнаты телеграфистки Раи — кровать, комод, диван, стол, столик, стулья, оставив стены, пол и потолок. Илья Ильич Керкович был вдохновителем Аглаи. Был визг при очищении комнаты — не малый. Илья Ильич Керкович в очках, с «Известиями» в руках, в жилете, стоял у двери, молча наблюдая. В дом вселилось вражество, —

но дом был национализован, все были равны, слуг не было, — а, после кражи, дом постановили запираить, — и телеграфистке Рае часами приходилось караулить у дверей, когда кто-нибудь пройдет, ибо специально ей никто не отпирал, ибо — теперь лакеев нет! — лазить же в окно было нельзя, ибо окно было во втором этаже. Тут на помощь Рае пришел ее брат: по дружбе от приятеля со станции Луховицы от жилищного отдела он достал бумагу, где значилось:

Р. С. Ф. С. Р.

Луховитский Исполком

Гр-ну И. И. Керкович.

С. Р. и Кр. Деп.,—

и прочее—

Жилищный Подотдел Коммунального отдела Луховицкого Исполкома

сим предписывает гражданину Керкович, проживающему по такой-то улице в доме № такой-то города Зарайска отпирать двери сотруднице Наркомпочтеля гражданке Раисе Колесниковой.

Председатель.

Секретарь.

Печать.

Илья Ильич Керкович сначала-было испугался этой бумаги и один день караулил Раю, чтоб отпереть незамедлительно, — но потом, перечитав бумажку много раз, сообразил, что город Зарайск станции Луховицам не подчинен, и пошел в городской—зарайский — жилищный подотдел за справками, — в жилищном подотделе нашли, что: во-первых — не подчинен, — а, во-вторых, подпись председателя и секретаря одна и та же, и обе вымышленные. Началось уголовное дело. Илью Ильича Керковича поблагодарили, от швейцарских обязанностей он был освобожден: он был героем — —

Пронька позвал к себе Аглаю Ивановну к чаю, усадил за стол, налил, баб выгнал и наедине сказал, выпивая с блюда:

— От вас, Аглая Ивановна, зла я не вижу. Скажите, сколько муки было вашей, потому что муку взял я с братвою, и не хочу вас обижать. Зла я от вас не видел. Я хотел добраться до Карпыча, Райкиного любовника. Только предупреждаю, чтоб об этом ни гу-гу. Сами понимаете — —

— — А Р я з а н ь — —

— — Рязань - Город — на хслмах, над Окою.

Слово Рязань — женского рода, и поистине — город-Рязань: баба в сорок лет. Бабы, кроме детей, блох родят, — жирная баба Рязань, блох в ней много, жирная, и блуд в жиру не угас еще, вся в буераках да горах — в морщинах — сырая, и легла над Окой раскорякою. Дома купцы ставили специально для крыс и клопов, из кирпича о пяти фундаментах, с окнами, из которых жирной бабе Рязани не выползти, — и подпудривали купцы бабу Рязань охрами. Причесывать бабу Рязань купцы бросили в семидесятых годах, когда съела старый Тракт Астра-

ханский — Казанка. И лежит баба над Окой раскорякою, простоволосая, потная, подлая, грязная.

У вокзала на заборе в Рязани вывеска: —

— «Склад бюро похоронных процессий» —

А на бабе-Рязани: живут люди. А жила баба-Рязань тысяче-летье, живот бабы-Рязани — Кремль, внизу под Кремлем протекает река Трубеж. На животе у бабы-Рязани — на монастырях, соборах и княжьем дворе — камнем на камне высечено о том, как делился князь Ярослав Рязанский, как московские князья полонили рязанских князей, как варом варила Рязань крымского хана Гирея. Древнее имя Трубеж, Трубеж веками трубит — о хане Гирее, о рязанских князьях, о князе Ярославе Рязанском, омывает бабе-Рязани живот. С живота, с кремлевского холма — на десятки верст луга видны, поемы, там вдали — Белоомут, поэзия Огарева... Веками трубит Трубеж: — там внизу под обрывом столбик стоял, и на столбике объявление было — здравотдела рязанского:

«В реке Трубеж купаться строго воспрещается, так как река Трубеж заражена сифилисом» —

«Склад бюро похоронных процессий!..» — —

И —

Мужичья глава, о Черном Хлебе, сторона обывательская

— — опять м у ж и к и — —

до Рязани, до легенд о Смутном времени, до и после дней времени действия этой повести — мужики, историческая эта легенда без истории, коя во время действия этой повести, как и триста лет назад, пахала сохой, ездила на беде, плавала на паромах, а по веснам подвизывала за брюхо скотину, чтобы стояла, — коя жила на полатях, храня под полатями от холодов телят, и жила в жильях — даже не от каменного века, но от деревянного, — и ставила свои жилья, как кочевники ставят на ночь свои обозы. Жила, ничего не зная, — знала: —

— июль, август, сентябрь — ваторга, да после будет — мятовка. Холоден сентябрь да сыт: сиверко, да сытно. Август — собериха, в августе серпы греют, вода холодит. Авось — вся надежда наша, авось, небось, да третий как - ни-будь, — на авось мужик и хлеб сеет, на авось и кобыла в дровни лягает, — русак на авось и взрос, — авось и рыбака толкает под бока, — авось велико слово — авось дурак, да дурь - то его умная, — авось небосю — брат родной!.. —

Фельдфебеля в казармах и в заводских бараках бились над ними:

— Да што ты — русский, што ли? —

— Нет, мы зарайски... —

...Надписан над деревьями — человеческий хвост, которого у людей вообще нет. —

Запись первая.

Расчисловы горы, смотря по погоде, по времени, по привычности к этим местам — и в версту, и в три версты покажутся. Мужики жили, как жили по всей России. Рассчитывали так, что сначала правили сами, по совести своей и уму, скажем, как разбойники, — этак до двадцать первого года, а потом сели — жулики, мастеровщина, городские. До двадцать первого года, до голода, правили по разбойной совести народ хороший, головорезы, — взятку дать там, самогоном угостить — никак! — морду набьют и в холодную для отрезвления. — В семнадцатом году, правда, были такие, которые рассуждали:

— Зачем, скажем, острожников выбираете?

— Да он, друг, к острожному делу привыкли. Выберут, к примеру, меня, а власть обернется: мне в остроге сидеть непривычно — —

но к Октябрю тогда такие разговоры затихли. Власть стала мужичья, твердая, по хлебу, хлеб пошел вместо денег, и делали все по мужичьему закону, — городам и господам, значит, крышка.

В двадцать первом году сели на голову мужикам — жулики, городские, — ввели продналог вместо разверстки, стали заводить свои порядки. В двадцать первом году взяткой откупиться — самое легкое было дело. В двадцать первом году пол-уезда свои доли скрыли: у мужика клину восемь долей — взятку дал — стало три, — пропала земля, в нетях ходила. К двадцать второму году статистика в этом деле разобралась, порасстреляли кое-кого. Двадцать второй год, когда мужичья революция кончилась, мужики обозвали — ш а п о ш н ы м р а з б о р о м, — складай, дескать, удочки! — К двадцать второму году город — жулики — коммунисты — сел мужику на хребет крепко: раньше сапоги стоили — четыре пуда ржи, теперь — двенадцать, налогов надо было платить в двадцать раз больше, чем до войны. У мужиков спрашивали: — «что, у вас коммунисты есть?». — Мужики отвечали: — «Нет, у нас все больше народ»... — Мужики рассчитывали: — озимого клина в уезде $12\frac{1}{2}$ тысяч десятин, урожай хорошо — по 70 пудов с десятины, итого 875 тысяч пудов всего; обратно в землю на посев 150 тысяч пудов, продналогу 327 тысяч пудов, — итого на еду и на покупки остается у мужиков 400 тысяч, а по норме Наркомпрода — 13 пудов на едока — норма мужику голодная — ржи надо миллион двести тысяч пудов: — хлеба хватит мужикам до зимнего Николы. А жизнь мужичья — известная: поесть да поработать, поработать да поесть, да, кроме того, — поспать, родить, родиться и умереть. Осенью в двадцать первом году обозначилось, что многим, у кого клин большой, а под рождью мало —

платить продналога придется больше чем уродилось: озорники посылали бумаги, чтобы отставили их от земли, — за озорство их сажали в холодную, на отсидку.

Всю революцию к мужикам ездили ораторы, открывали избы-читальни, увещевали мужиков, что продналог и гужевая на их же пользу, гоняли в город на сельские курсы, присылали на курево газеты, книги, молодежь устраивала спектакли, комсомол был: — с двадцать вторым годом все это кончилось, никто ездить не стал, за все затребовали монету, в школе и то не учились, — до рождества стояла без стекол, а после рождества не осталось дров. Баловство кончилось. Молодежь сразу вся переженилась, то-есть парни обросли бородами, обовшивели, мужички поглупели, заговорили с хитрецей, зады у всех подсохли; — девки, став бабами, бабами и стали, где от двадцати до тридцати трех лет по внешности возраста не определишь, — зародили детей, захудали, окоровились. Мужики и бабы — парни и девки, став мужиками и бабами, всегда глупеют — почему бы? — и женатый мужик — всегда крот. Так и жили.

Запись вторая.

В Расчисловых горах на селе дела у Мериновых обстояли так: — Мериниха, Марья Михайловна, свела дочь свою Надежду со скорняком Галиным, от Галина Надюха и заразилась срамной. Мужа Надежды убили в Карпатах, — она осталась жить в мужниной избе, — Галин ходил туда ночевать. У Галина жива была жена-старуха, мордовали ее все — не умирала. Галин торговал кожами, хлебом, конокрадствовал, занимался сенной контрабандой, гнал самогон, маклерствовал, — был человек торговый и энергичный, — то-и-дело у него были обыски, — поэтому добро свое дома он не держал, зарывал в лесу; — семь золотых часов, три цепочки к ним золотых, четыреста девяносто пять рублей золотом, семьсот тридцать один рубль серебром хранились у Мериновых, у Надюхи. Любовниц на селе у Галина было несколько. Андрея Меринова в городе доктор Осколков — за барана — освободил от красноармейской повинности, дома Андрей не сидел сложа руки: то был секретарем комсомола, то сельским комиссаром, то контрабандитствовал сеном с Галиным¹, ездил за солью и мануфактурой.

¹ В июне — до Петрова дня — над лугами за Окой и здесь, — над Дединовскими, Любичскими, Ловецкими, Белоомутскими лугами — на десятки верст, как над всей Россией загорались костры в ночах: то косари пошли губить травяную, цветковую жизнь, — гробить, валить, ложить, — осенцы, пыреи, дягельники, кашки, дикие овсы. Сенокосные дни над Русью — медовые дни, как брага, хоть и пахнет земля тогда вяжущим медом да дегтем. До июня косили в госфонд — за отаву: потому и спешили, чтоб побольше возросла отава. На десятки верст вправо и влево легли госфондские луга, и госфонд по суводям на Оке понаставил барж, чтоб грвзить, чтоб посылать в Москву, в Питер, в армию, — а по лугам госфонд рассыпал объездчиков и роты солдат попрятал по овражкам, по лож-

Раза два доктор Осколков в городе делал Надежде аборт, за баранину. Прошло года полтора. Мериниха у доктора была своим человеком, приезжала в дом, говорила о святых великомучениках, о граде Иерусалиме, о гробе господнем, — раз заехала с ней мать Анфуса, — заезжал часто и Андрей, но дальше прихожей не входил, и больше бывал у Проньки, — Галин никогда не бывал — —

...И опять Мериниха привезла Надежду делать аборт, — привезла барана, муки и масла. Была Надежда женщиной красивой, здоровой, полнотелой. Доктор аборт ей сделал, она — уехала. А через три дня ночью привезли Надюху: — умирающей. Мериниха, как никогда, уперлась в бога и в то, что аборт делать — богомерзко, — уперлась, чтоб операции Надюхе больше уже не повторяли, хотя доктор положение считал не страшным. От дочери Мериниха не отходила ни на минуту, — в дверях с кнутом и злобный торчал Андрей: — Надежда не проронила ни слова. Мать тараторила, что: — божья воля,

бинкам, на границах госфондских лугов, чтобы ловить сенокрадов, — госфонд — государственный фонд сенных запасов. И тогда, когда сено стояло в стогах, и стогами грузились баржи, — начинались в госфондских лугах великие кража и контрабанда, — потому что машинными декретами заводов о нормах и допусках запрещался тогда вывоз сена — даже из народоправства Зарайского в народоправство Коломенское. —

На десятки верст раскинулись луга, как целый уезд, — займища, поемы, весною здесь Ока. — И телеги надо подмазать как следует, чтоб не скрипнула в коростелином переполохе: потому-то и пахнет так дегтем тогда над лугами. А ночи в июне коротки.

И — ночь.

Мужики столковались. Доктор Осколков лег, накрылся пиджаком, чтоб закурить, чтоб не видно было огня. Капал тихенький дождь. Командовали вор Пронька, Галин и Андрей Маринов. Пришли разведчики, сказали, что солдаты только что проехали, объездчик в шалаше у ворошилок, — что версты за две начали грузить тоже контрабандой, галинские — для Коломенского Союза Кооперативов, — видели с собственной телегой комиссара Пашку Латрыгина, просился взять его в обоз; видели Росчиславского — косит в госфонд за отаву, здесь и ночует. Вскоре пришел Латрыгин, заведующий здравотделом, — очень смущенный обратился к доктору Осколкову:

— Владимир Адрианович, — одному мне уйти отсюда невозможно, вторые сутки здесь караулю, в овраге прошлую ночь грузил и пришлось свалить. Но — сено, однако, корове необходимо. Иначе не достанешь. Разрешите пристать к вашей артели.

Отрезал Пронька:

— Пошел отседа ты, к. . . .

Доктор сказал:

— Нет, почему же, товарищи? Надо помочь человеку. Едемте с нами. Пусть едет.

Согласились.

Стемнело. Коростели, у которых гибли гнезда, кричали переполошенно. Небо было мутно. Тогда Андрей ушел в овраг за телегами, стали грузить. Охранители разошлись кругом на полверсты, человек десять. Сигнал: зажечь под-ряд три спички. — Прошло полчаса, мальчишка обежал всех: сообщил: — погрузили! — Обоз, нагруженный, ушел в овражек. Собрались все, чтобы перепроверить план: — итти кругом обоза шагов на пятьсот

пускай, дескать, помирает! — Когда Надежду переодевали, доктору показалось, что тело ее избито, иссечено кнутом, — мать объяснила, что билась Надежда от боли. К утру Надежда умерла, ее увезли. — А через день к доктору пожаловал Галин, растерзанный, несчастный, застал доктора в спальне.

Завопил:

— Так-с Надюха-с умерла-с?! — Из-за моих часиков погибла?! — Нам-с знать-с надо, для суда-с. Мы-с, конечно-с, можем соответствовать-с, — баранчиком-с! — не кончил этак стилизованно, завопил благим матом: — Уморила ведьма Надюху, — забила-а! Меня разорила, — семь одних золотых часиков! — В Ерусалим ездила!.. — Надюху три дня били, чтоб согласилась помирать. И Андрей с ней заодно! — Семь часиков одних! — Прихожу: — «где добро?» — «Спроси у Надюхи!» — и Галин убежал от доктора —

(Андрей Меринов был в то время церковным сторожем, вскоре уехал в Москву, — вернувшись, пошел в очередь комсомольским секретарем —.) Надежда забылась — —

друг от друга. Как что заметят — три спички и сейчас же к спичкам от обоза Пронька и Меринов, с объездчиками и красноармейцами — на спор. — Поехали.

Осколков идет один, впереди и слева от обоза. Коростелиный крик, мрак и тихий, тихий дождь. Обоз исчез во мраке и не слышен: идет ли? где? и не отбиться б! — и не пропустить бы трех спичек. . . Прилег на землю, прикрылся пиджаком и закурил в рукав. Так проходит час, одни коростели. И вот:

— Эй, кто тама? Кто такой? —

— Свои, свои! —

Из мрака, с винтовкою в руке, идет, но не подходит близко, красноармеец. В поспешности зажег три спички.

— Эй, кто тут? Кто идет?

— Свои, товарищ. Ходил в Дединово, иду домой.

— Что ночью шляешься? — Э-эй, Лактанов — беги сюды, — жуллер, либо контер-бандит.

Откуда-то поблизости бежит еще красноармеец. И с двух сторон подходят медленно, в карманы руки, в плечи головы — Пронька и Меринов.

— Чего орете? — это мы!

— А кто такее мы?

— А самые что ни на есть бандисты. Ходили к гостю, выпили и вот идем домой, еще добавить. Она и Вася — будет! А ты орешь, дурак. Хошь выпить, — айда с нами, она и Вася. А не хошь, — так и в морду получишь. А-а, и ты тут, ваше благородье?! Айда с нами!

— Которые тут контер-бандиты?!

— Да он спросоня! Бей их, я их знаю!

И трое идут в сторону, от обоза, шумно говорят. — Красноармейцы идут вслед за ними. Пронька зажег две спички, — т.-е.: опасность миновала. Обоз тронулся. — Красноармейцы все идут поодаль. Пронька и Меринов их наподдевают дружелюбно: — «она и Вася, бей их, я их знаю!» — Так до овражка, — а там в овражке, дном — опрометью во весь дух, в сторону, за холмик, на луга, — к обозу.

Но вот настает рассвет: в рассвете на западе растворяется в хрустале утра скорбный диск луны, и на востоке в золотой короне поднимается солнце на целых двадцать часов. — Обоз уже стоит в Расчиславе, и сладко лошади жуют украденное сено.

Запись третья в разговорах.

(Смотри во вступлении третьем, о Волках и Машинах, главу о «Коммуне Крестьянин».)

...Там, у камня, который люди приходят грызть от зубной боли, — на холме, у оврага — конский могильник, Филимонов овраг, растет в овраге папоротник. Там с горы виден Коломзавод — ночью красное зарево горит над заводом, идут в небо огни, чужие огни, страшные, — днем дым идет от завода —

Всю ночь пели соловьи. Землемер Нил Нилович Тышко всю ночь гулял с Еленой Росчиславской, младшей. В Филимоновом овраге внизу стоял туман, скат порос соснами, и даже ночью, как в заповедни, пахло растопленной смолой, пока не пала роса. По скату в Филимоновом овраге валялись конские черепа, ночь окутала землю лунным светом. Кукушки куковали — в ночи — так, точно воздух был смочен. Стройная Елена, усмехаясь, говорила о лешем Ягоре Ягоровиче Комынине, о любви, — встала, стройная, в белом платье, босая, на конский череп, декламировала Пушкина: «Как ныне собирается вещей Олег»... — села на череп и переплетала свои косы. Елена все усмехалась. Нил Нилович ничего не понимал. Два черепа, по воле Елены, Нил Нилович потащил на ремне за собой и их повесили в коммуне, около Росчиславского жилья, у оранжереи.

— Ах, глупый, глупый крокодилский Нил! Ничего-то он не понимает! Ведь вот он не знает, что Егор Егорович — леший... а все женщины в коммуне — ...ведьмы!.. — сказала Елена.

— Елена Юрьевна, — сказал Нил Нилович. — Позвольте вас спросить... Вот, вы из хорошей семьи, окончили гимназию... Ну, я понимаю, гм, ваша сестра Мария Юрьевна поступила в коммуну еще при матери, чтобы сохранить имение, — ну, а вы?.. Ехали бы вы на курсы, или служить в город, в Москву...

— Ах, глупый, глупый крокодилский Нил!.. Ничего-то он не понимает... Никуда отсюда не уйдешь, есть надо, есть, кушать, Крокодилыч! Вот что!.. и потом — Егор Егорович и Анфуса... — он леший, а она — ведьма!.. — ответила Елена, усмехнулась мелким неровным смешком и скрылась в дверь между конскими черепами, в белом платье, босая, со снопом медвяницы в руках...

Нилыч сказал:

— Гм!.. — и шел всю дорогу, гмыкая бритой своей рожей.

...А на рассвете этой ночью Нила Ниловича разбудили странные шорохи. Светало. Стоял густой туман. Ныли комары, простыня посерела от росы. Первой Нил Нилович услышал кукушку, потом он разобрал придавленные голоса.

— Этакый дурак этот Сидор!.. Фу, как устала!

— Тише, Нил может услышать.

— Спит наверное, иначе бы откликнулся.

Нил Нилович подошел к окну, был белесый туман, через который нельзя было видеть в двух шагах. Нил Нилович стал подслушивать.

— Скучно, Мария, — сказала Елена. — Знаешь, раньше при себе носили мушки, в табакерках, и вырезывали их из черной тафты. И потом на балах приклеивали их со значением: мушка у правого глаза — тиран, на щеке — разлука, на подбородке — люблю, да не вижу... Я у бабки в дневниках прочитала...

— Он в тебя влюблен...

— Да, но он дурак, говорит про курсы... бросим это, Мария...— послышался удар ладони по голому телу. — Фу, как кусают, всю кровь выпьют, чорт-те што... А обмороки тоже были разные: обморок Дидоны, капризы Медеи, ваперы Омфалы, обморок к с т а т и... Ты же понимаешь, Мария, все кончено, никуда не уйдешь, я вот нитяные туфли шью за молоко... Дальше Ягора не уйдешь... А я хочу...

— Ну, да, конечно... Как и мне все надоело... Коммуна... Ведь ты пойми, — они, я не знаю, сыты, обеспечены, а правды не знают, эти Мериновы... Вот поэтому и Анфуса, и Егорки...

— Слушай, а Егорка — что?.. Ты прости, но ведь он твой...

— Да, мой любовник, муж... И теперь бросил меня... Он страшный, он негодяюшка, — он и тебя покорит, Елена. Только он не даст ничего, ни семьи, ни уюта, все обесчестит... А Тышко — сильный, дурак и молодой... Есть хочется...

— Да, Марья, сильный и молодой... А Егорка — омут... — а нам — ничего кроме омута, ведь мы дворяне!.. — это сказала Елена, тихо.

Близко затрещали кусты, звякнула колотушка, послышалось усталое сопение. Женщины побежали в сторону. Дверь с треском растворилась, в дверях стал Сидор Меринов, в тулупе и в меховой шапке, с колотушкой и колом в руках.

— Ну, что? — спросил испуганно Сидор.

— Что — что? — переспросил Нил Нилович.

— Не тронули? Здесь?

— Кто?

— Они! Видел?

— Кого?

— Их!

— Ты про что, собственно, говоришь-то? — обиженно спросил Нил Нилович.

— Ну, значит зато, не тронули, — успокоенно ответил Сидор. — Их. Нагишом.

— Кого их?

— Бабов этих! — Пошел к кузне на плотину, понадобилось мне туда сходить, ка-ак они мимо меня сиганут нагишом, волосы по ветру, по плотине в омут, Марья Юрьевна, комоногая,

и обратно Алена Юрьевна... завизжали, словно их за пуп ухватили, — и под воду, и ни гу-гу, обратно пузыри пускают... Я кричать — а-ля-ля!.. Они выскочили, завизжали и — в овраги. Ну, думаю, либо к тебе, либо к Ягору Ягоровичу, — если к тебе — защилочуть...

— Да ты что — рехнулся, что ли?

— Сам своими глазами видел. Передом Марья хромоногая, и обратно Елена, так и сигают рысью по кочкам, по лугу! Нагишом!

— Да как же ты видел? — туман-то какой! — обиженно сказал Нил Нилович.

Сидор осмотрелся кругом, не увидел ничего, что было в трех шагах от него, посмотрел смущенно на Нила Ниловича, потом повеселел.

— Ведьмовское навождение, все одно к одному!

— Ну, ходили купаться. Зачем они меня щекотать станут? —

Сидор склонил на бок свою кудлатую голову, чтобы удобнее было всмотреться в Нила Ниловича, прошептал со страхком:

— Ведьмы!..

— Что-о?

— А ты и не знал? — Ведьмы, обе! И Ягор Ягорович обратно ведьмак!

— Ерунду ты говоришь, Сидор. И туман, и ходили они вообще купаться, — сказал Нил Нилович, — и вообще ведьмы — это предрассудки!..

— Ярундуу? — возмущенно переспросил Сидор. — Ягор Ягорович всех баб боломутит, мужики и то поддаются, веру образовал, Марьян любовник, — теперь к Алене подъезжает... Ярундуу?.. — А по весне, ночью-то, — Ягор Ягорович пили, — приходит ко мне в сарай, Марья-то, в одной исподней, пьяная в розовочь, волосы по грудям, — лезет обниматься. «Милый, говорит, рабеночка хочу, все погибло, ничего не осталось», — и вроде плачит... «Ягорушка, негодяюшка», — говорит. Я ей отвечаю: — это не Ягор, какой еще Ягор? — это Сидор. А она опять плакать, косоногая, «все равно, говорит, пожалей меня, Сидор, я одна, все погибло».. и смеется, как ведьма... Ярундуу!.. А обратно в этой вот даче, когда тебя еще не было, — что с ей Ягор Ягорович разделявал — днем, дне-ем!.. а она потом опять плакать, в щелочку видел, косоногая: «у тебя, говорит, позорная кровь, бессеменный ты», — и опять про рабеночка. А Ягор Ягорович ей: «мне, говорит, все наплевать, надо всем смеюсь, — хихикаю», говорит, — и захихикал, прямо мороз по коже!.. А зачем ей рабенок? — чтобы кровь детскую выпить, к примеру... Ярунду!..

Наутро Нил Нилович проснулся в двенадцать, много недоумевал, но был покоен, долго мыл на террасе бритую свою голову, чистил зубы, ногти, сапоги, дважды сменял брюки,

наконец, надел синие галифе с задницей, обшитой кожей, френч, шведские ботфорты, выпил крынку молока и, приколол четырьмя кнопками к двери пожелтевшее уже объявление на ватманской бумаге — «буду к 6-ти часам средне-европ. времени», — уехал на велосипеде за пятнадцать верст к женатому товарищу-землемеру — обедать.

Приехав домой, Нил Нилович вылил на себя три ведра воды, поел каши, переменял брюки и пошел к Росчиславским в оранжерею. На травке перед оранжереей лежал — пятки в небо, весь заросший черными волосами — Ягор Ягорович. Поздоровались.

Ягор Ягорович, пожмурившись, сказал:

— А вот, позвольте вас спросить, господин студент, — откуда пошло слово товарищ? —

— Не знаю, — ответил Нил Нилович.

— А я вам скажу, господин студент! Когда Стенька Разин у Жигулей баржи купеческие грабил, они кричали: — «Сарынь на кичку, товарищи!..» отсюда и пошло, господин студент!.. А что такое женский вопрос, господин студент?

— Не знаю, — ответил Нил Нилович.

— А я вам скажу, господин студент. — Оскорбление!

— Почему?

Но Ягор Ягорович не договорил, потому что из оранжереи вышла Марья Юрьевна. Она вышла поспешно, хромя на сломанную свою ногу, размахивая руками, весело улыбаясь.

— Здравствуйте, товарищи, — сказала она, — идемте в избу. Я совсем мужичка, живу по-мужицки, чорт-те што!.. А съестного у меня совсем нет, решительно нет...

У двери все еще висели конские черепа. В оранжерею же войти было страшно, там — даже не покоились — а неистовствовали — пыль, грязь, мухи, пауки, при чем пыль была не серой, а коричневой. Валялась всяческая рухлядь, сломанные диваны, книги, овчинный тулуп, ацетиленовый фонарь. Марья Юрьевна села на диван, выставив колом негнущуюся свою ногу, — заскрипели пружины под обильным ее телом; крикнула истерически:

— Я, чорт-те што, истинная коммунистка, у меня ничего не осталось!..

— А позвольте вас спросить, господин студент, — сказал Ягор Ягорович ни к селу, ни к городу, — что такое равенство женщин?..

Помолчал, пощурился и ответил:

— Я вам объясню, господин студент... Женского равенства не может быть, потому что все женщины разделяются на дам и не-дам...

Из-за стены спокойно сказал Елена:

— Дурак!..

В окна сбоку шли красные лучи, пылились, — само же солнце стало над горизонтом огромным бронзовым шаром. Была та минута, когда стихли дневные птицы и не зашумели еще ночные. Елена не одевалась весь день и говорила с Нилом Ниловичем через стену.

— Ах, как скучно жить, Крокодилыч! ведь люди мечтают. Всегда мечтают и окутывают свою жизнь мечтами и верою. Без этого нельзя. А сама жизнь проста, как съеденный огурец: дважды-два!.. Вы вдумайтесь, что должен испытать человек — или щенок, — это все равно, — если его связали и тащат топить, когда он жить хочет... Вот щенят тычут в их собственный помет, — представьте, что вы щенок, — не хорошо, верблюд!.. Я сегодня всю ночь плела туфли — и сплела ровно на кувшин солода... Вы — советский захребетник...

Ягор Ягорович и Марья Юрьевна ушли в людскую избу на коммуне ужинать.

...Эту ночь Нилыч спал покойно. Утром Нил Нилович опять прикалывал бумагу, — как всегда, покойно:

«Буду к 6-ти часам средне-европ. времени» —

но уехать ему не удалось: пришла Елена и сейчас же за ней Ягор Ягорович. Нил Нилович, после ночных разговоров, решил быть строгим и хмурым.

Елена сидела на ступеньках террасы, руку закинула за голову и откинулась к перильцам. Говорила:

— Знаете, в старину были разные обмороки: обморок Дианы, капризы Медеи, ваперы Дидоны, обмороки к с т а т и... А на балах дамы передавали секреты мушками, мушки и мужчины наклеивали себе и носили их в табакерках... Теперь можно достать нюхательный табак? —

— Можно, — ответил сумрачно Нил Нилович.

— Купите мне, пожалуйста!..

— А позвольте вас спросить, господин студент, что такое женщины? — сказал Ягор Ягорович. — Женщины, господин студент, — труболетки-с, вот что! Каждую ночь в трубу летают. Ведьмы-с! Вот что.

— И Сидор Меринов то же говорит. Глупости все это, — сказал Нил Нилович.

Елена насторожилась, Ягор Ягорович осекся: — «что говорит Сидор?» —

Елена истерически закричала:

— Уберите этого негодяя, уберите, уберите!

Нил Нилович сумрачно спустился со ступенек, стал против Ягора Ягоровича, сказал сумрачно:

— Прошу вас, вы на самом деле, того... прошу вас отсюда удалиться... к чорту!..

Ягор Ягорович не спеша встал, посмотрел миролюбиво и внимательно на Нила Ниловича, решил, должно быть, что этот не шутит, и не спеша побрел в сторону, шлепая пятками туфель,

вязанных Еленой. А когда Ягор Ягорович ушел, Елена, растерянная и возбужденная, со слезами на глазах, как девочка, просила Нила Ниловича спасти ее от Ягора Ягоровича, от Мериновых, от коммуны. Елена — в доме — села на диван, посадила рядом с собою Нила Ниловича, положила руки ему на плечи, сидела тихо, беззащитная, как девочка,—и вдруг в глазах Елены побежали мутные огоньки, задышала неровно, откинула голову и, с закрытыми уже глазами, стала искать своими губами губы Нила Ниловича. Нил Нилович возбужденно загмыкал.

— Скоро Иванова ночь и зацветет папоротник, — сказала Елена. — Ночью на плотине пляшут русалки, поют песни, которые никто не слышит. Я хожу их слушать, каждую ночь. Они плачут... Приходите ночью на плотину... пойдём к Оке, где был древний город...

— Я влюблен в вас, — сказал Нил Нилович. — Я очень вас полюбил, я не позволю Егору Егоровичу... —

Нил Нилович взял плечи Елены и потянул их к себе, — и тогда лицо Елены стало старым, страшным, злым. Она сказала брезгливо:

— Не надо, не надо, — ведь ты не Егорка... Ведь Егорка приносит хлеб и мясо... — Елена встала и пошла поспешно к двери, ушла, потом вернулась, сказала сердито: — А на плотину ты приходи, все-таки... Все-таки я тебя люблю... хоть ты и дурак...

Нил Нилович был чрезвычайно обескуражен. Весь день он провалялся у себя на постели. Десять раз решал: итти или не итти на плотину? — К сумеркам опять пришла Елена, вошла заботливо, как старый друг. Ходили они гулять к Филимонову оврагу, где стоял камень, который грызут люди. Елена была возбуждена и говорила про мушки, сказала, чтоб Нилыч обязательно пришел на свидание на плотину нарядным; потом говорила о «тайнах», о липком лешем Ягоре Ягоровиче, о том, чтобы Нилыч защитил ее от него.

Нилыч спросил:

— А позвольте спросить, про какие тайны вы говорите?

Елена ответила:

— Вот, знаете, стыдно сказать, что хлеба нет дома, а поесть очень хочется, а хлеба нет, и плачешь. Или так, вот я вчера про щенка говорила, — щенок ведь не понимает, а его в его же кучу носом, и податься щенку некуда, за глотку его ухватили крепко. Ну, а если этот щенок — человек, может рассуждать, — так лучше делать достойный вид, когда тебя все равно... во мне гордость есть? — Елена озлилась, замолчала, — сказала злобно, самой себе: — лучше у дураков богородицей быть, чем голодать!..

— Вам бы, Елена Юрьевна, на курсы поехать... — сказал Нилыч.

— Очень я там кому нужна! Да и не хочу я туда ехать. Будет, ездили!.. — А вы можете итти к чертям домой со своими курсами и чистить сапоги. Очень вы нужны, тоже, — и Егорка тоже — омут!..

Впрочем, Елена скоро успокоилась, велела приходить на плотину —

...И Нил Нилыч решил ночью пойти. К ночи он нарядился, надел галифе с кожаной задницей, взял тросточку и не спеша пошел, — сначала в деревню попить молока, потом на плотину.

На плотину Нил Нилович пришел уже затемно, стал там в ивняке. Ему показалось, что здесь кто-то уже был, были поломаны сучья, валялись листья, трава была примята. Нил Нилович стоял долго, и тогда пришел к нему Сидор Меринов, он шел поспешно и посапывая.

— Ты здесь? — спросил он.

— Чего тебе еще надо? — переспросил Нил Нилович.

— Так что вы, господин студент, спать ступайте, значить, — ответил строго Сидор. — Ягорушка велели вам по ночам не шататься.

— Это еще какой Ягорушка? —

— Ягор Ягорович Камынин. А еще, к примеру, Алену Юрьевну также не трогать, они сами просили, чтобы к ней не приставать... комунских вы не трогайте, господин студент!.. Спать вам надоть, господин студент. Вот что!

И Нилыч — и Нилыч — ушел... Но пошел сначала в землянку к Ягору Ягоровичу в расчете побить ему морду, — там никого не было, дверь была открыта, землянка торчала в шерсти соломы точно ряженный на святках в вывороченной шубе. Тогда Нилыч пошел в коммуны. В коммуне было темно, только в главном доме в слуховом окне был свет, и оттуда несло церковное пение. Нилыч собирался было уже лезть на сосну, чтобы заглянуть под крышу, — но в это время из главного подъезда вышли: впереди парой Егор Егорович и Елена, сзади кучей — Анфуса, скопец, бабы, Мериновы. Елена была во всем белом, в фате, шла невестой с опущенной головой. Нилыч караулил. Елена, Егор Егорович, Анфуса, скопец — пошли через овраг к камынинской землянке, — остальные остались, кричали речитативом:

— Совет да любовь, совет да любовь, подай каравай, подай каравай, они люди на́нови, им денежки надобны!..

В землянку вошли только Елена и Ягор Ягорович, Анфуса и скопец остались наруже, поклонились земно и ушли. Нилычу показалось, что из землянки — из тишины — послышался вскрик. Нилыч пошарил по земле, нашел камень — со всего размаху пустил им в окно землянки и пошел не спеша домой...

... А там, в землянке у Камынина, где пропахло просохшей трсвой и потом,

во мраке, на свежей траве, — за голодом, за хлебом, за страшным человеческим пригнетением и одиночеством — вот у этих двоих, у земского начальника, исцинившего все, и у девушки, приявшей в себя и земского начальника, и бабушкины «обмороки кстати» — за последними словами лжи и ненависти, чтоб коснуться ложью последней правды — там, в землянке, как в квашне тесто, вдруг должно-быть стал набухать древний человеческий хмель — хмель вселилия одного и подчинения другого — хмель этих двух тел, ставших страшными, как страшны каменные бабы раскопок, изъеденные червями — — и стала там в землянке страшная бабища Марья, со всяческими такими страшными качествами — —

...А Нилыча обнял, обшарил по спине страшный страх, холод, — он споткнулся о корягу, прыгнул в сторону от дерева и — побежал, все быстрее и быстрее... И по мере того, как ускорялся его скач, увеличивался страх и все громче и безумней кричал Нилыч.

На крылечке кто-то сидел. Нилыч перескочил через него, бросился в дом.

В дверь снаружи заскреблись. Дверь бесшумно отворилась, вошла нетвердой походкой Мария, в ночной рубашке, села на стул, уронила голову, помолчала. Нилычу стало не так страшно.

— Елена — дура, Егор — негодяй... Все погибло, вы — простите меня беспутную, глупую, несчастную!.. — заговорила Мария Юрьевна. — Вы простите... Пьяная я, несчастная я!.. глупая я... совестно мне!..

(Выпись из «Книги Живота Моего»:

«В Расчисловых горах имеется коммуна «Крестьянин». Весной три брата по фамилии Мериновы, фактически хозяева коммуны, прогнали своих жен, взяли новых. Бабы пошли без венца в коммуны. С одной из них пришла мать ее. Эта мать устроила какую-то сектантскую моленную, в коммуне возникла секта, богом избран бывший земский начальник Комынин, откуда-то появились духовные песнопения, которые все члены коммуны вызубрили наизусть. Комынин всех исповедует еженедельно, все женщины перевенчались — сначала с Комыниным, а потом со всеми членами коммуны. Комынина все зовут богом Егорушкой. Есть у них и богоматерь, состоящая в сожительстве с Комыниным, дочь бывших помещиков Елена Росчиславская) — —

Глава о ликвидациих, из повести о Рязани-Яблоке.

В черновике Акта по осмотру коммуны «Крестьянин», рукою Ивана Терентьева, было написано:

«Читальной нет, книг много, но про них не все знают. Книги нашлись в главном доме, в ящиках,

пересыпанные листовым табаком, «чтобы не ели мыши», как объяснил завхоз. Книги очень ценны, много на иностранных языках. — В коммуне есть не знающие — члены ли они коммуны — слесарь и мальчик подпасок, — общих собраний не припомнят. — Крестьяне, входящие в коммуну, берут с собой и крестьянские свои наделы, избы же на поселке сдают внаймы.

Баба:

— Да што уж, родимый, погорели мы, до тла погорели, совсем обеспечили, — вот и пошли в камуню. Исть, ведь, надоть.

Другая:

— Нищая я, касатик, спаси их Хресте за кусочек хлебца старушке. Полы я за то мою и коров дою... Нешто от хорошей жисти пойдешь на этакое озорство?

В коммуне только четыре семьи: три брата Мериновы и их двоюродный брат, — остальные бобылы.

Живут в двух домах и бане. Один дом — дача 12×12, 4 комнаты и кухня, живут 8 человек: три брата Мериновы с женами и их родственник. Второй дом 11×14, людская изба, одна комната, окно заткнуто тряпками, живет 23 человека. В доме, где живут Мериновы, чрезвычайно много кроватей, чисто, убрано, на столах скатерти, по стенам следы от клопов; бабы молодые, на подбор дебелые, в башмаках, напоказ вяжут за столом. В людской избе — грязно, низко, темно, все старики и старухи, босые, спят вповалку.

К о м м у н а .	Д е р е в н я .
Десятин пахоты 200	72.
озимых засеяно 24	20 (больше не позволяло место)
Людей 31	75.
Лошадей 14	11.
Коров 13	12.
Свиней 8	—
Домов 3	18.
Едят с мясом	конский щавель.
Сеялки, веялки, плуги	сохи, бороны.

Культурного сельского хозяина нет ни тут, ни там. Д е р е в н я сдавала по разверстке: зерно, масло, мясо, яйца, шерсть, картошку. К о м м у н а — ничего не сдавала — —

Членом комиссии по осмотру коммуны был Иван Терентьев. Их было трое. Они приехали на велосипедах. У околицы их остановил парень.

— А вы куда едете? — спросил парень.

— В Расчисловы горы.

— Ну, тогда едьте!

— А что?

— Не пушаем мы за-то камуньских.

— А что?

— Не пушают они наше стадо своим выгоном. Обратно продовольствие прижимают... Ну, мы и не пушаем.

— Вот мы как-раз и едем ревизовать коммуну, — сказал Иван Терентьев.

Были сумерки, садилось солнце. Парень посмотрел испуганно, идиотом, круто повернулся и побежал от велосипедистов, — опротя, задами помчал в Филимонов овраг, — куда вскоре собрались и остальные дезертиры. Ручная мельница, что мирно шумела в амбарушке, крякнула и смолкла. Только петух, в сумерках, взлетел от велосипедов на жердину и крикнул:

— Ку-ка-ре-ку, —

деревня стала мертва.

В коммуне комиссию ждали, встретили пением Интернационала, сейчас же пригласили на заседание ячейки РКП, в людскую избу, притащили меда и кваса. Расписались под протоколом не все — не все были грамотны, члены РКП. Терентьев, широкоскулый, квадратноплечий, молчал. Липат Меринов предложил субботник отменить, хотя субботы и не было. Начали с текущих дел и обсуждали: отбирать или не отбирать у учителя корову? — с одной стороны, он буржуй, потому что ругал коммуну, — а с другой — без коровы ему не обойтись, умрет с голоду. Все члены ячейки оказались родственниками. Председательствовал Липат Меринов, говорил развязно, по всем правилам, и приседал на каждом слове.

— Открываю повестку дня!.. Кто жилает перестановить?..

До конца заседание довести не удалось, — пришли из деревни мужики. Загалдели.

— Теперь революция кончена, теперь ты погоди, мы господ комиссаров спросим, все-таки...

— Он, можно сказать, в городе жил, а мы целину драли. А ён — по ядакам!.. опять жа — комуня!..

— Врё! Она у тебя гулящая, земля-те... Жрец какой, за восемь душ исть хочешь!..

— Погодите, граждиныны!.. Мы господ комиссаров по порядку спросим, мы им, как перед богом... Вот, к примеру, они двадцать годов в городе в извозчиках ходили, а мы землю драли зато... А как теперь в городе недостача, крышка городам, значить, — они — по ядакам, тоже!.. А у них обратно, ни скоту, ни струменту, одна изба ветром подбита...

— Врѐ!.. Она у те гулящая!..
— Жрец, — знамо — жрец!..
— Съять с него полработника...
— А што, — сикулятничать хочешь? — стгноил в земле кар-
тошку-те!..

— Повремените, ребята!! Я как по-божьи. Я как перед богом... Когда блядь щеки накрасила, расфуфырилась, ее и того, значить... — а как она значить вымылась, краска с ей слезла, она никому и не нужна: — мы вам из городу все присылали, и одежду-обужу, и деньги, — а как городам крышка, — нам и земли нетути!.. Пересомить желаютъ?!.

— Врѐ!.. У мене есть девка, а я девку выдал, а ее засеяли, она, стало-ть, родила, — опять, стало-ть, улигуровка по яда-кам выходить?!. Ядак какой!..

— Съять с него полработника!..

И вдруг посыпались — матери, печенки, селезенки, рты, души, становые жилы, которые мужики хотели изнаsilовать друг у друга. Липат Меринов сказал:

— Ребята, мужики! Я вот сейчас возьму бумагу и буду писать протокол... Не видишь, перед кем выражаеесся?!. И кто хоть раз матюгнет, того отправлю в волость, в тигулевку — и двойной наряд на гужевою...

Мужики: замолчали, помолчали и — понуро пошли в сто-
рону...

Липат намеревался было продолжать заседание, — Иван Терентьев прервал. Тогда Липат предложил спеть Интернационал, — и начал, встав и приседая при каждом слове, —

«Вставай, проклятьем заклейменный» — —

но Терентьев прервал Интернационал, сказал:

— Петь эту песню зря не стоит.

Терентьев всегда был грубоват, неловко говорил, мало гово-
рил, был неприветлив, рабочий чугунолитейного цеха. Встал из-за стола и ушел молча, пошел осматривать коммуну, стройки, пахоти, — за ним пошел Липат Меринов, — Терентьев сказал:

— Вы за мной не таскайтесь, я сам найду, что посмотреть...

Опять приходили на коммуну крестьяне, начали мирно, --

— Мы как по-божьи. Мы без матерщины, а что мы выра-
жаемси, темный мы, значить, народ... —

— Вре!.. Она у тебе гулящая, — земля-те!.. —

и опять посыпалось... — Терентьев с мужиками ушел на деревню, — мужики притихли, говорили мирно, без шума, наступала ночь. — На деревню приходил Сидор Меринов, ото-
звал в сторону, согнул голову на бок, прошептал:

— Спросить велели: — выпить не желаете ли, — можно
спиртику достать с устатку, хороший спиртик!..

Терентьев помолчал, сказал:

— Пошел к чорту! —

...Ночью в коммуне плохо спали. На конюшне в проходе у денников (лошадей угнали в ночное) стояли Липат и Логин Мериновы. Племянник-мальчишка будил в людской избе слесаря:

— Иди, иди скорей-ча!.. Липат Иваныч, Логин Иваныч зовут скорей-ча!..

Дранный мужичонко встал, почесался, расправил бороду, спал в том же, в чем ходил днем, подтянул штаны и поспешно пошел. Мальчонка побежал вперед. Липат, обыкновенно смотрящий в небо, скорчился дугой, чтобы заглянуть белесыми своими глазами в божьи-глупые глаза слесаря. Логин скорчился с другой стороны.

— А-а, ты не член?! — прошептал Липат.

— А-а, ты не член?! — повторил Логин.

Липат выпрямился и ударил левой слесаря в ухо. Логин тоже выпрямился, подпрыгнул и, крикнув, ударил слесаря по шее.

— Мы тебя за-так кормили?! за-зря?!

— А-а, ты не член?!

Слесарь икнул, крикнул, ткнулся носом вперед и повалился в ноги, —

— Касааатики!..

— Ааа, ты не член?! начальству болтать — ты не член?!
Тошши возжу!..

...На ночлег членов комиссии устроили в сарае. За открытыми воротами сарая небо, ставшее четырехугольником в белых пустых звездах, чертили летучие мыши, и лягушки в пруде сзади сарая кричали так громко, точно каждая лягушка была с собаку. В сарае, кроме шпанского гнуса, которым пропахла вся коммуна, пахло крысами, и жужжали комары так же тонко, как тонки их носы. Члены комиссии лежали вповалку на ватных одеялах, сшитых из треугольных лоскутьев. На весах стоял жбан кваса. В сарае влетела сова, метнулась за летучей мышью, крикнула глухо и улетела в ночь. Терентьев еще не приходил. Тогда в воротах сарая стал Сидор Меринов, оперся плечом о воротину. Сзади его слышались два бабьих голоса, оба сразу:

— Ой, что ты делаи-ишь?! — это игриво-плаксиво, одна.

— Куда иттить-то?.. — это покойно-деловито, другая.

Сидор прошептал им:

— В углах они, в углах, к примеру... —

потом сказал в темноту сарая:

— Спитя? — спросить мы вас хотели, то-есть... Толька выходить вам отседа никак нельзя, подбзрят... Вы уж обратно разместитесь по углам, что ли как... А то подбзрят... Есть у нас хорошие бабочки и желают вам услужить...

Две женщины стали сзади Сидора; в тесном треугольнике неба женщины показались огромными, передняя локтем защитила лицо.

И тогда, голосом, похожим на бычий, заглушившим и лягушек, и комаров, и ночь, закричал, освирепев, Иван Терентьев: — Убью, сволочей, расстреляю!! Арестовать негодяев! —

...Потом, через дни, когда те два члена комиссии ¹, что уцелели, рассказывали, они всегда путались. Терентьев, приходивший из деревни, закричал на Сидора, сказал, что тот арестован. Мериновых оказалось у сарая сразу несколько, кто-то из них кричал:

— Что?! И это, выходит, коммунисты, товарищи, — Интернационал не хотят петь, жулики, у чужих выспрашивать, авторитет, значить, гнут?! Мы за авторитет!.. — кричал что-то такое.

Когда эти два члена вышли из сарая, сарай уже горел, а Иван Терентьев лежал на земле с проломанной головой, в луже крови... Мериновы с кольями бросились на них, они стали отстреливаться — —

б ы л о — —

ночь, ночные колотушки. Еще не разбелесилась махорка . . . —

— ... По России положить машину, сковать Россию сталью, на заводе строить хлеб, солнце заменить турбиной... — Кааарьеррром, Ррроссия!..

Лебедуха:

— Помнишь, как-то мы прокоротали ночь етроем, с нами был Иван Терентьев?.. Ивана уже нет, хороший был товарищ... Смирнов:

Смирнов:

— Что же, тебе страшно? — многие еще погибнут!..

— Нет, не то. Многие еще придут... Казбек с Шатом, ничего не поделаешь... А товарища — жаль...

. . . Несуществующий разговор:

Лебедуха:

— Вас, Иван Александрович, надо было бы расстрелять!

Статистик Непомнящий:

— Нет, зачем же, Андрей Кузьмич, я никому не мешаю, — я для истории, я — за Россию...

.
...Рязань-город — на холмах, над Окою. Рязань — слово женского рода, и поистине город-Рязань: баба—в сорок лет. Дома купцы ставили специально для крыс и клопов: из кирпича о пяти фундаментах, с окнами, из которых жирной бабе-Рязани не выползти, — и подпудривали купцы бабу-Рязань—охрами. — «Склад бюро похоронных процессий!» — В рязанском Кремле в тысячу сто пятьдесят третьем году жил князь Ярослав Рязанский, и отсюда тогда выдал сыну Ростиславу — Ростиславль-город над Окою — —

¹ . . . и был один из них — человек, еврей, коммунист. . . —

А в Рязани живут люди. В Рязани — здравотдел, исполкомы, продкомы, рабкрины, че-ка, семнадцатая дивизия, телефоны. Т е л е ф о н ы и л ю д и! — и века, которыми трубит Трубезж, как дружины князей рязанских — в рога. Нужников в городе Рязани — ни одного нет. Рязань — продовольственный город — —

Т е л е ф о н ы и л ю д и. — Два человека, оба еврея. — На Семинарской какой-нибудь улице — Казанская какая-нибудь божья мать, и в кремлевском монастыре, что ли, — Спас-на-кладбище, — церкви поставлены богу, церковная мистика, как города Росчиславль и Китеж, звонницы смотрят в небо, к небу звонят. Пришли иные времена (до Китежа), купцы ставили пудовые свечи, но говорили: — «Извините, конечно, бог един и первый, но экономическая необходимость вынуждают-с!» — и поставили домов, как бабы, засрамили, заслонили церкви, зажали дебелостью своей в переулочки — прекраснейшие церкви, памятники мистики, старины и культуры. — Два человека, оба еврея, в доме, как баба, в антресолях без нужника, о трех комнатах.

Один — первый — человек, еврей, сионист — спал ночи на стульях, составив стулья и положив на них перину. Днем он ходил в зуболечебницу, где врачевал, бегал по столовкам, — вечером он варил зубы, — а ночами, прежде чем сдвинуть стулья, он — изучал арабскую грамматику и арабский лексикон, ибо мечтал уехать в Палестину, в свое государство и там врачевать среди арабов. Ему было пятьдесят два года, он был сух, как мумии в палестинских песках, он ничего, кроме Рязани и Одессы, не видел: — Па-ле-сти-на и арабы с боль-ны-ми зу-ба-ми, которым надо рвать зубы и с которыми надо говорить по-арабски! Даже в Палестине не воскрес древнееврейский язык, — но он его знал, он спал два часа в сутки.

Двадцать пять лет под-ряд у него в антресолях висел телефон, — и вот второй — человек, еврей, коммунист. — В революцию могли иметь телефоны только ответственные работники, второй был ответственным работником, — он снял телефон в коридоре и перенес его — на два с половиной шага — в свою комнату, и когда спрашивали в телефоне первого еврея, которому принадлежал этот телефон двадцать пять лет, второй отвечал:

— Здесь нет никакого зубного врача, — здесь живет военный комиссар!

Этот второй тоже не видел ничего, кроме Одессы. Рано утром он уходил в учреждение, приходил в пять и все вечера разговаривал по телефону, около телефона у него стояло кресло, и когда он разговаривал со своими подчиненными, он разваливался в кресле, коряча ноги; когда он говорил с себе равными, он сидел просто, по-человечески; когда он говорил с начальствующими, он вскакивал во фронт и щелкал пятками. Это

были три разных голоса, — четвертым же он говорил — по телефону — с женщинами. У него никогда никто не бывал, он засыпал — на диване — в десятом часу по декретному времени.

И первый, и второй, оба еврея были дальними родственниками, оба из Одессы, как Казанская, что ли, и Спас-на-кладбище — обе в Рязани, осрамленные купцом, который настроил баб для крыс, извинившись:

— «Извините, конечно, бог един и первый, но экономическая необходимость вынуждают-с!.. касательно того, чтобы заслонить, конечно, бабами...»

...И третий человек,—русский, Росчиславский. Поезд вполз на Рязанский вокзал, сыпал людьми, как сыпнотифозные вшами (людьми, которых давно уже звали не зайцами, а кроликами, ибо заяц бежит куда глаза глядят, а кролик только с места на место, разгоняемые Ортечека). И никуда не спеша и одиноко сошел с поезда человек в солдатской шинели с поднятым воротником до ушей и в кепи, с тощим чемоданом в руках. Лицо у человека было как ноябрь. Не в лад всем, долго стоял человек в третьем классе, прислонясь к стене, опустив глаза как ноябрь. Затем человек бодро пошел в город, на Астраханскую улицу в советское общежитие. Там он предъявил документы, ему отвели койку в общей спальней, человек осмотрел белье, густо посыпал его далматским порошком из тощего чемоданчика, долго разматывал разбитые башмаки и обмотки с разбитых ног, башмаки уложил в чемодан, чемодан подложил под подушку и, не снимая шапки и плотнее насунув ее, засветло, не пив и не ев, лег спать. Рано утром, не справляясь об улицах, он пошел за город в лагеря русских в России военнопленных— офицеров армий Деникина и Врангеля. Там он был недолго, передал молча несколько писем, — и оттуда пошел по советским учреждениям, в губисполком и в губземотдел. — Росчиславский тоже, должно быть, соответствовал какой-нибудь церкви, погосту Расчиславлю, что ли? —

...Это мимо Рязани идет тракт Астраханский, — это в Рязани стоит Спас-на-кладбище и Казанская божья мать: тот, человек, еврей, комиссар, в т у н о ч ь, когда убили Терентьева, был в коммуне «Крестьянин», — всю ту ночь пробродил по оврагам, боясь и отстреливаясь, и ему было страшно потому, что тогда каменная баба придвинулась к смерти, ибо он, мечтающий о еврейской девушке, захолодел от мысли, что к нему приходит женщина так просто, что нет сил отогнать ее от себя,— потому что он мечтал о еврейской девушке... — Ночь! — Палестина и арабы, у которых надо рвать зубы и с которыми надо говорить по-арабски, — древняя Палестина — как древнее вино рязани-яблока, — перед периной на стульях: — «здесь нет ника-

кого зубного врача, здесь живет военный комиссар!..» — И вот, второй, человек, еврей, комиссар, — не постучавшись, входит к первому и садится на стул, -- все грани пройдены.

— Уйдите, прошу вас!

— А я вот не уйду! Зубришь, старикашка? В Палестину песок повезешь?

— Уйдите, прошу вас, — и в голосе первого мольба о пощаде и испуг. — Зачем вы издеваетесь над человеком?

— А я вот хочу! — и в голосе второго презрение и та кровожадность, какая бывает у охотников на травле. — Убежала жена от старого дурака — на молоденькую позарился — с горя потащишься в Палестину... Муку в сундучке бережешь, рядом с арабами, чтобы не сдохнуть?.. А сегодня по телефону —

— Слушайте, зачем вы меня мучаете? за что? — у вас сила, я ничего с вами не могу сделать, вы меня можете ударить по щеке, отнять мой хлеб: я буду молчать. Я молчу, что вы сорвались с цепи, и каждую ночь пригоняете себе откуда-то русских баб. Ведь я молчу, что вы воруете пайки. Ведь я молчу, что вы насильно отняли у меня пуд муки. Вы отобрали у меня телефон, вы запираете от меня на ключ уборную... Вы вселились ко мне родственником, в мою квартиру, без вещей, и вы все отобрали у меня, пианино...

— Ну, так что же? Жена все равно убежала, некому играть на инструменте!..

Ночь!.. —

...И той же ночью на Астраханской, что ли, улице в советском общежитии не спал человек, Росчиславский. Разбитые башмаки в чемоданчике и чемоданчик лежали под головой, — с поднятым воротником, в надвинутой плотно кепке, человек лежал неподвижно и глаза его были широко открыты, устремленные через потолок — куда-то. Проходил двадцать второй, — декрет ли проволочился с газетами на поезде, радио ли три дня переправлялось в Рязани с площади за вокзалом на Астраханку, или на Астраханском тракте провыли провода приказом: — было указано туманно, что земли, как-то там правдой-неправдами, если земли меньше стольких-то десятин и если люди сами хотят обрабатывать, — земли вновь отдаются старым владельцам, в аренду. Росчиславский много ходил сбитыми ногами по исполкому и земотделу в Рязани: под головой в чемоданчике с разбитыми башмаками лежала — б у м а г а. — Росчиславский много ходил в эти годы, в Красной армии, стрелочником на чугунке, в продкомах — — А тогда, последний раз, он вышел с Расчисловых гор к сумеркам, шел — не в этом пальто и в этой же кепи, в пальто с поднятым воротником, с лицом, как ноябрь и как волчье в ноябре, — а был август. — Росчиславский не пошел деревней, где избы хихикали, как старичишки, — в Филимоновом овраге повстречались мальчишки с корзинами грибов, пахло в овраге осенней

грибной сыростью, и мальчишки улюлюкали так же, как — когда травят волков: — а-ря-ря-ря-яя!.. Много прошли в эти годы разбитые ноги!.. — а в чемоданчике: — б у м а г а. А Рязань спит, как спали вот эти сорок человек в общежитии, в комнате без окон и лишь с решетками, удушенной этими сорока спящими, ибо во сне не грешат... О чем думать ночью человеку — перед завтра? — ведь завтра кости — на старое место! — что думать!

И надо спешить, потому что вот Росчиславский встал еще ночью (в городах исковеркали ночи двумя с половиною часами вперед!) — надо теплушками тащиться в Зарайск, там последний достать мандат — Росчиславский долго надевал башмаки и закручивал обмотки, без кряхтения сгибаясь... — Третьим Интернационалом гремит тракт Астраханский, — а луга Белоомутские, поэзия Огарева, легли простором Поочий, в дуроломе осота. И новым рассветом из Зарайска итти и не думать о верстах: сколько их исхожено?.. И в Филимоновом овраге — к вечеру — не было уже никаких мальчишек, и не пахло грибами, валялись лишь конские черепа.

Усадьба стояла во мраке, безмолвно, — пахнула запахом шпанского гнуса. И долго никто не выходил, даже собаки не было. Потом появился на крылечке сухонький мужичонко с палкой, в шапке.

— Ты кто? — спросил Росчиславский.

— А мы, значит, были в коммуне в слесарях, — а теперь нас приставили сторожем. Тут, вишь, ваторга произошла, передрались мужички, из-за баб, значит... Убили, значит, одного, заводского, а он в роде набольшого у них ходил. Потом тут вера образовалась. Ну, Мериновых троих, Комынина, да еще баб, да сестру твою, арестовали, дивствительно... И брат же их, то-есть Меринов Андрей, их же арестовывал... Ну, а как начальников убрали, так и коммуне конец, мы народ темный. — Про вашу милость, Дмитрий Егорович, бумагу мы получили... Спать вас где устроить? — в главном доме прикажете?.. —

Росчиславский ушел в главный дом! — Чтобы мыши не ели, в ящиках в кабинете, засыпанные махоркой, лежали книги. Росчиславский наклонился было живо над ними, — но раздумал, и медленно встал: подумал, должно быть, — к чему? зачем? — Так же, как в Рязани в общежитии, он снял башмаки, положил в чемоданчик, из чемоданчика вынул далматский порошок, посыпал им диван, — и лег в шинели и кепи, чтоб уснуть сейчас же: он привык спать везде одинаково. — Не дано думать — зачем пришел? — Заходил бесшумно мужичонко-слесарь и смотрел: сохранились ли на столе надписи — с т о л, — чтобы правильно было все по описи. — —

— — Дмитрий Росчиславский очень постарел, осунувшийся, совсем не шумный, как всегда. Он — понуро — один вместе с хромою сестрой — взялся за

хозяйство и волком стал людям. Он был юристом, и он писал заявления в волисполком, в уезд, в губернию, судился и с крестьянами, и с волостью, и с земотделом, и в волостных, и в губернских, и в уездных судах: разъяснял, толковал, истолковывал декреты, на них опирался и, потому что законов никто толком не знал и все жульничали, — держал всех в страхе законностью, озадачивал власть на местах центральными разъяснениями, грозил судами, — и сумрачно взялся за пахоту, на крестьянском своем наделе, с сестрою, коровою и лошадыю. Дмитрий Росчиславский научился за эти годы работать! —

Запись четвертая, Елены Андреевны Осколковой, жены доктора, сестры Милицы, реальная, как фантастика, из повести о Черном Хлебе. —

(Смотри о смерти Юрия Росчиславского, ушедшего в волком, и о глазах Милицы. Смотри страницы о городе Зарайске.)

Как эпитафия:

«И надписан над городом — коровий хвост
вверх ногами, комбинация невозможная».—

«Братья, — сестра! —

«Владимир купил корову, третьего дня она отелилась. Владимир читает книжки о ведении молочного хозяйства и о том, как ходить за коровою; я не знаю, прочел ли он хоть одну книжку о воспитании детей? — Глеба воспитывает он. К мужу ходит каждый день коновал. Коновал говорит, что теленка нельзя никому показывать, — и муж никому не показывает теперь, чтобы не сглазили. Коновал же поучает, что корове после доения надо крестить кострец. А Владимир — врач!.. — Самое омерзительное в наши дни — это то, что все теперь измеряется куском картошки и хлеба, — впрочем, лучше всего сейчас обеспечены негодяи, у них права на жизнь больше, чем у всех иных, — и все же теперь за доблесть получить лишний фунт хлеба.

«Но над землею — весна, и я все дни думаю, мечтаю, выдумываю. Это спасение, — но это: компромисс, — компромисс потому, что, если чистая блузка, то должна быть чистой и сорочка. Есть ли у меня семья? — У меня есть муж и сын. Но в моем мире мужа моего нет, он не пошел в него. Я не знаю его мира. Он воспитывает сына, — я не знаю, кого он может создать, что он хочет, — и не знаю — хочет ли? Он ничего не читает, потому что на нем все тяготы жизни, и его интересы только во всяческом продовольствии. Он не читает газет (я тоже не читаю), не интересуется ни общественностью, ни политикой, ни литературой, ни даже медициной. Он попрекал меня куском хлеба. Я много раз звала его в мой мир, — он не идет, — и мне уже скучно звать. За последний месяц он внес в мой мир только рассказ о том, как Меринова убила дочь, но он не сказал, а я знаю, что внутренне он замешан в этом убийстве. — В какой мир —

его мир — я пойду к нему? — Продовольственный мир меня заставил бегать за коровой, за просом и картошкой, и мир продовольственный стоит в моих ощущениях на том же месте, как путь в уборную, и от разговоров лучше не станет. — У нас есть ложь в отношениях, с обеих сторон. Ложь эта порождена недоговоренностью, недоверием, с обеих сторон. Владимир мне не верит, — и если у меня от этого скука и утомление, то у него глухая злоба. Я молчу и скучаю говорить о моих делах. Он меня ревнует ко всем мужчинам, — он отрицает это, я это чувствую, — и это ложь, потому что я верна. А если бы кто знал, как мне хочется семьи, уюта, нежности! У меня ведь так много любви и нежности — к мужу и сыну, и все мои помыслы — к ним. Я все, что могу, и от сердца и от вещей, тащу в дом, — все, что могу.

«Вчера Владимир говорил, что иссякает хлебный запас, — я предложила перейти на паек, — он упрекнул, что я много ем. Что мне ответить? — Сегодня утром проснулась, когда всем домом ходили доить корову, лежала и думала.

«Утром копалась на огороде, — ветерок веет, резала крапиву для коровы. Потом доила корову — училась. Сейчас — обед, — и после обеда пойду в Расчислово, за 15 верст, за картошкой. Жизнь упрощается до удивительного. Ничего, кроме картошки. Город — это большая деревня безлошадных. Мы сеем просо и картошку — это исполу у крестьян, а рядом за домом будет огород. Все говорят и заняты — посевами, картошкой, свеклой, луком. Об огороде же я думаю хорошо, потому что хорошо рыться в земле. Доктор Казаков пашет на сыновьях, а жена его перестала ходить к нам — завидует нашей корове! Времена!

«Пойду в Чертаново — в поле, полем над Окой. Хорошо. Я исходила этой весной весь уезд, собирала дань с пациентов мужа, просо и картошку для посева. Третьего дня, насчет проса, я ходила в Кашперово. Какая красота и радость! Ночью я проходила через речку Кашперовку, через парк помещицкой усадьбы, по сгнившим мосткам. Квакали лягушки, пахло цветущей ивой, светила луна. И совсем не странно, почему не вышел из темного дома Евгений Онегин: тот ветер, который опешил помещицьи гнезда — конечно, прав, дикий, скифский. Из пепла выросли новые лопухи. Кашперовы едят грачей, грачиные яйца, крапиву.

«Вчера я вернулась из Расчислова. Шла над Окой и размышляла — о себе, о делах, о людях. Расчислово на горах — совсем дикое село с плетнями, с вишневыми («вышневыми») садами. Грязь, дикость, нелепость — всегдашнее; думала о том, что страшно в России — еще идолопоклонство, зверство, людоедство, дикость, глупость. Это одно, от этого одиноко. А еще — чего не поймешь — наше русское, за что люблю Россию — половое, инстинктивное (темное ли? — светлое?), кровь, — от

этого мы пьянеем в пожары, от этого мы грустим, скулим зимними сумерками, от этого, не помня и не понимая, мы можем убить человека.

«В Расчислове была у Росчисловского. Весь сад, вишневый, в цвету. Сумерки. — Кудахчат куры. Воздух золот. Жужжат шмели. Пахнет навозом, сестра хромая, обессилевшая, трусит овес, для посева. Я знаю все о Росчиславских: — и Дмитрий, и Мария, последние оставшиеся, гордо несут свое бремя, молча, гордо молчат о всех пощечинах, что уделила им жизнь. Не весело им, как и мне. Потом пригнали стадо: пыль (золотая), шум, крик, бляение. А на задах, за стадом, за полями — Ока, луга и дальний колокольный звон. Дмитрий Юрьевич был в поле, пахал яровые, вернулся, тащась за плугом, — худой, как его лошадь. Ворот расстегнут, и ключицы и мышцы на шее — наперечет. Ноги подогнуты в коленях, как у мужиков, и сквозь ситцевые штаны остро торчат коленные чашечки. Прошли на террасу, огня в доме не было, во мраке ели щи из крапивы и овсяную кашу, без хлеба. Дмитрий Юрьевич ел очень много, был хмур и молчалив. Сестра после ужина ушла спать на двор, к скотине, чтобы сном караулить скот. Уходя, она отозвала меня в сторону, сказала смущенно:

«— Пожалуйста, если брат предложит вам сыграть в шахматы, — проиграйте ему. Пожалуйста, — иначе он будет мучиться... Пожалуйста!..

«Я не умела играть в шамхаты, и Дмитрий Юрьевич мне не предлагал. Мы сидели на ступеньках террасы. Запах навоза прошел, пахло вишней.

«— Вы хотите спать, Дмитрий Юрьевич, — сказала я.

«— Да, хочу, — ответил он сумрачно и замолчал. — Но я с трудом сплю ночи. Я пришел сюда, и мне все время кажется, что теперь восемнадцатый год, когда я ушел отсюда... Тогда громили усадьбы, — я ждал... Поджигали все на рассвете, — выработалась привычка не спать ночами...

«Дмитрий Юрьевич замолчал. Я тоже молчала.

«— Знаете, мать тогда, — заговорил он, — каждый раз ложилась спать на новом месте, кричала во сне, — представлялось, что — п р и ш л и. А однажды приползла, — понимаете? — приползла ко мне и просила спрятать ее, — хотела жить, плакала, и руки тряслись, как у убийцы... Я понимал — стихия, человеческая лава, ничто не поможет, и я ушел. А она не понимала и осталась... — Помолчал. — Вы знаете и о матери, и о Марии, и о коммуне, и о Елене... Мало что скажешь к этому.

«Дмитрий Юрьевич замолчал, свернул сигарку, ушел в дбм закуривать от светильника, — опять сел на ступеньку, склонил голову.

«— Глупо, очень глупо, — заговорил он, — старые привязанности, земляная кровь. Надо было бы бросить все,

навсегда, — но вот вернулся. Нелогично: мордовали меня и моих всех все, кому не лень, — а я был в Красной армии, убивал своих братьев, — потом подталкивал своими плечами стальные паровозы, чтобы шли, — и всегда был с Россией, с революцией. Иначе не мог. Но русский народ — не люблю.

«— А как же жить тогда? — спросила я.

«— Работаю как-как собака и грызусь со всеми как вол, — сказал злобно Дмитрий Юрьевич и помолчал, бросил далеко в кусты папиросу. — Но — хорошо. Я заплатил за все, за всех, за моих отцов, за мое детство, за университет, за крепостное право, за привилегии, — я теперь никому ничего не должен, — без долгов!.. Но я никому ничего не дам и в долг. Будет. Осенью я куплю пуд керосину, вычищу от мух лампу, обложу книгами, и дорогу от моей усадьбы заметет снегом. К чорту! — до весны. А там опять за плуг. Через пять лет я буду иметь образцовое хозяйство. Знаете, — бросьте в лесу кафтан: вол пройдет, не тронет, — медведь пройдет, не тронет, — стервятник пролетит, не тронет, — пройдет человек: — украдет. С людьми дела иметь — не желаю. Будет! Никому не должен.

«— А Россия? — спросила я.

«— А чорт с ней, с Россией! Пусть, как хотят. Я знаю только одно, что Россия была дика, безграмотна, свирепа, ужасна — не потому, что у ней было дикое правительство, — а потому что девяносто процентов России жили на границе умирания с голода, ту же корову подвешивая по веснам, чтобы помочь ей стоять. Я ем крапиву и мне — огромный труд пройтись в парк лишний раз, без дела я не пойду, не то, чтобы прогуляться; я все время хочу спать, у меня в доме нет чернил, а книги в пыли. Крестьяне, единственная реальная база, сейчас платят налогов больше, чем до войны, стало быть, они не могут выйти из скотьего состояния... Россия вернулась назад к дикарям, ровно на столько, на тот процент, который показывает потерянность нами количество богатств, сломанных человеческой глупостью и расстрелянных пушками за эти годы: поэтому закрываются школы, больницы, агрономические пункты — даже те, что возникли двадцать лет назад. В этом никто не повинен, это несчастье республики, — но этот закон так же категоричен, как то, что человек не может сделать, чтоб ноги у него росли из-под мышек. — Росчиславский помолчал. — Нет, я неправду сказал, что чорт с ней, с Россией!.. Через пять лет у меня будет образцовый хутор, это та лепта, которую я дам России, потому что только труд и богатства спасут Россию. Но я никому не должен. Это две мои заповеди.

«Дмитрий Юрьевич встал, извинился, провел меня в комнату, где мне накрыли постель, и ушел спать. Всю ночь в парке вскрикивали совы, а к рассвету запел соловей.

«Еще до рассвета я вышла в парк. У края парка повстречалась Мария, в белом платочке, с лопатой.

«— Что вы? — сказала она смущенно. — Я тут копалась, сажаю фасоль. Только не говорите брату, — он хочет делать все сам, а у него не хватает сил. А у нас так много работы... — и она, некрасивая, хромая, уже старуха — так хорошо улыбнулась.

«И шла я обратно над Окою, полями, с мешком на плечах. Веял весенний благодатный ветер. Думала о том, что Росчиславский — хороший человек, нужный человек, и такой, которого создала революция, — революционной России нужный человек... — А пришла домой... — Владимир в трагической позе рвет волосы на голове: ушла, пропала корова!

«Как верно в «Крейцеровой сонате» Толстого, в том месте, где он рассказывает, — он, Позднышев, — о том, что были попреки, резкости, грубость, а потом, когда у обоих появляется потребность к половому акту, забываются эти грубость и попреки, и вечером муж и жена сходятся, целуются, забывают (забывают ли!?) о дрязгах, о мелочах, — с тем, чтобы наутро, когда страсть пройдет, опять не любить, не верить, попрекать. Толстой описывал пошлейшую обыкновеннейшую супружескую связь: стало быть, и у меня это? —

«Я пришла вчера из Расчислова. Дорогой я думала, что иду не домой, а на квартиру. Владимир встретил меня с растерянным лицом и сказал, что пропала корова, — «у нас несчастье!» Корову побежали искать. И мне стало жалко Владимира гораздо больше, чем корову. Я стала утешать. Это было каким-то внутренним примирением, корова нашлась, и я знала, что вечером у нас будет соитие, Владимир придет ко мне. Так и было. Было все очень нежно, с нежными, ласковыми словами... —

«А сегодня, вот сейчас, примирение оборвалось. Началось с того, что мне Владимира стало жаль больше, чем корову, — кончилось тем, что Владимиру ножницы стали дороже меня. Я открывала шкаф и сломала кончик ножниц.

«— Не смей брать моих вещей! Я их только что купил, — не для тебя. Чертовка! что ни возьмет, то ломает! погоди, я еще разговаривать за это с тобой не буду!

«Откуда такой лексикон у человека, кончившего высшую школу? — И опять я квартирантка, на новую неделю.

«Что же, что? — Знаю, чем больше я буду уступать, тем больше на меня навалится. Сегодня была первая гроза в этом году. Пойду гулять по дождю.

«Нет, — не из Толстого и не по-толстовски. — Так жить нельзя!

«Была гроза, — я вышла за город и в овине пережидала дождь. Потом шла по лужам, сняв башмаки, домой. Дома никого не было. Муж вернулся поздно, умывался, потом в шкаф положил фунт масла, привезенный с практики. Вот, без Тол-

стого, — та страшная ложь, когда два человека — два человека, прожившие много лет вместе, не могут — не могут найти слов, чтобы говорить правду друг другу, не могут сказать правды и лгут... Я очень спокойно складывала в чемоданчик, оставшийся у меня еще от курсов, мои и Глебовы рубашки; ножницы со сломанным концом (которыми я открывала шкаф, чтобы достать Владимиру носки) я отложила на видное место. Я заплакала, когда мне в руки попала крестильная рубашка Глеба, вся в кружевах, — и Глеб спал тут же около меня, не успевший вымыться перед сном, с крошками хлеба у губ. Я долго смотрела в окно, — был зеленый вечер, и на площади в луже квакали после дождя лягушки, — площадь лежала, как при Николае I... Владимир не входил ко мне, сел и затих в кабине. — Тогда я пошла к нему, мне все было ясно, во мне было негодование.

«Я вошла в кабинет и, входя, сказала:

«— Владимир, я пришла тебе сказать, что я ухожу от тебя.

«Он сидел на диване лицом к окну, — он подшивал подметку к своему туфлю. Он не двинулся и не повернулся ко мне.

«— Я решила уйти от тебя, навсегда — с Глебом, — сказала я.

«Он не шевельнулся.

«— Ты молчишь?

«Он стал во весь рост, сразу, шагнул ко мне. Крикнул:

«— Кто — *он*?

«— Как тебе не стыдно, Владимир!?

«— Кто он? кто он?! — слышишь, говори! — и Владимир засеменил на месте, левый глаз его сощурился, и неестественно широко раскрылся правый, и рот скопился от боли, — я не знала, что он так не умеет владеть собой. — Кто он? Росчиславский? — ты у него ночевала!

«— Владимир, успокойся, ведь ты мужчина, — как тебе не стыдно. Давай говорить по-хорошему.

«Я протянула ему руку для рукопожатия, чтобы показать, что я хочу говорить с ним мирно: он поспешно ее взял, взглянул на нее удивленно и поспешно поцеловал — и вдруг бросил ее, так сильно, что я качнулась и хрустнуло плечо.

«— Кто он? кто он? — слышишь, говори, — проститутка, дрянь!.. — он хрустнул пальцами и заломил руки над головой, — тогда из его рук упала его туфля; он бросился к окну, растворил его, крикнул: — слышишь, говори, кто он? — иначе я брошусь в окно!..

«Из окна броситься нельзя было, потому что с аршинной высоты не бросаются, — я повернулась и вышла из кабинета. Настала тишина. И тогда я поняла, что единственное на этом свете, что я люблю — это Глеб, вот этот спящий ребенок, с крошками хлеба у рта. У меня нету места, чтобы быть тем брошенным кафтаном, о котором говорил Росчиславский, кото-

рого никто не тронул. Куда мне итти? где есть угол для меня?.. Я взяла спящего ребенка и чемоданчик в руки. За окном кричали лягушки».

Земляника в июле, рассказ о большой лжи.—

В июле на Петров день — и Петров день, конечно, *июньский* праздник! — на Щуровском заводе у инженера Юнга собрались гости, был детский спектакль, потом, на террасе, споры. Инженерский поселок лежал за заводом, в соснах, недалеко от Оки и Казанка. После ужина, за столом на террасе остались одни мужчины, спорили, — женщины и молодежь ушли в сад. Была белесая, июньски-мучительная ночь: бритые лица инженеров — в белесой мути стеклянной террасы — подходили на черепа. Соловьи уже кончили петь, но свистала рядом в малине малиновка, а из ржи, когда за столом затихали, слышен был крик коростеля — «спать-пора». Свеча под стеклянным колпаком выгорела, на террасе было накурено, мужчины были в белом — и, потому что стекла делали краски неестественными, на террасе, на лицах, на людях были только две краски — черная и белая — и их варианты: серая, сероватая, серенькая.

Коростели кричали по-здоровому, призывая к доброму сну: — Спать-пора! Спать-пора!

Из калитки, из садика вышли двое, Дмитрий Юрьевич Росчиславский и Елена Андреевна Осколкова. Они прошли дорогу ржами, свернули к Казанку. Светила в последней четверти луна, и Дмитрий Юрьевич показал при помощи прутика, как узнавать лунную фазу: надо прутик приставить к рогам месяца, и, если получится французское р — первая буква слова — *premier*, то стало быть — первая четверть луны, — если же получится q — *quatre*, то — четверть четвертая. Елена Андреевна посмотрела на луну, лицо ее было задумчиво, лицо ее было по-русски красиво, в глазах блеснул лунный свет, — и она задумчиво сказала:

— *Сейчас белые ночи. Пройдет эта луна, и ночи будут черными.* — И помолчала. — *Знаете, иногда в марте, в июле на востоке поднимается луна, красная как раскаленное железо, — и тогда в этой луне с востока слит весь наш русский Восток, вся наша Азия.*

И эти слова наполнили Дмитрия Юрьевича поэзией, хорошей и настоящей, той, что открывает подлинные смыслы вещей. Он ощутил, что — да, ночи будут черными. Ржи шелестели, и на землю пала роса. У Казанка, на траве около дороги — паслась лошадь и стоял воз с оглоблями в небо — какого-то русского пилигрима; костер у телеги потух. Они вошли в Казанок, Старый лес, обомшалые сосны — так простояли, быть может, столетье, но все же были пни в зеленом мху, зеленая луна све-

тила сквозь ветви, луна была необходима. Была тишина, крутая, как мрак. Казалось, ни одна человеческая нога не была здесь до них. Она села на пень, в белом платье. Он у ее ног разложил костер. Сухая можуха затрещала, зашипела, посыпалась искрами. Мрак сразу стал черным, деревья придвинулись, переместились, луна оказалась ненужной, беспомощной. Елена сидела у костра, склонив голову. Он сваливал сучья в костер, исчезая за ними во мраке; когда костер полыхал, он садился около ее ног, голову прислонял к колену, — и так сидел неподвижно, пока не прогорел костер и луна не пробиралась вновь, зеленым холодком, — тогда он опять шел за хворостом. Дорогу сюда они немного сплетничали и говорили — о русской революции, — но здесь у костра они молчали. А когда потух костер, и вдруг стало ясно, что ночь проходит, что светает, что луна исчезла, и деревья — обомшальные сосны — строятся в денной порядок, — и Дмитрию Юрьевичу не было возможности подняться от огня, от ног Елены, — поднялась она и сказала, как надо говорить утром:

— Только у нас никогда не будет романа. Идемте. Ночь проходит.

Часть гостей уехала. На террасе еще спорили, но хозяин уже спал. От ужина остались только селедка и земляника. Ночь уже прошла. — Так пройдут эти белые ночи, пройдет луна, и ночи будут черные. —

Елена Андреевна осталась ночевать. День застал инженерский дом пустым, и она долго не поднималась. Петров день прошел, июньский праздник в июле. Деревенские девочки у террасы предлагали землянику. День был зноен и ясен. Елена пошла в Казанок, одна, в канаве у опушки росла земляника, лесная, крупная и сладкая, — но в лесу не было никакой таинственности, было прозрачно и ясно. Елена нашла пень, у которого жгли костер, и села на него, чтобы думать о той великой лжи и о том великом одиночестве, что судьба уделила ей. — Около пня в траве было много земляники, перезревшей, которую ночью не было видно. Когда Елена наклонялась за ней, от пепла, где был костер, пахло горько горелым, сгоревшим. Елена Андреевна пошла домой, в город, — во ржи нарвала сноп васильков.

Вечером закапал дождь.

А Росчиславский, в этот же вечер у Оки, лесом — подходил к монастырскому кладбищу. Закинув сапоги за спину, Росчиславский шел во мраке и мокроти, по глубочайшим колеям, от которых трещали ноги. Влесу было темно, моросил дождь, нехорошо кричали совы, изредка в сырой траве вспыхивали ивановский червячки. Потом пошло коростелевое поле, в последней четверти поднималась луна, чуть красноватая.

В монастырской сторожке, опять в лесу, светила лампа. Сестра Ольга принесла крынку молока и кошелку земляники, —

хлеба не было. Свежее сено в сарае — лесное — тоже пахло земляникой.

Сестра Ольга вышла из избы, прошла в сарай, пробежала собака, кто-то свистнул во мраке —

Дождь все капал.

Глава о последних ликвидациих, Ивана Александровича Непомнящего, об Иване Александровиче, о многом.

(Подзаголовок к этой главе может быть очень много: «О Коломенской статистике», — «Цифры», — «Осенние дела и разговоры», — «О Руси, Рассее и России», — «О Лебедухе и Форсте», — «Смерть третьего Расчиславского», — «О том, что ноги не растут из-под мышек», — и прочие, — «О Расчиславских враках».) —
.
.

...если вот здесь, из многоточий, над этой книгой и над этим повествованием, над Россией, над декабрьскими июлями русскими — с памирных высот и с большого мира — выплыть большому Человеку — поплыть фантастическим кораблем в Коломенские земли — над Россией, над буднями, над мелочами — —

— — ночь! Ничего не видно. Пусты, пустыни, черны просторы. Город Зарайск смешался с Коломной, в Коломну впер, — Коломна накрыла Зарайск. — Ничего не видно. Не видно огней. — Человеку стоять и смотреть во мрак — — Человеку приехать к статистику Ивану Александровичу Непомнящему — —

— — осень — октябрь — —

— — кто в России не знает, как по осеням над всей Россией — в дождях, в ветре, в пурге, в стуже, в туманах, когда земля ограблена осенью, — мучает мрак! — треть России не знала в тот год никакого огня, треть России жгла лучину, — но и керосин — кто не знает, как сиротлив он, сумрачен, не в керосиновой ли зеленой лампе вся романтика и вся ущемленность столетья русской интеллигенции, тогда умиравшей?.. — У Ивана Александровича — лампадки и свечи, и он — усиками, шопотком — говорит:

— Вот, у соседа моего, у Кукушина, две недели горело электричество, — теперь, погасло, срезали провода (сказать — украли; — ни-ни!), — срезали, ножницами!.. Теперь Кукушин сидит во мраке, пока сам не срежет, — он хозяйственный человек! — —

осень — октябрь — день — —

день идет серый, бесцветный, мгlistый. Небо в облаках, вот-вот пойдет дождь. Деревья в лесах стоят голы и неподвижны, сосны мокры. Поля лежат сиротами. Город — сер, серый, сырый. Село Расчислово иному в версту, а иному — в пять.

На горе, где церковь, — пустая школа, окно, где живет учительница, заткнуто тряпкой, — утро. А напротив школы пятистенная изба начетчика Челканова, старообрядца-беспоповца; и в чистой половине, где вся стена в образах, расставлены тесно длинные столы, крашенные охрой, — за столами такие же скамьи, и на скамьях — детишки, только мальчики, — девочек начетчик не берет. Начетчик — в коричневом сюртуке до щиколоток, с красным шарфом на шее, в белых валенках, с очками не на носу, а на лбу — стоит под образами и говорит:

— Аз!

И детишки повторяют:

— Аз! —

За овражками, в усадьбе ходит — бегаёт из угла в угол Дмитрий Юрьевич Росчиславский, сыпет махоркой: у него с утра необыкновенные мысли — он не видит нищей комнаты — он грезит наяву, — он — гражданин России. За окнами — к окнам склонилась одичавшая сирень, там дальше вишеник, торчат три сосны — — Расчислово — иному в версту, а иному — в пять.

Город — сер, и надписан над городом — телячий хвост вверх ногами, комбинация невозможная. Идет утро, и сумрачен доктор Осколков, и торжествует бывший член суда Керкович¹. (На площади за всероссийски-гоголевской лужей, в доме Старковых до революции жил акцизный чиновник Керкович, брат члена суда, он ушел на войну еще в четырнадцатом году. Он приехал, в чине инспектора рабкрина, забрать свои вещи, — и выяснилось, что еще в восемнадцатом году, когда национализировали дом, были забраны его вещи, как бесхозяйные. Инспектор рабкрина в архивах коммунхоза разыскал списки и стал собирать свои вещи: оказалось, что шубу уисполком передал доктору Осколкову; — доктора Осколкова пригласили в уисполком и предложили сдать шубу в двадцать четыре часа. Инспектор Керкович нашел и свои ковры, ковры были с фигурами людей, испанцев, больших размеров, и в клубе комсомола найдены были половины ковров с ногами, — половины же ковров с головами были найдены на квартире военкома) —

День идет серый, безветренный, мгlistый. Вот-вот падет дождь.

Коломна лежит кремлевскими развалинами, разваленными белыми домищами за волкодавами ворот, где некогда крупитчатые жили люди в песнях сквозь сон, за пятью монастырями в двадцати семи церквах, колымные, как коломенская пастила, сладкие. Церкви стали теперь, как гнилые клыки во рту, и нет уже рассужденья о том, откуда и как пошло слово *Коломна*? От того ли, что кольями били здесь много... День сер, все мокро, облака цепляют за колокольни, и полдни кажутся сумерками —

¹ Смотри — о Зарайске-городе.

— — и тогда приходит ночь.

— — И ночь.

Иван Александрович Непомнящий — статистик. Главный герой повести. Место жительства, и старчества, и смерти: город Коломна, в Гончарах. За всю жизнь (после окончания университета) выезжал из Коломны только дважды — за мукой — в Нурлат, в Казанскую, и в Кустаревку, в Тамбовскую, — это было в голод, в 1919 и 20-ом годах, когда люди в Коломне ели овес и конятник, лошадиный корм. Чтобы дать характеристику Ивана Александровича, надо описать его вещи, — сам же он — маленький, сухенький, говорить ему шопотом, голову держать в плечах, горбиться, ходить в женской шали, чай любить с малиновым вареньем, — у Ивана Александровича — очки на носу, без очков он не видит, очками всегда вперед, волосы черные ершиком, борода не уродилась; — усики на бледной губе — очень тонкие, очень юркие, — заменили глаза, вместо глаз рассказывали, как настроен, что думает, над чем смеется Иван Александрович. — И вот дом: — в доме лежанка в кафелях с ягнятками и в кораблях, у лежанки лампадка (чтоб закуривать от нее не вставая самокрутные папиросы толщиною в палец, — ибо за всю жизнь Иван Александрович не мог научиться, пальцы не слушались, скручивать папиросы; — и кстати, о руках: руки у Ивана Александровича были лягушечьи) — у лежанки лампадка, на лежанке — книжка (очередная), лоскутки бумаги, шаль, валенки, подушка и — Иван Александрович Непомнящий, в шали и в валенках, за книжкой; у лежанки — по времени — или только лампадка (тогда очки над лампадкой), или лампа горит (тогда Иван Александрович пишет «Статистику»), или день, очень светло от окошек, и окошки тоже по времени — или в зелени летнего садика, или в инейных хвощах на стеклах (тогда очень тепло на лежанке); и кроме лежанки в комнате — книги, только русские книги (ни одного чужого языка Иван Александрович не знал), странные книги — старинные книги: — одна стена — осьнадцатый русский век, другая — первая четверть девятнадцатого, в ящиках и на полочках — рукописные книги; книги теперешние — в других комнатах, в коридоре, в сарае, на чердаке, кипами, пачками, связками, за нумерами и в пыли — теми, теперешними книгами заведывала Марья Ивановна, тоже статистик, жена, мать и кормилица Ивана Александровича, у нее хранился и список этих книг, и в комнате ее, куда никто не допускался, хранилась и двуспальная кровать (Марья Ивановна была на двадцать лет моложе Ивана Александровича, и была втрое больше его, безотносительно огромная, кустодиевских качеств женщина, — но была она покойна и румяна, как всячески сытая женщина). Перед домом Ивана Александровича дорожку всегда расчищала Марья Ивановна, — но Иван Александрович не любил выходить из дома. Иван Александрович не любил — ни травы, ни поле,

ни солнце. Все книги, что были у него, Иван Александрович — знал, — он говорил — со своей лежанки, глаза за очками, только по усикам узнаешь, шутит ли, насмехается ли? — говорил шопотом, и все, кто приходили, тоже шептали, — только Марья Ивановна спокойным басом спрашивала, на вы, — что хочет Иван Александрович — чаю ль покушать, картошки ль? — и где он ляжет сегодня на ночь, то-есть где поставить на ночь лампадку, кувшин с кипяченой водою, и не охладить ли двухспальное логово? — — Перед лежанкой, собственно, под оконцами (ибо комната была малюсенькой, не любил Иван Александрович пространства), стоял стол — рабочий стол — Ивана Александровича, он был завален табаком, недогоревшими его самокрутками, пылью (Марья Ивановна — чистота — не допускалась сюда), лоскутками бумаги, здесь стояли в баночках всех цветов чернила, лежала навсегда раскрытая готовальня, лежала «Книга Живота Моего, Непомнящего», лежала бумага всех сортов, покоились пятна всех цветов чернил, и от пирожков, и кругов от чашки, и от дыма, — и отсюда возникали — аккуратности поразительнейшей и чистоты — диаграммы всяческих красок и размеров и всяческие статистические таблицы — — Ни годы, ни революция не изменили у Ивана Александровича его манеры жить и думать.

Иван Александрович Непомнящий — во время действия повести — не умер, проздоровствовал точно таким же, каким был до повести. И не он, в сущности, герой повести, а его «Книга Живота Моего, Непомнящего», его записи и статистические выкладки. Персонально он не участвовал в повести, но многие хотели бы его придушить, даже своими руками, — если было бы за что его придушить, — но он ничего не делал, и его не за что было душить. Он со всем был согласен и всему подчинялся — и *ничего* не делал, кроме статистических своих таблиц — —

— — и ночь — — и к ночи пошел туман и дождь, ночь стала черной, сырой, зашарил ветер во мраке, в сиротстве — многое развеивал ветер по обшаренной земле. Каждый, кто был в российских селах и лесах, знает тоску керосиновой лампы: нация русских — лучшее — как керосиновый свет, — но много лучин, но много и совсем бессветья, — керосин мутен и чадит, когда выгорает, и коптит, когда горит сильнее, чем надо; лучина всегда коптит, и ломит голову от лучины — от углекислоты, — а бессветье — ночи без света — —

— — керосин никогда не ярок, красноват, почти такой, при котором можно держать открытыми бромисто-серебряные негативы! —

Маленькому, сухонькому Ивану Александровичу говорить шопотком, голову держать в плечах, ходить в женской шали. Иван Александрович — как Россия, за Россию. Иван Александрович прыгнул с лежанки. На столе, на лежанке, под образами (от образов закуривает Иван Александрович) — лам-

пады горят и свечи. — У стола сел Лебедуха. В кресло сел инженер Форст. И — маятником по комнате — Дмитрий Росчиславский: лейденовской банкой, индуктируя Лебедуху, комнату, ночь, даже себя. — В кресле — добродетелью — села Марья Ивановна. У двери, у притолоки стал человек.

И говорит Дмитрий Росчиславский, — неизвестно, почему, — потому, что он русский, — словами анархиста Андрея с монастырского кладбища — чтобы говорить за Форста, за Кузьму Козаурова, за человечество:

— Мы все сейчас думаем только о революции, только от революции. — Утверждаю, что Россия, страна историческая, была и есть уже много сотен лет, и кончится не сегодняшним днем. Россия растет — как река, ее путями. Человек двадцать девять дней в месяц работает и день пьянствует, в пьянстве — ему море по колено, — но трудится и создает свой быт, свое право на жизнь он в будни. У государства тоже есть свои будни и пьяные дни, — пьяные дни — это революции. Пьянство родит будни, будни родят пьянство. Россия пьянствовала пять лет, — прекрасные годы! Теперь она идет в будни, революция кончается. Надо сделать подсчет всех морей, кои нам по колено. И утверждаю — не революции и не революционной городской несут счастье. Самое страшное — обыватель. Сейчас, что бы ни делала революция, Россия и человечество, — две трети всего человечества должны быть заняты тупейшим делом землепашества, чтобы прокормить остальную треть, — их труд убог, ибо он дает излишку, только одну треть, — две трети человечества ковыряют землю, живут со скотом и зависят от стихий природы, — и вся плодородящая земля тратится, чтобы на ней росла картошка и рожь, и корм для свиней. И вот пришел человек ученый, гений, он вооружен всем, что дала культура, — и он изобретает, как механически, фабричным путем прокормить человечество, — картошку, хлеб и мясо, белки, углеводы и жиры будут делать на заводе, он построит маленький заводик, куда придут пролетарии!.. — и две трети человечества освободятся от крепости к земле, освободятся две трети человеческого труда, человечество получит досуг, освобожденный труд пойдет в города, он будет строить, творить, создавать, он найдет себе путь: но освободятся еще квадрильоны десятин земли, на них возрастут леса, сады, — будет невиданная в мире революция, которая перестроит государство, мораль, труд, освободит, раскрепостит труд, создаст такое, что мы не можем представить. Освобожденный труд пророем каналы, высушит моря, сравняет горы, кинет весть о себе на Марс. Это создадут — гений, культура и пролетарий. Человечество зимами мерзнет у полярных кругов, — будут созданы резервуары, в которых будет храниться тепло, и тепло одной Сахары отопит весь земной шар. Но это не все. Половина человеческой жизни уходит на отдых и сон, — создадут химические заводы, и человечество освободится от сна, —

и опять новый освобожденный труд. И это создадут знание и пролетарий. — Весь земной шар будет садом, ибо не будет пахотных полей. Лошадь, корова и свинья будут только в музеях, ибо их уничтожит машина. Россия первая крикнула клич пролетарию и пролетариям мира, в этом величье нашей революции. Это Метафизика пролетария. И я — с машинниками-коммунистами.

Дмитрий Юрьевич Росчиславский — русский дворянин — лейденской банкой. Дмитрий Юрьевич Росчиславский — гражданин России, фантаст России — не керосином — свечей Яблочкова, — он редко бреется, он трудится больше, чем следует, — лицо его в волосах белых, как лен, бледно, как лен, очень немошно, — и ноги у него подогнуты, как у опоенной лошади. — И вот у лица его вырастают очки и усики Ивана Александровича; — на столе, у лежанки, у образов — лампы и свечи.

И тогда Ивану Александровичу — шопотком, усиками — руки у Ивана Александровича, как лягушечьи лапы — Ивану Александровичу вытащить «Книгу Живота Моего»: — «тише, тише, повремените минутку, — найду, вот на этой странице»... —

— Человеческий гений? — говорите, Дмитрий Юрьевич? — Да-да! Вот-вот. — А я, знаете ли, с Русью, с Россией-матушкой, — я за Россию! — Революция, говорите? — вот-вот. В Коломне кремль старый, Русь да Поочье... Откуда бы это знахарям братья, бабкам, ведунам? — а вот, есть, доктора жалуются: очень много развелось. На знахарях остановимся на минутку: их статистикой не уловишь, — а вот живут, под городом, в городе тоже есть, под заводом, — так вот одни из села в университете, а другие из университета в знахари; и знают знахари, что пятьсот лет тому знали, — так вот пятисотлетие и уперлось в наши дни, не хорошо! — Да-да. Впрочем, помолчу. Пусть цифры говорят, простите, не по порядку.

— — очки, усики, лампадный свет, лежанка, — и огромная книга лежит на столе, закрыла стол — «Книга Живота Моего» — чтобы не перелистать ее — —

— Вот, прочтите, глазами прочтите, — взято мною из книги: «Обзор деятельности Коломенского уездного Исполнительного Комитета и его отделов к 14-ому уездному Съезду Советов», — вот, глазами прочтите, — да-да, парк Запрудский огорожен, на странице 131, — «Благоустройство города», — колючей проволокой огородили, сам штаны разорвал и ногу поранил, — прогуляться ходил, — простите, отвлекаюсь, — вот прочтите глазами:

«Ассенизационный обоз, в разделе «Коммунальное хозяйство», стр. 134. —

«С самого начала года, в виду все повышающейся заработной платы и стоимости фуража, давал такие убытки, что содержать его значило бы убивать на него и так скудные средства Коммун-

отдела, поэтому предположено было сдать его в аренду. Находились арендаторы из частных лиц, но по договоренности с Исправдомом Обоз был передан туда в количестве 8 запряжек с фуражем, и, как такового, его с 1-го мая не существует».

«*Похоронная секция* (стр. 134).

«На самоокупаемости. В распоряжении ее находится кладбище, где занят 1 человек распределением могил, и гробовая лавка, которая сдана в аренду на условиях предоставления Коммунальному Отделу из его материала 20 гробов в месяц. Секция дает небольшую прибыль».

— — очки, усики, лампадный свет, книжища огромная, вырезки в книге из «обзора деятельности» — —

«В разделе «*Сельское хозяйство*», главе, о *ветеринарии*, стр. 81.

«За истекший год в уезде эпизоотий не было. Были только отдельные вспышки сибирской язвы... С середины лета на лошадях в волостях, расположенных на берегу Оки и в других частях уезда, появился цереброспинальный менингит, от которого погибло около 60 лошадей... — — При появлении сибирской язвы в некоторых пунктах уезда ветеринарный персонал забил тревогу и сделал обследование во всех селениях скотских могильников. Оказалось, что в большинстве случаев эти могильники совершенно исчезли...»

«В главе о *животноводстве*, стр. 78:

«Общее мнение, что текущий год остановил вынужденное сокращение скота за отсутствием корма, вместе с тем прекратил падеж скота от бескормицы. Но и это не есть еще благополучие, ибо состав стада еще носит отпечаток тяжелых годов, и стаду требуется абсолютный ремонт с привлечением сильных производителей. При громадном сокращении размера скотоводства по всей Республике...»

— — очки, усики — —

— Вот еще, прочтите своими глазами, — да, забыл: на конских могильниках конские черепа валяются, знахарей излюбленное место. Простите, перебиваю себя. Да, вот:

«Раздел X, «*Дорожное дело*», стр. 132, — 1) Составлена подробная смета на ремонт уездных мостов и план работ; 2) Получение из центра денег и организация работ по ремонту шоссежных мостов; 3) Получено разрешение на заготовку леса для ремонта мостов проселочных дорог».

— Стиль-то, стиль-то какой!.. Да-да. Но это ведь и все о дорожном деле, больше ни строчки, даже на бумаге. А вот доктор Брушлинский пишет в книге «*Коломенский Уезд*», в статье о народном здравоохранении на странице 52-ой:

«...не следует забывать... — это наше бездорожье, безмостовье: в весеннюю и осеннюю распутицу целые районы бывают отрезаны от медицинских пунктов,

и населению волей-неволей приходится прибегать к бабкам, знахарям и т. п. из-за невозможности — —»
 — Опять знахари!.. Простите, я все отрываюсь... Простите, я помолчу, пусть цифры, циферки, цифирьки!.. хе-хе! —
 — — очки, усики — —

— Ну вот по здравоохранению, у нас тиф—национальная болезнь. Это вот те, что побывали в больницах,—что померли от знахарей — не в счет...

Количество болевших человек.	Тиф сыпной.	Возвратный.	Брюшной.	Итого болевших тифом.
1914 год	98	14	145	257
1920 »	3 732	1 212	417	5 361

— — очки, усики, книжища — —

— Да-да, забыл! Надо начать с количества населения. Климат, почвы, лесистость, орошение — опустим, — у нас человеческая революция. Коломенский, уезд, простите, несмотря на знахарей, — считается промышленным уездом, фабрично-заводским. Так вот — население. В 1917 г. было — сто сорок тысяч душ, в 1920 — сто двенадцать: — двадцать без малого процентов, простите, слизнулось. У нас уезд промышленный — жили люди в Коломне, на Коломзаводе, на Озерской мануфактуре. На Коломзаводе жило в семнадцатом году — двадцать две тысячи душ, а в двадцатом осталось — девять. Вот таблица, прочтите глазами: —

Наименование населенных пунктов.	1917 г.	1920 г.
Коломзавод	22 294	9 865
Коломна	20 732	11 022
Озеры	14 509	6 875
Всего	57 535 (100%)	27 765 (48%)

— — очки перевязаны ниточкой, подклеены сургучиком, — усики — —

— У нас... да-да!.. А вот в деревнях, где лешии, населения прибавилось: было восемьдесят три, стало восемьдесят пять тысяч душ... Да-да!.. у нас промышленный район, у нас революция рабочих, — у нас в семнадцатом году было за станками тридцать три тысячи рабочих, а в 1920-м — осталось — одиннадцать. На Коломзаводе работало пятнадцать, — осталось шесть, да-да... Мехартзавод в Бачманове имел четыре с половиной тысячи — осталось тысяча сто. В Озерах на фабрике Арацкого в 1914-м году было тысяча сто пятьдесят восемь людей — к двадцатому осталось сто восемнадцать, и фабрика стоит. Статистика — сухая наука, как немец, — в Коломенском уезде было 49 крупных предприятий, — действует из них (сказано, как) — 13, бездействует — 18, полуразрушены — 5, ликвидированы — 18. Из восьми бумаготкацких фабрик, где работало одиннадцать тысяч человек, к двадцатому году осталось — 2, с тысячью семистами рабочих. Было 5 шелкообраба-

гывающих фабрик, на них работали две тысячи двести человек, — к двадцатому году все фабрики стали. Из десяти цементных и кирпичных заводов, где работало тысяча восемьсот рабочих — 5 бездействуют, 3 полуразрушены. Химические два завода — ликвидированы... Да-да, извините, — так!.. В двадцатом году все обязаны были работать, все были прикреплены к заводам и фабрикам, — совершенно непонятно... Коломзавод — гигант, хрипит, дымит, потому что он стальной, тут все шутили, что он вырабатывает три вещи — паровозы типа Малет, зажигалки и лемехи для сох... Вот-с, посмотрите табличку, как работают заготовочные цеха...

— — очки, усики, зачಾದили лампадки — —

Г О Д Ы.	Покровка в пудах.	Чугунное литье в пуд.	Медное литье в пуд.	Стальное литье в пуд.
1913	532 021	400 838	27 705	417 016
1920	61 299	65 469	8 876	74 006

— — очки, усики, — зачಾದили лампадки — —

— Итого в девятьсот тринадцатом — миллион триста семьдесят семь тысяч пудов, а в 20-м — двести девять, — простите, какой это процентишко выйдет?.. — Да-да! Вот-вот, — извините, я все отвлекаюсь... Вот еще одна цифирка. Рабочих в рабочих, городских поселках — 57%, а совхозников — 17, — да-да, — вот по одному чиновнику на трех рабочих, многовато, — а в деревнях — два, две сотых процента, учителей, врачей, агрономов, членов исполкома, — маловато, да, очень маловато!.. революция была, конечно, городская, да-да, вот, знаете ли... Вот, знахарей никак не обойдешь, — и падут у нас Сохой Андревной, Бороною Ивановной боронят, на трех полях, по знахарьему, — у меня цифры: брон железных только четыре, шестьсотых процентишки, остальное мать береза... Вот конские могильники, прочитали мы, поисчезли, да-да, — но и пахотные земли тоже поисчезли: в восемьдесят седьмом году сеяли пятьдесят семь тысяч десятин, 100%, — в революцию народ назад на землю пошел, — в семнадцатом году засеяли двадцать шесть тысяч, 45%, — а в двадцатом: — еще тыщенку сбавили, только сорок три процентишки... Крестьянских хозяйств у нас семнадцать тысяч, — землю помещичью всю поделили, — а тысяча хозяйств и по сие время ходит безземельной, — безлошадных крестьянских хозяйств у нас — сорок без одного процентов, да!.. На одного крестьянского едока ржи приходится — восемь с половиною пудов, картохи — одиннадцать пудишек, гречи — двадцать фунтов!.. — хватит этого едоку, ну, хорошо, на полгода, а тут и обуться надо... Вы простите меня, я все отвлекаюсь... О знаньи, о знаньи заботиться надо, — а вот школы в городах и по селам — стекла вставить, крыши покрыть, полы перебрать, двери навесить, капитальный ремонт, — старые школы — пять-

десять из сотни надо чинить,—а тридцать два мужика из сотни, а пятьдесят три бабы из сотни — и по сейчас неграмотны, вместо фамилии крестики ставят, — и четверть наших в городах и деревнях мальчишек и девчонок, им бы учиться, в школу бегать, от одиннадцати до пятнадцати годишек, — нигде не учатся, негде им учиться, — бегают везде, кроме школы, либо без валеков, на печи лежат, — этак по уезду тысяч пять душ... Будут потом крестики ставить!.. Да-да, извините, задерживаюсь!.. Вот, прочтите, или вот еще: трактиров и гостиниц в Коломне было 37, постоянных дворов — 31, питейных заведений — 17, винных складов и ренсковых погребов — 11, магазинов и лавок — 447, — в двадцатом году: торговли — никакой, вместо торговли — мешечничество, вместо питей — самогон. На базарной площади от Екатерины ряды стоят, округ Кремля, — так и стоят мертвые; на площади рундуки, ларьки стояли — их на топливо растащили, остались ямы, — вот в «Обзоре» в отчете Коммухоза, в разделе IV «Благоустройство города», — прочтите:

«...5) Произведена частичная завалка ям на площади и очищен тротуар у бывш. Трехгорного завода» — — очки, усики, — и вдруг слышно стало, как осенний ветер зашарил по крыше, хлопнул калиткой, прошумел железом, лампы чадили мирно, — встала из кресла Марья Ивановна — добродетель, — чтобы оправить лампадки — —
— Простите, вот прочтите — вид торговли:

РСФСР

Жилищный Подъотдел
при
Отделе Городского Хо-
зяйства Коломенск.
Уисполкома Сов. Р. и К.
Деп.

Гражданину Вагаю (вместо Вогау).

К продаже двух кроватей железных, одного буфета, одного письменного стола, одного книжного шкапа, двух этажерок, шести венских ульев со стороны Жилищного Подъотдела препятствий не встречается.
Печать. За Заведующий Подъотделом — —
— — Секретарь

РСФСР

Отдел Здравоохранения
Коломенск. Уисполкома
Сов. Р. и К. Деп.

В Продовольственный Отдел.

Отдел Здравоохранения просит отпустить врачу Городской бывш. Земской Больницы М. А. Соколовой керасину на две горелки 10 и 14 лин. для Профессиональных работ.

Заведующий Отделом — —
Врач Бюро — —
Секретарь — —

— очки, усики, ветер над домом, лампадки —

И вот Иван Александрович бежит от «Книги Живота» — в темный угол к книгам, стал там в углу, ручки спрятал назад, откинул голову к книгам, замер, — замолчал. Тишина. Ветер. —

— Что же, говорите, Непомнящий, — это Лебедуха.

— Да-да, извините!.. Я, знаете ли, — с Россией, я за Россию, я — как Россия! Цифры — они тоже бескровные. Вы извините меня: на войны и революции Россия ответила — как я, цифрами, двадцатым годом, волгой, да-да, извините! Я понимаю, что говорит Дмитрий Юрьевич, да, правильно, да-да!.. Но, извините, Дмитрий Юрьевич как-то обмолеился, что из-под мышек ноги не растут, они растут откуда следует... Я за... за Россию!

— Ну, и что же делать? — это Лебедуха, хмуро.

Но Иван Александрович не ответил, — увидели: там, у книг вдруг задергался рот Ивана Александровича, оскಾಲились зубы, исчезли под поднятой губою усики, — *от книг смотрел волк*, — Иван Александрович упал на пол, под полку с книгами, в припадке падучей, забился, задергался, из рта пошла белая пена. И тогда, заслонив лампы, комнату, людей, — склонилась над Иваном Александровичем *всяческими своими качествами Марья Ивановна* — —

Люди вышли из дома Ивана Александровича Непомнящего — —

— — Ночь. Ничего не видно, ветер шарит, ворует, крадет. — Коломна легла во мраке, дожде, ветре... — —

...если душу инженера Форста уподобить жилету — его вязаному, теплomu, коричневому жилету, — то в самом главном кармане, рядом лежат: человек и труд, — Человек — с большой буквы, — который закинул свою мысль в междупланетные пространства, который построил дизель, — который разложил мир даже не на семьдесят два элемента по Менделееву, но разложил и азот, — который вкопал свою романтику во времена до Египта, до Ассирии, до Иудеи. — Кроме жилета у Форста была нерусская трубка, и — от нее лицо казалось — лицом морехода. Он говорил абсолютно правильно по-русски, академически правильно, как не говорят русские. — Он многое помнил за эти годы, которые были, как солдатская шинель. — Тогда, в октябре, когда национализировали завод, стреляли, выбирали завкомы, когда вся Россия стянула гашник и замерла — серыми октябрьскими днями — к победе, — он, инженер Форст, бегал по заводу и все доказывал, — что: — «пожалуйста, будьте добры, делайте все, что надо, как вы хотите, будьте любезны, но заводу нужно семьсот тысяч пудов нефти, а навигация закрывается: без нефти завод станет», — и он добывал и добыл нефть семьсот тысяч пудов, тогда в октябре, под пушки и пулеметный огонь. — Это будни. — Он помнит, как наступали белые

как шли поезда, волоклись люди и лошади, серые, как шинель, с пушками, повозками, обозами, винтовками, бомбами, — шли умирать геройствуя, но на заводе тогда шли — сплошные митинги и было такое — директор сидел у себя в кабинете, на заводе, над несуществующей производственной программой, около Форста всегда была бодрость, и в кабинете был бодрый зимний день, и в печке в тепле потрескивали полена, — и к нему прибежал секретарь завкома, красный точно с банного полка, — прибежал с митинга.

— Постановили, Гуго Оттович. Коммунисты.

— Что постановили?

— Постановили коммунисты: всем вооружаться, а придут белые, кого первых потребуют? — большевиков, — всех нас перевешают.

И Гуго Оттович ответил, как полководец:

— Не волнуйтесь, товарищ, — если придут белые, они вначале потребуют инженера. Я приду. Меня спросят: — «Как работает завод?» — и я отвечу: — «На моем заводе все отлично, завод работает прекрасно». И вас не будут вешать.

И председатель завкома сказал, сваливая гору:

— Ну, когда так, Гуго Оттович — Спасибо вам, Гуго Оттович, среди грязи нас не оставили —

Но и это будни. Инженер Форст любит вспоминать другое, — он знает, что в главном его жилетном кармане души лежат — человек и труд; он — не политик, инженер Форст, он помнит — —

— — конечно, машина больше бога строит мир, — но весь мир на крови, — и что кровь машины, — и кто такой пролетарий? — Надо пройти на завод через заводские ворота. Ты отрезан от мира забором, торчащим в тоску. И — вот где-то в турбинной, где динамо (на каждый десяток прошедших один гибнет, волей своей бросаясь в маховик, вращением своим манящий, гипнотизирующий, обезволивающий в смерть, как взгляд удава), — человек поворачивает рычаг, и весь завод вздрагивает и живет. И тот, кто поймет оторванность от цветов, и полей, и пахаря, кто почувствует сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, и победит волю в смерть под маховиком, кто — растворив — претворит это в себе, — тот: *пролетарий*. Этот, принесший в мир машину, которая стала сильнее его воли, — черный, в копоты, в масле, — если будет знать о звездочетах и алхимиках, поймет, что он их брат, ибо у машины, как у бога, нет крови — и машина победит мир, — только машина — —

Новые птицы новой политики, двадцать второй год, конец двадцать первого, — пришли в города, в Росчиславскую волость, на заводы, к коммунистам из сел — под жутким названием-определением *шапочного разбора*, складай, дескать, удочки! — Заводы останавливались, ибо не было топлива, сырья и спроса, завод заносило снегом. И это Форст гордился пленарным волостным съездом советов — —

Январь, мели метели, дни прибывали вырастали из ночей, Инженер Форст прошел мимо елочек, щеткой разметивших небо

спустился в овражек, карьером поднялся на холм к соснам — в поселок. Был мороз, день был ярок, светило солнце, бодрое и такое, точно оно в ледяных сосульках, в диком малиннике, в соснах кричали бодро синички. Воздух был бодр, черств, деловит, как инженер Форст. — В театре зашипел гул толпы, и первыми запахами, которые поразили инженера Форста, были запахи махорки и овчины. От махорки и овчины в театре казалось темно. Потом Форст разобрал козьи бороды, лошадиные хвосты, кроличьи курдючки — мужичьих бород, — треухи, папахи, шлыки, пиджаки, гимнастерки, полушубки — людей, мужиков, сидящих на полу и скамьях, стоящих в дверях и на окнах, сваленных, смятых грудой Руси. На сцене сидел президиум — член волисполкома. Член президиума говорил очень громко, и неуверенно, и бестолково:

— У нас теперь, товарищи, новая экономическая политика, — политика у нас теперь: — слышь, — *экономическая*. И правда, товарищи, на что нам мельницы и парикмахерские, а также квасные заводы?! — Пусть их обрабатывает предприниматель, — пушай разживается! Государство, товарищи, оставляет себе мощные заводы, а остальное отдает в аренду. Теперь будет аренда, а также хозяйственный расчет, товарищи, — то-есть... — —

Но тут докладчика перебили с места. Давно уже те большевики, что делали Октябрь девятьсот семнадцатого года, разложились на большевиков и коммунистов; и большевики отошли от революции. Зал съезда слушал докладчика напряженно и злобно, — и вскочил с места прежний, семнадцатого года, большевик, сдернул треух с головы, помотал им, оглядел собрание победно, мотнул козьей бородкой и заорал:

— И что же мы видим, гражданины?! — И выходит, гражданины, что приходится делать третью революцию! — И выходит, что опять хозяйственный расчет, то-есть гони монету хозяину! И политика теперь — *экономическая*, — стало-ть за все деньги, вроде как барские экономии, и — вы слышали, гражданины, что сказывают из президиума, — опять помещики будут сдавать землю в аренду!

Из президиума докладчик — перекричал:

— Помещиков — нету, про помещиков в газетах не писано, товарищи! Государство будет сдавать в аренду, а не помещики!

— Вот и говорю, — ответил треух, — и вот и говорю, гражданины, и надо третью революцию, и за помещиков стали коммунисты, — товарищи! И мы предлагаем резолюцию — —

Тогда заревел зал, задвигался, пополз, насел к рампе, поползли хвосты, козьи бороды, курдюки, лисьи, козьи, рыбыи глаза, треснула перегородка к музыкантам, слова полетели, как галки на пожаре:

«— Будя! — долой!

- Помещиков не желам!
- Долой хозяйский расчет!
- Долой барский экономии!» —

Из президиума председатель, треща звонком, орал:

— Товарищи, рабочие и крестьяне! Военный коммунизм кончился! Народная власть не может на штыках!.. Товарищи, рабочие и крестьяне! Вся власть ваша! Черти! давайте по порядку!

Кто-то провизжал:

— Штыкии!? Стрелять будитии??! — Пали!! Стреляй!— —

Вновь затрещали парты, полетели в воздух шапки, кулаки и матерщина.

Около Форста стоял мужичок, чахоточный и добрый, — он говорил тихо, ибо за гамом только и слышен был тихий разговор:

— Э-эх, Гуг-Отыч, и по правде выходить, надо по божьи, бязо всякой, то-есть значит, власти, кто как можить, зато как разум и совесть подсказывают, — бяз Москвы...

Инженер Форст никогда не был политиком — инженер Форст в главном кармане души своей носил память о машинах, труде и человеке — инженер Форст был попом при Молохе-машине — инженер Форст не подумал, что на съезде идет контр-революция — инженер Форст понял, что машина ломается, — только.

И тогда инженер Форст на трибуне — первый раз в жизни — ирландская его трубка в зубах, — и он говорит очень негромко, потому что только негромкая речь и слышна:

— Граждане, получаютя беспорядок и безделье. Граждане, вы не поняли сообщения докладывавшего. Позвольте дать мне разъяснение, при чем я прошу президиум в тех местах, где я буду расходиться с ним во взглядах и объяснениях, останавливать меня, — а стало быть, до тех пор, пока президиум меня не оставит, я буду говорить от его имени.

Толпа осела назад, рядами расправились бороды, глаза и овчины. — Обыкновенно люди не могут восстановить, как они говорят, — и Форст помнит, что он начал с азбучного, объяснял, что значит слова — политика, экономический, почему новая экономическая политика называется *новой*, чем она разнится от старой, он не говорил о шапошном разборе. Президиум повеселел, оправился. Толпа оформилась. Форсту казалось, что он говорит азбучные вещи, необходимые, чтобы спасти Россию, — но человеку со стороны было ясно, что он, Форст, говорил толковую коммунистическую речь, — и только: — это было потому, что пути Форста тогда сошлись с путями Лебе-духи.

Треух провopil с места:

— И вот, и так бы объясняли, — что значит ихая научность! А то — хозяйский расчет и аренда! — Правильно!

Толпа оцетинилась:

— Молчь!

— — и этот день Форст хорошо запомнил, — он наизусть запомнил резолюцию, — он помнил вечер, елочки и тот бодрый морозный воздух над снегами, кои были на обратном со съезда его пути. — Те дни были трудными днями. Форст жил и думал утрами — и еще по вечерам, за письменным столом, за книгами, в кабинете, — тогда нравились ему русские метели. Форст знал — труд. Но те дни были трудными днями — и всей России и русской власти. Форст искал людей, помощников, — и он знал, что на заводе есть только одни, кто поможет ему, у кого одна с ним воля — трудиться: — коммунисты. — А вечерами, если были метели, Форст вспоминал —

— что кровь машины? — Завод черен, завод в копоти, завод в саже, завод дымит небу. — Одно, одна машина, одна воля. Конечно, метафизика, — конечно, мистика, — и поп думает о том, как машина побеждает трудом мир. Поп понял оторванность от цветов, и полей, и пахаря, поп знает сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, — поп поборол волю в смерть под маховиком, —

— — ночь. Ничего не видно.

Ночью, в полночь Дмитрий Росчиславский идет лесом, во мраке, в дожде, в холоде! — в старой солдатской шинельке, рукав в рукав, всунув голову в воротник. Холодно. Нехорошо. Мрак. Шумит лес. Бродят по лесу волки. Скользят ноги в грязи. Тяжело итти. — В съездившемся человечке — мысли — о человеческом гении, о новой земле, о новом человеке, о новой человеческой культуре. Но он русский — и культуры у него нет, и он идет не домой. Он пройдет лесом, в мокроте, по глубочайшим колеям, от которых трещат ноги. В лесу будут нехорошо кричать совы, — так он пройдет до монастырской сторожки, и там в сторожке, на полу, на соломе его примет сестра Ольга, дикая, иступленная, сумасшедшая, злая, страстная и обнаженная в страсти, как скотина. Монахиня — старуха будет спать на печке. Просенок выбьется из закуты и будет обнюхивать лежащих на соломе. — Дмитрий Росчиславский прошел лес, прошел поле, спустился в овражек, к опушке, чтобы подняться вверх, — вышел на расчиславскую дорогу. Тут его повстречали двое, они шли, должно быть, своей дорогой. Они подошли к Росчиславскому вплотную, взгляделись в лицо.

— А, сука, все по нашим девкам шляешься? — почти мирно сказал Андрей Меринов.

Пронька, — казалось, нехотя — ударил Росчиславского по лицу дулом револьвера. Росчиславский качнулся, сел на землю, потом тихо повалился навзничь. Меринов и Пронька удивленно постояли, склонились над ним, Пронька потрогал Росчиславского, сказал удивленно и миролюбиво:

— Вот штука, кажись убил? А?

Так убили Дмитрия Юрьевича Росчиславского —

(— а через недели: ночь, мороз, зима. —

В тот год страшное было конокрадство. Мужики на ночь оставляли лошадей, треножа им ноги замком и цепями. — Метели не было. В поле, должно быть, мела поземка, — лес шумел сиротливо, нехорошо, — шипел. Комиссар артсклада раза два выходил слушать лесной шум, — это ведь он когда-то — на околице — слушал о разгильдяевских волках — тогда он понял одиночество, тоску, проклятье хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни вперемежку с волками. — Метели не было, лес шумел.

Монахиня Ольга в полночь была в бане, молилась неистово. Из бани она вышла уже далеко за полночь, к петухам. Калитка к скотине была открыта, на снегу четко отпечатались грязные коровьи следы, — монахиня Ольга пошла к коровнику, замок был сломан, — и на монахиню Ольга напало неистовство: остервенела, закричала, завизжала, разбудила всех, задубасила в окна, — побежала к комиссару арткладбища, схватила у него винтовку и горсть кассет. Косарев был пьян, он взял на себя командование, крикнул на Ольгу, чтоб молчала. Совещались на дворе. Анархист Семен Иванович, в подштанниках и валенках, был без маузера, — маузера давно уже не было у него. Косарев дал ему и Андрею винтовки. Косарев и Ольга с винтовками пошли по следам коровы, чтоб проследить. На арткладбище закладывали лошадь. И корову скоро нашли — она была привязана неподалеку от дороги к дереву, в вражке, где была дамба, плотнящая озеро. Решили засесть здесь, чтоб выследить, когда придут за коровой. Засели за дерево, на взгорке, и очень скоро к лесному шуму примешался скрип саней. По пути к монастырю выехали санки с двоими, проехали дамбу. Ольга не выждала, — прицелившись с колена, выстрелила по саням и охнула. Лошадь остановилась. Тогда Ольга выстрелила еще. Косарев обругал по матерному Ольгу и выстрелил сам. Тогда сани, круто взметнув лошадь на дыбы, повернулись обратно, помчались карьером, назад, на-перерез побежали Семен Иванович и Андрей, — с саней bestолоково выстрелили из револьвера, и Андрей упал. Но на дамбе был поворот и раскат, сани занесло, сани, людей и лошадь сорвало под отвес, лошадь побилась, побила ногами и упала на сани. Косарев и Ольга побежали к саням — от дамбы, бросив лошадь, тоже побежали, убегая, стрельнули два раза из револьвера.

Началось преследование. Так бежали шагах в трехстах друг от друга — до опушки. —

Опустилось так, что в это время в лес собрался мужичок из соседней деревни, поворовать дров: бегущие впереди встретили мужика у опушки, мужика из саней выкинули, лошадь повернули, помчали на ней — по полю. К Косареву и Ольге пристал мужик с топором, потерявший лошадь, — побежали втроем, стали отставать. В монастыре услышали стрельбу, артскладская лошадь приехала на выстрелы. Косарев, Ольга и мужик погнали на лошади: по свежим следам на поземке узнавали путь убегающих. —

Из Горской волости ехал в уездный исполком — на легких санках, на полукровке — предволисполком Штукин: убегающие выкинули его из саней, кинули мужикову лошадь, помчали; предволисполком закурил, поразмышлял, сел на мужикову лошадь и поехал своей дорогой; сейчас же встретили его преследующие: озверевший мужик, узнавший свою лошадь, бросился на него с топором, тот едва спасся. От монастыря примчали двое верхами — один на той лошади, которая свалилась с дамбы. Перепрягли всех лошадей, погнали верхом — Ольга, Косарев, мужик и предволисполком. Гнали версты четыре до нового леса, и тут нашли брошенную запаленную полукровку: убегающие, должно быть, минуты три назад, бросили лошадь и ушли в лес, без дороги. Погонщики побежали по следам. Лес был всего шагов в триста, — там под обрывом протекала Ока, за Окой было Расчислово. Двое — убежавших — были внизу, на льду. Они что-то кричали неистово. Ольга присела, выстрелила с колена, раз, два, три, —

и один из бегущих упал, крик на льду смолк, — тогда завизжала, завопила, — ура-а-а! — монахиня Ольга.

На льду, лицом к небу, лежал продовольтственный инспектор Герц. Около него возились — его товарищ Латрыгин, Косарев, мужик с топором. Выяснилось, что Герц и Латрыгин — охотники Степан и Павел — ехали в монастырь к матери Ольге — провести весело ночь. — И как тогда ночью в гостинном доме, Ольга — черной кошкой — здесь на льду — склонилась над Герцем — —

— Помнила ли она Герца тогда в первую метель, в 1917 г., в октябре, в Москве?) — —

— — ночь. Ничего не видно. Ветер шарит, ворует, крадет. — Форст и Лебедуха идут рядом, вместе, во мраке, по лужам, прошли мимо развалины кремля, вышли бульжинами мостовых к развалинам артиллерийских казарм, — оттуда вдалеке вспыхнули огни Коломзавода, — пошли к огням, полем, огороженным колючей проволокой, как указал отдел «благоустройства города».

— Что же — Россия? — говорит Лебедуха.

Форст ответил не сразу:

— Нам с вами по пути, Андрей Кузьмич.

— Да?

— Только труд, только накопление ценностей спасут Россию, — те ценности, которые консолидированы трудом и машиной! — Россия? — В семнадцатом веке фактической границей Московского государства была Московская губерния, Помосковье, Поочье. Полагаю, и теперь так же. Дальше идет страна дикарей. В России сейчас есть только две силы — обыватель и коммунист. Кто победит? — Ясно, если победит обыватель, — Россия погибла. Но пришел НЭП. НЭП не есть ни коммунист, ни обыватель: НЭП есть реальный учет, НЭП есть то, когда государство поняло, что ноги не могут расти из-под мышек, как говорит Росчиславский. НЭП есть будни, НЭП победил романтику пролетария, оставив ее ласточкой — миру. Кто из двух сил — коммунист или обыватель — возьмет НЭП, возьмет — Россию? Россия попрежнему безграмотна и голодает. Каков приход — таков и поп, — власть в России страшна — властвовать в России страшно. Но это — в вертикальном разрезе; в моментальной фотографии: в моментальной фотографии нет картины более ужасной, чем Россия. Но Россия живет — ни настоящим, ни прошлым — Россия живет будущим. Стало быть...

— Да?

— Только труд, только накопление ценностей спасут Россию; надо, чтобы Россия была грамотной и сытой. Все остальное — пустышки.

— Ну, а ты, Гуго Оттович?

— Я? Мне — не с обывателем итти, — мне надо трудиться. Я делал все, что мог. Я останусь здесь, на заводе, работать. Сначала завод работал на нефти, потом мы пустили его на подмосковном угле, потом — на дровах, — теперь с весны он пойдет на торфу, — я применяю вращающиеся печи. — Ну, а вы, Андрей Кузьмич?

— Я? — Лебедуха ответил не сразу. — Ты правильно сказал: — из-под мышек ноги не вырастут. Но — и правд очень много, для каждого человека — своя, — из правд надо искать объективную правду. История — с нами, и власть у нас не цель, а средство. Власть — страшная сила. — Я? — я, кроме России, знаю еще — мир, пролетариев всех стран, попов и прислужников машины, как ты говоришь... Вон, ты говоришь, мы — второе, и научиться делать хлеб на заводе важнее, чем научиться делать революции. Что же, ляжем навозом хлебу с заводов. Для земного шара человек — даже не вошь...

Ночь. Мрак. — Только впереди огни завода. Двое идут вместе. И сзади к этим двоим подходит третий — Человек.

— Мне тоже по пути с вами, — говорит он — —

(Утром, когда погоня за Герцем вернулась к монастырю, и хватились коровы, — коровы не нашли: в лесу, на березке моталась веревка, кругом были кости, лежал череп рогами вниз. Корову задрали волки—)

...И идет рассвет. Ночь проходит. Рассвет идет серый и набухший, как парус на окском дощанике. Ока—просторы—пустынны, пусты, холодны. Одинокая прокричала в рассвете чайка. Волны, вода — серы, холодны. Пароход стоит под горой, у Щурова. И тогда с горы спускается автомобиль, черный и неуверенный на сером щебне, как жук-навозник, — и пароход оживает, шипит в воду белый пар, белый парок появляется у трубы, и пароход дерет свое нутро ревом, точно хочет разорваться, черные клубы дыма рвутся из трубы — в ветер, чтобы быть сейчас же разметанными. На конторке опять комиссары, капитан на мостике. — И тогда от тюков в рогоже идет поспешно женщина.

— Умоляю, — говорит она, — мне надо сказать два слова...

И в стороне от людей она говорит поспешно:

— Я — Осколкова, жена врача. Я не могу больше! Возьмите меня с собой!.. Куда угодно, только отсюда!..

Пароход гудит вновь. Командует капитан.

— Отдай носовую-у! — Средний!

Пароход отшвахтовывается, отворачивается от берега, идет вперед, вон из пустынь. Шипит вода, пароход идет в плеск воды, в речной холод. Подлинности подлинное, на сотни верст вымороженные села, волости и веси, уставшие, изгоревшие в бурьянах, мертвых путях, — позади. — Осколкова на палубе, в ветре, на носу. — Поздно уже, осень. Налево — горы, направо — пустые луга, уходящие в муть, сливающиеся с небом. Пароход идет упорно. И утро упорно и серо, как набухший в ветре и мокрый от дождя серый парус дощаника. — —

Назад. В Москву?

— В Москву — в Москву! —

...Лет за десять до революции, декаблями, в переулках, кричали торговцы:

— Рязань, рязань-яблокооо! —

Слова мне — как монета нумизмату. Рязань-яблоко! — в декаблях, когда дни коротки и каждый день — как дом в переулочке, с печным огнем и длинным вечером у книг, — приносили антоновские яблоки, замороженные до костей и морозящие до лопаток, в яблоках тонкими иглами сверкали льдинки, яблоки казались *гнилыми* — и пахнули таким старым и крепким вином! — Там, в декаблях, — далеко от лета: и яблоки в декабре казались гнилыми, их серашно было коснуться! — и яблоки пахли древностями. —

Впрочем, не только в Рязани есть Казанская божия мать и Спас-на-кладбище: в Москве на Лубянке — Гребенская божия мать — и на Арбате — Успенье-на-могильцах, церкви поставлены богу, звонницы смотрят в небо, к небу звонят, — и так же пришел иной век, и купцы ставили пудовые свечи и говорили: «Извините, бог, конечно, един и первый, но экономическая необходимость — вынуждают-с, касательно того, чтобы застроить, конечно, небоскребами!» — и ставили небоскребы, заслонявшие небо от церкви, зажавшие церкви в переулочки, — прекраснейшие церкви, памятники мистики, старины и культуры. — Рязань — яблоко! —

— Тра-трак-трак-тра! — автомобилья поступь.

Стар тракт Астраханский.

Рязанские земли — зарайские (у Христа за раем) прожрали зимы картошкой — Двадцать первый год рассказал о голоде — Голод. Не нашим большакам рассказывать о голоде, нужде и зное. Там, в хлебородной, в каком-нибудь Нурлате или Курдюме или в Курячих каких-нибудь Титьках — все погорело в тот год, до-тла. Мужуку нашему, как дикарь, — сла-вяни-ну! — решать, бегать, решать: не впервой, чай, ходить по земле, кочевать, бегать, решать день, решать два, — всю жизнь гнувшему спину — без дела ходить, трогать землю, в небо смотреть, в степь смотреть, в избе на конике часами сидеть перед миской с коровьим пометом, — и решать, решиться, решить,

— Надоть... ехать... жена, — жене впервые сказать *жена*: а не сволочь, не сука, без зуботычины.

Сваливать в *беду* все имущество — два одевала, перину, икону, топор, — в день, перерезать, продать, променять — корову, теленка, овцу: — день работать, шею ломать, как всегда, как всю жизнь. А к вечеру (обязательно в ночь надо выехать!) — зайти *последний* раз в избу, взглянуть, как десятки лет, в красный угол — в пустой угол, не перекреститься даже, ибо угол пуст, — хлопнуть в раздумьи кнутовищем себя по колену. —

— Ну, что же... трогай, жена!.. — и самому итти рядом, тысячи верст, до могилы... —

Тысячи верст! не впервые нам —тысячам—растворяться в тысячах путин и верст.

Ша-ша! — Ночь! — Рязань-яблоко — вино дорог, где зной, как ж и пыль, как и.

(...Мое имя — Борис. В Москве, на Поварской, я играл в шахматы с итальянским художником, — и он спросил меня: — мое имя — Борис — не в честь ли русских разбойников? — «Каких разбойников?» — спросил я. — «У вас, у русских, был период истории, когда — по русски княжили, кажется? — разбойники — Ярославы, Олеги, Ярополки, Борисы, Игоря». — Первому Риму — Третий Рим: история каторжников. Как же понять им — Рязань-яблоко!?) — —

...Над Окою — небо. Под холмом — поемы. Холмы же в рывинах, камнях и курганах, не то каменоломня, не то истине — город-Ростиславль. Кто знает? — как в тысячелетье нашего трехполья — каждый год овсы заменяют гречи, потом идет пар и на пару сеют озимые, а за озимыми вновь овсы, так каждое столетье пересеваются леса: столетье шумит морем и плавится смолою сосновый лес, под ним растет чахлая елка, и еловые пилы столетьем чертят небо, осилив сосну, — и тогда возрастает береза, белая, наша, как девицы в семик, плетет венки, — и за березой идет пар земле, на столетье. — Над Окою небо и пары, холмы лысы, лишь под обрывами сосны. Над землею июль, пьяная маята мая прошла. И страшен — и странный — в тот двадцать первый год был июль, — ибо, как к сентябрю, опустели в голоде поля, ограбленные человеком, и кучами — по - осеннему — собирались на пажитях грачи — в днях, как сентябрьский хрусталь, — но ведь спутали люди недели старыми и новыми числами, — и июль, как июнь тушил дни и сжигал ночи долгими *июньскими* зорями, когда надо обнять мир — и весь мир впереди.

Вот — там — был — город-Ростиславль: так зову его я. В книгах об этом я не читал. Соврали мне о городе Ростиславле или не соврали! — что вот там был город Ростиславль еще тогда, когда не было ни Таруссы, ни Каширы, ни Коломны, — там стоял город, сторожил Поочье, — и сидели в нем Ростиславичи. Больше я ничего не знаю об этом, город был огорожен оградами стен и надолб, — можно строить новый Китеж, ибо история — не наука мне, но поэма.

Я же сидел в Коломне, в Гончарах, у Николы-на-Посадях, в избе о пяти окнах, в комнате с книгами, за столом против окна, откуда был виден Никола, в котором молился Дмитрий Донской перед Куликовым полем, — две сквозных нищих решетки за окном и дом, как гроб — домовина. Солнце и луна, которые ходят по небу, как само небо, как луга за Москвой-рекой, что видны слева, — в дыму были, ибо кругом горели леса —

в зное, в удушьи. Там, за Москвой-рекой, в Бобренева, мужики ели конятник, такую траву, которую не едят лошади, — потому что у крестьян не было хлеба, но были луга. На столе у меня — почему-то — были рулетка, которой меряют, собачий череп и словари — русско-французский, русско-немецкий и Даль, который я купил на базаре у бабы за гроши, ибо бумага в нем не годна для сигарок. — Никола — был моим Ростиславлем: оттуда я ездил грабить — себя ли, Россию ли? — и себя, и Россию.

Лето тысяча девятьсот двадцать первого года, пятый год революции, было в пожарах, в зное. По суходолам в курганах выкапывают иной раз каменных баб во мхах, — нам, художникам, эти бабы — прекрасная красота; — но если поползти мельчайшему насекомому по груди каменной бабы, от груди к шее: — грудь бабы — путь насекомого — не будет ли весь в рывинах и ухабах, в зное камня, в удушьи мхов, в томленьи, поте, в пустыне? — Надо стать в рост каменной бабы, чтобы увидеть, что она — прекрасная красота, — и — тогда преклониться пред ней, как кланялась мурома, мещера и вся. Но ведь и каменная эта баба, из раскопок — красота прекрасная! — и не знает того, не заметит ползущего, — хотя, впрочем, насекомое будет знать путь мхов и рывин. — Кто станет в рост тысяча девятьсот двадцать первого года? Девятьсот девятнадцатый, обнаженный и голый, канул в историю, — приходил двадцать второй — —

Я художник, мне все — все равно. Я перебираю слова — Росчиславль, Тарусса, Кашира, Коломна, Гончары, Никола-на-Посадыях: старые слова мне, как монета нумизмату. Нумизматика слов — история. Если же повторять одно слово — Коломна, положим, — то это будет уже не город с историей в тысячелетье, с кремлем, с монастырями и нищими, на Астраханском тракте, — смысл слова утеряется, выветрится его содержание, — и останется только смысл звуков слова: Коломна — что-то такое, круглое, белое, облое, — совнарком — что-то такое крепкое, ночное, свиное, — а гувуз — крик лешего — —

...Московский Кремль сед, во мхах. На Спасских воротах часы бьют интернационалом — — чтобы пройти в Кремль в лето тысяча девятьсот двадцать первое — —

...Но ведь я же ходил в город Росчиславль: там его зовут Расчислов. Небо над холмами, под холмом поемы, луга, Ока, леса за Окою, — древне, как тысячелетье, кругом. Нету города Ростиславля — и есть погост Расчислов, — и нету Расчисловых гор, потому что они выдуманы мною: в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году поставили новую церковь, тогда подрядчик перехитрил церковного старосту, — или оба сжульничали мужичьими пятаками, — съели церковь, по-современному выстроили из известняка церковную кордегардию. И все же на церкви надпись: — о том, что церковь сия поставлена на месте,

где был некогда город Ростиславль, — город же Ростиславль построен был князем рязанским Ярославом в 1153 г., одновременно с городом Зарайском, для сына Ростислава. Это же, о том, что город Ростиславль в 1153 году построен был, — рассказывает и попик. Попик рассказывает, как и погиб город: — в смутное время Иван Заруцкий с Мариною Мнишек и с Ивашкой-Воренком — подступили к городу, переправились чегез Оку вон там, пониже (так и зовется с тех пор это место *Пристань*), — спалили, разграбили, расчистили город до-тла (так и зовется с тех пор город, — не город-Ростиславль, а *Расчислов*). Иван Заруцкий от Ростиславля хотел итти на Зарайск, но про то пронюхали мужики (так и зовется село *Пронюхов*), — князь Зарайский вышел навстречу, дал сражение, — дрэлись в те времена сикирами — так и осталась деревня *Сикирина!* — Вот и все о городе. В рязанских «Эпархиальных Ведомостях» писалось еще, что в городе Ростиславле собирались князья — тульские, рязанские, суздальские, — чтобы ходить бить *мордву* и *мещеру*. Вот и все о городе Ростиславле, — да и это, должно быть, все наврано!

И еще. В восьмидесятых годах какая-то княгиня — на памяти у стариков, но не помнят уже имени! — черная была, в черном, и с глазами, как угли — выгнала с погоста священника, задумала устроить монастырь, набрала скитниц, выискала заштатного попа, посылала сыновьям конногвардейцам по пяти тысяч, епископ рязанский Мелетий собутыльничал с ней, бумаги у нее были — царские. *Выселять* ее приезжал — вицегубернатор!

Вот и все.

Вот и все.

Город Расчи-слов. Город — корень слова: городить. И в тот год — — многое говорили! — — В тысяча пятьсот девяносто третьем году, пятнадцатого мая, когда убивали в Угличе царевича Дмитрия, ударили в Угличе в колокол. Ударивших в колокол Борис Годунов сослал в Пелым. Колокол же — казнил: отрубил ему ухо и, корноухого, сослал его в Сибирь. На колоколе надпись: «прислан из города Углича в Сибирьъ взсылку въ градъ Тоболскъ къ церкви Семилостиваго Спаса, что на торгу а потомъ на Софійской колокольнѣ былъ часобитный». В Революцию колокол возвращен в Углич, на прежнюю колокольню.

Был или не был город Ростиславль? — об этом я не читал в книгах. Коломна, Кашира, Тарусса — если повторять слово много раз, выветрится содержание и придет новый смысл — звука слова. Го-род Рос-чи-славль. Слова мне — как монета нумизмату. Нумизматика слов — история.

Рязань-баба!

Рязань-яблоко!

Мое имя — Борис, мне сказали, что имя это — разбойничье. Тот же шоффер, Пугин, что ли, что

украл сам у себя половину овцы, — назвал своего сына — *Мотором*.

...А о Зарайске есть рассказ, как у Чехова об икре. Приезжала в город Зарайск, охотиться по чернотропу на волков, лет за тридцать до революции, рязанская губернаторша. Проезжала по улице города Зарайска, — увидел ее в окно местный миллионер, не то Дроздов, не то Букшанов, не то Голенищин, старик лет семидесяти. Губернаторша проехала в дом капитана-исправника. Букшанов сел за стол, взял перо и написал:

«Ваше превосходительство и всемилостивейшая госпожа!
«Будучи старцемъ преклонного возраста, прельстился Вашими прелестями. Не имѣя уже возможности согрѣшить, обращаюсь къ Вамъ съ моленіемъ дозволить взглянуть на Ваши прелести однимъ глазкомъ и за это обязуюсь внести въ любое указанное Вами благотворительное учреждение 100 тысячъ — рублей золотом.

«Вашего Превосходительства и Всемилостивѣйшей Госпожи покорный рабъ остаюсь в ожидании».—

Заклеил письмо, надписал адрес, сказал сыну своему, человеку лет сорока пяти:

— Авдюшка, отнесешь! —

Тот понес. Того на конюшне капитана-исправника, по приказу губернаторши, выпороли. Губернаторша расстроилась, заплакала, укатила сейчас же в Рязань, так что мужики, согнанные с трех деревень на облаву гонять волков, три дня прождали в лесу без толку, не получив обещанного на водку. Потом был суд в губернии: не нашли, какую б применить статью тем паче, что губернаторша суду письмо показать отказалась наотрез из-за стыдливости, — оправдали. — Но дело не в этом, дело в том, что губернаторша, вызвав Букшанова в Рязань, приходила к нему в номера, келейно, конечно, и старец осматривал ее прелести сквозь щель в стене, специально для этого сделанную, — и приходила губернаторша не потому, что крестьяне, те, что не дождались ее на облаве, прознав почему не состоялась облава, писали ей прошение, чтоб уважила просьбу Букшанова в их пользу, в виду извечной их задолженности оному Букшанову, — труды по взносу ста тысяч в благотворительное учреждение губернаторша взяла на себя, и вскоре слышно было, что губернаторша сбежала от мужа с репетитором-студентом в город Ниццу. — А волки и мужики остались в положении своем первоначальном. . . —

ЧАСТЬ КНИГИ ПОСЛЕДНЯЯ, БЕЗ НАЗВАНИЙ.

...Каждую ночь по-октябрьски выковывались звезды, и мороз, колкий, как звезды, сковывал лужицы улиц и воду на реке там, где близко к берегу стояли баржи. Ночи были черны, и они приходили мраком, точно мрак разводили, как разводят чернила в чернильницах, — так же приходили и рассветы, только рассветами в бочки мрака наливали мутную воду дней. И день и ночь горели всеми забытые фонари на улицах; заводы: или молчали, или неистовствовали, буксуя, брошенные рабочими. Иногда на перекрестках, у выжатых морозом луж, заметал снежок, наивный такой, от которого весело и думается о благодатной зиме. — Тогда, в октябре, в 1917 году, в Москве, — было очень тихо, как в деревне за выгоном вечерними сумерками, когда даже гаечки и синички стихли в серости дня, а мужики кончили молотить и пошли к избам, и избы захворали трахомой керосиновых лампенок. И так же, как деревенская улица, была пустынна Москва, и в память лезли сорванные водосточные трубы, сваленные трамвайные столбы и автомобили. Только изредка слышны были пулеметные чечотки, ружейные залпы, — выстрелы же из пушек были миролюбивы и нестрашны, как нестрашно — и очень похоже — когда ремнем бьют на стенах мух. И только вот эти бочки разведенных сумерками чернил, сумерки, похожие на рабочие мастеровские куртки и на их быт в заводских казармах, говорили, что Москва — заводский город и здесь творятся стихии. И очень многие тогда ночами лазили на крыши, чтоб подышать морозцем, похрабриться и посмотреть на столб огня в небе, идущий от Никитских ворот: там на крышах даже перекликались с крыши на крышу.

Москва — тоже портовый город: у Садовников на Москверекре, на канале, там стоят баржи и пароходы, и дощаники, и на баржах, как на всех русских реках, на мачтах горит фонарь (и под баржей в воде этот же горит фонарь), а у избы посреди баржи поет тоскливо, про разбойников, ветлужский мужик, — а в октябрьские эти заморозы между барж, у дощаников, воз-

никает тонкий ледок, колкий как звезды; там, на баржах и около них, пахнет варом, потом, опорками и солью, как на всех баржах...

Тогда, в те дни, к Москве шел, как многие поезда, поезд с полуротой солдат, с винтовками и бомбами. Он пришел к вокзалу в часы, когда лились на землю бочки мрака и медом светили забытые фонари. Люди ждали, что они услышат вой и гуд, и гул небывалой битвы, — Москва встретила морозцем, тишиной и снежком у медовых фонарей на перекрестках. А потом снежок стих, и небо заковалось звездами, колкими, как лед. Полурота выгрузилась на товарном вокзале, и ее сейчас же арестовали, разоружили, распустили солдат без винтовок. Тогда солдаты этой полуроты поодиночке стали собираться к коменданту, — их собралось десятка полтора, — они говорили о пустяках. И один спокойно сказал:

— Сымай револьвер, товарищ-комендант! Где ключи от цейхгауза? Степан, стань к телефону...

Коменданта убили его же револьвером в его камере, он долго лежал на цементном полу, руки назад и лицо в луже крови. Вокзал был пуст, во мраке и в семечках под фонарями, под фонарями же висели воззвания и приказы:

— «Вся власть Советам!» — «Да здравствует Учредительное Собрание!» — «...дабы они имели возможность получать хлеб, не стоя в городе в очередях, — Сов. Солд. Деп...» — «Викжель нейтрален!»

— и сбоку карандашом:

«Митька Пугин вор!..»

У коменданта, у того, что лежал в крови, в кармане на веревочке была печать, и в столе солдаты нашли ключи от цейхгауза. Кое-где на скамьях спали часовые, на подсолнечной шелухе. Полурота вооружилась из цейхгауза, сняла посты, заняла неработающие телефоны и вышла в октябрьские бочки мрака, на пустую улицу к ветру, юркому, как плохие разведчики на фронте, к огромному плакату в ветре и меде фонарей —

«Вся власть Советам!» — Напротив вокзала у пустой пекарни уже становилась на ночь очередь старух за хлебом и для сплетен, для черного жужжания о гибели России, для шопота по подворотням.

Полурота в строю пошла к городу, глухими переулками. Вдалеке стреляли, отбивал чечотку пулемет, и поэтому кругом в дегтях ночи было могильно-тихо. На перекрестке крикнули из темноты.

— Кто идет?

Ответили:

— Свои!

Тогда из подворотни вышли двое, и этих двоих убили штывками. Так — смертью — шли до новой заставы, менялись: — «Кто идет?» — «Свои!» — убивали быстро и бесшумно. На

мосту, у реки, у большой улицы стоял пулемет, и издалека еще крикнули:

— Стоой!

Пулеметы собирались стрелять. Опять сказали *свои*, и один — офицер Герц — солдатом — на смерть — пошел к пулеметам, чтобы его провели в штаб «за инструкциями»: свою смертью он давал время пройти остальным, — его повели переулками, провели проходными дворами; в доме, в махорке и огрызках хлеба, в грязи и тесноте, на полу и на столах спали, под лампой спорили, из окна было видно зарево над Никитскими воротами. Конвоир пошел к комиссару, ходил долго, но когда пришли обратно, того, кого привели, уже не было: он никуда не ушел, его не нашли просто потому, что никто не догадался порыться среди спящих, а он, дожидаясь, уже неделю не спавший, свалился на свои собственные ноги и уснул вместе с десятком спавших.

А те, та полурота, что осталась под пулеметами, сначала грелась у костра, а потом, потому что тогда, в те дни, в Москве надо было быть *честным* всей честью каждого и нации вкуче, — те, опять одиночками, ушли в переулки, вновь построились, теперь цепью, и пошли. Они вышли на набережную. Вода за гранитом была безмолвна, огоньки мачт были огнями в воде, здесь никто не стрелял, — гирляндой ложек меда в бочках дегтя горели набережные фонари. И тогда полурота услышала, как во мраке, на барже, запели о том, что с Нижня-Новгорода собирался стружок, сорок два гребца — старинную песню о волжских просторах и буйях, о всей прежней России, защемленной, щемящей, щемимой. Полурота остановилась, никто не знал этой набережной, никто не нашел бы ее поутру, — молчали. Один, бывший на Волге, пополз под гранит посмотреть, нет ли каната, которым причалена к берегу баржа. Другой крикнул, как кричат, дразнясь, на ветлужских:

— Ягор, — подай багор!

Песнь на барже стихла, оттуда крикнули с напускной строгостью:

— Эя! Кто там озоруя? — кто канат воруюя?

Долго была тишина, и тогда — один за одним — полурота полезла по канату на баржу. Было безмолвно, только иногда всхристывал лед, когда приклады винтовок, свисая со спин ползущих, чертили по нему. Баржа была темная, загружена дровами и бревнами, у избы горел на жаровне костер, сидели двое — мужик лет сорока, бородатый, как Муромец, и старушонка в черном. Варили похлебку в котелке. Мужик не удивился, когда сразу вокруг него появился десяток солдат.

— Ночь-то какая, — сказал он, — все слушаем, все палят и палят, прямо Куликова битва! Садитесь, погрейтесь, — здесь у нас вы первые гости, все забыли, хозяина второй месяц жду, убег, — на зимовку стали... Мы про учредительное собра-

ние толкуем со старухой, — она бумагу, говорит, положит за господа нашего Иисуса Христа, по божьему списку, значит. Дров и воды — у меня сколько угодно, а насчет прочего — не обессудьте...

Солдаты остались здесь до рассвета, расстлали шинели, грели воду, ели и спали. Соль звезд к рассвету сменилась лыком облаков, повалил снежок, ветер заскреб когтями, более крепкими, чем у сапожника, почесывал белой вьюжкой изморозки. Солдаты спали, шинели примерзали к винтовкам там, где дышали солдаты. И всю ночь у костра со стариком (старушонка, кроме бога, ничего не знала, толковала: — «Николая отменили, бога отменяют, — что же осталось?..») толковали солдаты о земле — о *земле*, о суглинке, о супесях, о черноземе, о лесах и болотах, и было совершенно ясно, что земля окончательно не реальность, а некая метафизическая вещь, — и что эта нереальность огромная, мшивая, болотно-лешачья, страшная, старая стократ более, чем старушонка с богом, христа-ради попавшая на баржу — *эта нереальность своей собственной персоной припозаловала на баржу* послушать спор о самой себе; все это было потому, что спорили не о «наделах», не о «долях», не о «клинках», — а о силе земной, о правде земной, о горе земном, о русской земляной душе; и госпожа земля — или бабища — с такими всяческими качествами и буераками, и окружностями, что в ней можно было найти «попову собаку», с сестрами-трясовицами в болотах подмышек — так степенно расселась на барже, всех придавила всякими своими правдами, и из-под нее торчали: и костришко на железном листе, и котелок, и свет от костра, и солдатские шинели в винтовках; бабища села задом ко Кремлю, видному вдаль за медами фонарей, — *лицо бабищи было здесь, у костра, оно было очень довольное, дремучее, в бородавках, в слизлых морщинах, губа на губу, полузакрытые глаза в довольстве, из носа и изо рта сопли и слюни*, — и пахнула бабища всеми земными потами. Солдаты хотели причесать эту бабу, они шли за нее умирать; и вдруг бабища странно ошетибилась, *у нее вырос волчий рот*, — как у волков, когда они злятся, бока губ поднялись, оттуда выглянули белые волчьи зубы и черные десны, — глаза стали желты и остры по-волчьи, — и бабища лязгнула зубами — впрочем, многие солдаты спали с винтовками в руках, примерзая к винтовкам, вмерзая в шинели, в этих октябрьских дегтях. Рассвет стал черпать из Москвы-реки воду, чтоб разводить чернила ночи на дневную муть.

И на рассвете солдаты ушли умирать. На дощаниках, тех, что всегда привязаны к корме у баржи, вмерзших за ночь в ледок, колкий как звезды, солдаты — полурота — переправились на другой берег. И там они пошли умирать, — за землю, — потому что тогда надо было быть *честным всей честью каждого и нации вкуче, и честь понималась смертью — своей и чужой*. Днем

полурота была в честном бою; от ворот к воротам, от переулка к переулку, она шла вперед, убивая и умирая. Потом она вышла на площадь, — и там, — как в деревенских русских городишках, ветер в июле, взметая пыль, несет куриный хвост, бумажку, ветошь, коробку от сардинок, петушиный крик в обиду на куриный хвост, унесшийся по ветру от петуховой страсти, — так там на площади пулемет разбросал солдатские подсумки, котелки, винтовки, куски шинелей. Но был не июль, а октябрь, — и в тот день выпадал первый снег, ветер скреб когтями более крепкими, чем у хорошего сапожника, хотя ногти у сапожника должны быть крепкими по его ремеслу, чтоб ногтем проминать и отмеривать кожу, — и сумерки готовились лить бочки чернил, сумерки, похожие на рабочие мастеровские куртки и на их быт в заводских казармах, утверждавших, что Москва — рабочий, заводский город и здесь могут твориться людские стихи...

Тот, — офицер Герц — что ушел умирать в штаб, заснул там и остался жив, — никогда больше не встречал своих товарищей по полуроте. Он проснулся утром, в дыму махорки и пороховой копоти, из ряда тех, что спали на полу, так же свалившихся в переутомлении, как он. И вместе со всеми он вышел на улицы, вместе со всеми шел переулками и в руках у него — *против его воли — была винтовка, чтобы убивать, чтобы он понял, что убивать нельзя.* И весь день он бродил, как бродят после боя на полях потерянные, потерявшие хозяина-товарища, лошади. Ночью он застрял на заводе, первый и последний раз; в котельном у стухающих печей спали и бодрствовали рабочие; вагончики для угля были опрокинуты, вода из котлов спущена (чтобы можно было спать прямо в котлах); уголь валялся горами как попало, как бросили его рабочие, уходя умирать; электричество не работало, горели только две лампочки-масленки; все пропахло копотью, каменным углем, нефтью и машинным маслом; — и стальная лестница, что вела в турбинную, казалась глазу чужого лестницей из преисподней в рай, — так сиротливилось здесь чужому, в копоти, в полумраке, в огромных котлах, в жаре печей и холоде люков для угля. Рабочие спорили и в спорах уползали в глотки котлов, где абсолютно тепло и абсолютный мрак, — другие делили под лампочкой на угле хлеб и воблу, всем поровну, воду черпали из луж, и ели стоя, оборванцы, в куртченках до колен и, как солдаты, с винтовками в руках — не как солдаты — дулами вниз (...чтоб, если уж стрелять случайно, так в землю, чорт бы ее побрал! — чтоб убить *госпожу землю!*..). Тот, который не умер, поднялся лесенкой в турбинную, — там была тишина, порядок, холодок и мрак, — там были строгие машины, четкие, как формула, — за огромными стеклами окон мигали звезды, здесь никого не было; тот, который не умер, через контору вышел на двор: звезды мигали ближе, многими бочками грузился мрак, и было пусто и холодно, — во всем мире, как в нем самом, — и ни души

человеческой не было кругом на дворе. Он не видел кравшейся женщины. Тогда другой лестницей, по заугленным ступенькам, он вернулся в котельное. Рабочий — старик подал ему кусок хлеба, две картошки и воблину: — «поешь, товарищ!» Он стал есть, и хлеб после рук рабочего пропахнул машинами, порохом. Здесь, после порядка турбинной и безлюдья небес, — в лоскутьях света, в тепле, рваном как мастеровская куртка, в горах угля, в подземельи, где строго торчали топки печей и глотки котлов, после тепла хлеба и картошки, он заснул, просто, как всегда люди. Он не помнил, долго ли он спал, — он проснулся около котла, на угле, первыми он увидел глотки печей и винтовку под своей головой, — он проснулся, потому что около него спорили, пришли еще новые, с постов, на смену. Люди умеют видеть только *своими глазами*, — все, что ниже и выше этого человека, в понятиях невещественных, ему невидно, непонятно, — трудно найти «плоскость», откуда видно, — да и вещественный горизонт, на какую б гору ни подняться, — всегда на уровне глаз: — рабочие спорили — о пустяках: о том, кому итти в очередь по наряду, кто — какой Митрий — спит с вечера в котле, кто где был и правильно провел день, кто много растратил без толку патронов; новые лезли в котлы, новые ели хлеб и картошку; о прибавочной ценности, о заводских комитетах, о справедливости и несправедливости дирекции и начальств — не спорили, — у угольного люка сидел часовой и он пел, как Маруся отравилась, в больницу повезли; из котла за ноги вытащили Митрия, спавшего всю ночь, погнали его в наряд. Тогда тот, который остался жив, забродил. Он поднялся в машинное, маховик паро-динамо был неподвижен, человек перелез за решетку и стал взбираться по спицам наверх, руки скользили по масляной стали, приводной ремень был срезан, должно быть на подметки; когда человек залез кверху, под его тяжестью маховик двинулся вниз, засопел, — но это не значило, что машина двинулась работать, — человек ударился затылком о кафели пола, ушел за маховиком под пол, — оттуда он вылез проворно и ловко, как обезьяна. Тогда он закричал истошно:

— Рабочие, товарищи! Она пошла, машина! Я ее пустил. Это все!..

В углу за амперметрами во мраке стояла, как в сказке о красной шапочке, *женщина с лицом волка*, она скалила зубы, но глаза ее, в лишаях и гное, были закрыты. Она стояла, сложив руки на огромном животе, и ноги ее вращались в кучу сора в углу и в окно. Тогда он крикнул еще страшнее:

— Бейте волка! Бейте ряженных! Убивайте!..

И тогда, там в истерике, он не заметил, как за окном стала женщина, нацелилась из браунинга и выстрелила в него —

— — (Герц (охотник Степан) никогда не узнал странной истории монахини Ольги. . .

— . . . Где-то на Ветлуге, в старообрядческих скитах, в фанатизме и анафемствуя умирали

мать и тетка Ольги, — и тетка Ольги игуменствовала. Но Ольга, из старообрядческой семьи ивано-вознесенских ткачей, окончила гимназию первой ученицей, примерной богомольщицей была на первом курсе курсов Герье, на филологическом отделении. — В революцию, в Октябрь, в дни восстания она пошла в штаб белой гвардии и с браунингом в руках, с краснокрестной повязкой на руке стояла за Кремль, — чтоб загореться и сгорать потом коммунистической партией, чтоб быть фанатиком, как монах, ненавидеть неистово и неистово любить, крикнуть в мир Интернационалом, возненавидеть старосветскую Русь, проклясть бога, в мир кинуть поэму машины, — потом, вспоминая, вспоминала сестра Ольга, как тогда, в партшколе, сорвав икону Николая-угодника, неистово повесила она туда портрет Карла Маркса. Она была в Иваново-Вознесенске, и там — коммунистам — многим казалось, что она сошла с ума, когда задумала, изобрела, неистово проводила в жизнь — *систему социалистического делопроизводства, такого, где люди совсем вышелущивались, и оставались одни номера*. Она была девственница, она никогда не любила, ни девицы, ни женски. Потом ее послали на фронт, редактировать газету, — там при отступлении от Врангеля, в редакционных теплушках ее изнасиловали, — она занеистовствовала, залюбила, засумасшедствовала любовью, у нее стал муж, убежавший затем к белым, — и через полгода после этого она, порвав с коммунистической партией, с революцией, была уже на послухе в Бюрюковской женской обители, в черном платье, как галка, — на молитве и в половой истерии. — Но тогда, в Октябре, в Москве) — —

...Москва грузилась Октябрем. И настали дни, когда смолкли пушки. Тогда хоронили убитых. Тогда многие ходили по Москве, как бродят по полям после боев бесхозные лошади, одиночками, без толка, без дома, без пути. Тогда выпал уже снег, становилась зима, в белом дыме и в белых снегах стала Москва, сумерки были уютны, как дома в переулках на Остоженке. И ночами загорались звезды; об этих звездах много можно говорить, они горели четки, новы, велики, — и они первые создали эту смутную ассоциацию — о том, что ночь пред похоронами была похожа на страстную, пасхальную ночь, когда воскресает Христос. Этой ночью мало кто спал в Москве. Был морозец, легкий как белое вино. Звезды построились все, как под пасху, и были дружественны. Был крепкий мрак. Люди бродили — многие — как бесхозные лошади. У Иверской в ту ночь не горели свечи, первый раз после Наполеона, и в ее мраке никто не толпился, но мимо Иверской многие шли. Кремлевские башни, Василий, Красная площадь, в полумраке, в синем ночном свете, были фантастичны, как город царя Додона.

Тот, который не умер, — он бродил бесхозяйственной лошастью, — он знал, что тридцать лет назад, пасхальной ночью, его отец, тогда молодой и с миром впереди и у ног, — этой пасхальной ночью, после пасхальной заутрени, — выходя из церкви под Иваном Великим в Кремле, сделал его матери предложение, как делали тогда, в белых перчатках, и здесь, христосуясь, его отец и мать впервые поцеловались; тогда они вышли из кремля через Спасские ворота и под темной стеной пошли по Красной площади к Иверской, они проходили там, где теперь Братская Могила: — тогда, тем первым поцелуем в пасхальную ночь, наивным, как осьмнадцать лет его матери, был предрешен он, тот, который тогда не умер. И этой новой пасхальной ночью — октябрьской ночью, тот, который не умер, прошел тот же путь, что сделали тридцать лет назад его отец и мать. В своем ночном бродяжестве он забрел в Кремль и в церковь Николая Галстунского, что под Иваном Великим. Великий не был заперт, забыли запереть, — он вошел под темные своды, там никого не было, он постоял, прислушиваясь к тишине, ему стало скучно, — он вышел, не думая о Николае Галстунском и о Великом, и сейчас же забыл о них, — да и помнить было нечего, кроме мрака, холода и чуть уловимого запаха ладана, смерти. Он пошел к Спасским воротам, — там у него спросили пропуск, он показал, — Красная площадь показалась огромной, она была темна, только там, где рыли братские могилы, горели костры и факелы, здесь одиночками шли люди. Он пошел под стеной, к братской могиле. Тут толпились люди, было почти безмолвно, одни опускались вниз рыть, другие поднимались из могилы, — показалось, что здесь не было никого, кто б рыл по наряду, — рыли все, соборно, одни приходили перетряхнуть земной прах, причаститься земле и могиле, другие, причастившись, уходили. Тот, который не умер, тоже спустился в могилу, взял заступ, безмолвно стал рыть, плечо в плечо с другими, также молчавшими. Здесь горели смоляные факелы, ночь от них была черней, жутче, безмолвней... Потом, когда могила была готова, когда начало светать, — но еще не растворилась ночь, в черных бочках, грузивших небо, в факелах, — кто-то запел, и ему подхватили все, сняв шапки, в ночи, во мраке, в предрассветном морозе:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Тот, который не умер, тоже пел; темный Кремль, где уже творилась первая в мире машинная революция, был фантастичен, как город царя Додона; тот, который не умер, пошел вниз по Красной площади, у Иверской никого не было. Вспомнил ли он, что тридцать лет назад, вот такой же пасхальной ночью, его мать и отец, молодые, такие, у ног которых мир и все впереди — здесь целовались впервые и поцелуем этим предрешили его жизнь? —

...Утро пришло красным солнцем и сотнями тысяч людей, людей в черных мастеровских куртках, принесших на братскую могилу красные гроба.

— Потом пошли годы — —

Годы — проходили.

Где сердце Москвы? — Когда-то Юрий Росчиславский, с ума сошедший в волка, записал о глазах Милицы — — где, какие переулки и дома, и площади в Москве, кои стали глазами, по которым видно — по которым можно спуститься в душу, в сердце Москвы?.. — —

В Москве на Арбате стало Успенье-на-могильцах — на Лубянке стала Гребневская-божья-мать, — и обоих их засрамили небоскребы: у Гребневской стала Всероссийская Че-ка, — на Арбате в Трубниковском переулке жила Милица. — —

В девятнадцатом году, — голым годом, — записалось о том, — как: —

— ночами в Москве, в Китай-городе, за китайской стеной, в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-город за китайской стеной ворочался миллионом людей и миллионом человеческих жизней — в котелках, в фетровых шляпах и зипунах, — сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей накладных, биржи, — икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины, Мартьяныча, — весь в котелке, совсем Европа. — А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней, и лишь из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в эту пустыню из подворий и подворотен выползал подлинный Китай-город, тот — —

— Четыре года: с марта по май стужные воды размывали в Китае-городе содеянное — и с мая по март рушили Китай-город осиновым колом — московскую Ильинку без ночей в три плодоносных месяца за летом — рушили кто как мог, все всеми силами, волею народной и народным озорством; — дерево — на топливо, вывески — на крыши, стекла — на звон от камней, кирпичи — на камни, на печурки по бездровью, на ремонт домов, на памятник октябрьского восстания; мертвый город стоял четыре года мертвым, без окон, без дверей, без крыш, в крапиве и репьях, в зловонии тухнувшей воды в подвалах, — и с марта по май — стихии — мыли Китай-город вольные стужные воды. Мертвый город стоял скелетом, когда мертвец обглодан до костей, — четыре года — —

...и вот иная воля возродила вновь Китай — иные люди. Еще висела в переулке забытая вывеска над разграбленным вдребезги домом — «оконные стекла», — еще гнили в проулках загнившие воды, еще глядел Китай из мерт-

вых корпусов, — но в Верхних торговых рядах и вокруг в рядах возникла, как столетие назад, — китайская душа, и на Ильинке затолпились котелки бирж. На поездах, пароходами, — тысячи пудов, бочек, штук, четвертей, аршин — потянулись товары — из лесов, с болот, заводов, гор, с Каспия, Белого моря, с Чусовой, Печоры и Оби, — от лучин, от керосиновых лампочек, от турбинных, просто от солнца и от северного сияния — на горе и радость, на смерть и рождение, — чтобы жить, как жила Русь столетьем. — Персы, татары, кавказцы, уральцы, украинцы тысячи — с ними котелки, круглые очки в оправе, трубки, — Азия с Европой, — Азербайджан — Евразия открывался всероссийский гум. — И — но —

— вывески не те, что прежде: —

— «тресты», «синдикаты», — «Центросоюз», — «Пепо», — «Эмпо», — «Центротекстиль», — «Сольсиндикат» — и — «Цементтрест» — и «Моссельпром» — — И в Верхних торговых рядах, в зале, где собраны гербы всех городов и весей русских, собрались — не те, что собирались столетьем, не купцы, не животы в цепях, не фраки, не глазки, всплывшие из ночи и из бород, не эполеты губернатора и белые погоны приставов, — здесь собрались: — коммунисты. И на открытии гума был обед, но были куртки, пиджаки, косоворотки, и речи говорили — бурильщик с Тагиева, слесарь из Сормова, каторжанин с Кавказа (каторжанина этого встретил Лебедуха и вспоминали с ним, как жили в избе вместе в Нарыме), шахтер из Горленки — начиная словом: — «товарищи» — и кончая здравием русских метелям, половодьям и грозам, русским болотам, лесам, селам и весям — революции русской. И знаемо было тогда на обеде —

— музыка играла в Верхних торговых рядах, было французское шампанское, и стерлядь была с Волги, за окнами вывески — «трест-синдикатов»: — —

— эти дни есть водораздел российских пережитий, где на весах весят: тысячелетье старой Руси и пять годин — последних — этих — российских — из Памиров — и эти пять годин: — *тяжелее!* —

— пусть этот же оркестр взыграет ночью в казино, во французском же шампанском, в рулетке, в баккара, в железке, в застенках отдельных кабинетов, — в горестях, нищете, невежестве вшивой Расеи, весей и сел — —

Тогда осматривали гум, видели шум, многоголосицу, гам — русскую ярмарку. Показывали радио, и как радио действует: загудело динамо, — антенны завывали, заплакали — покоренная стихия — посыпались искрами.

Инженер сказал:

— Мы вызываем Науэн.

Стихло, — и тогда затрещали счетчики.

— Науэн спрашивает, в чем дело? — сказал инженер

— Кланяйтесь им! — пошутил понуро шахтер из Горленки.

И кто-то тогда сказал:

— Не переименовать ли всю Москву в Ильинку? —

...А где-то в Рязани, как в Москве, когда стемнело и оркестр из Верхних торговых рядов перешел играть в казино, ночью в антресолях сошлись коротать ночь двое: человек, еврей, сионист, — человек, еврей, коммунист, — это и им соответствуюТ Успенье-на-могильцах и Гребневская-божья-мать. — Тогда был разжалован из святых — живою церковью — князь Александр Невский, тот, что за сутки перед Екатериной зимой.

В те годы были странные сумерки, — и вот один день, как все: — —

— был московский — арбатский — вечер, с первым октябрьским снежком, с тишиной в темных переулочках, когда каждый — первый, второй, десятый — кто был московским студентом, должен вспомнить о первом курсе, а не о революции, и о муфте в снегу соседки курсистки (в революцию муфты у женщин в России исчезли, потому что женщины помужали), — в такой вечер каждый близорукий должен вспомнить о своей близорукости, ибо фонари на углах кажутся снежинками со стекол очков. Днем была — дневная Москва, — днем устраивалась зима, чтобы первой зимой прожить после революции: днем шел тихий — арбатский — снежок, морозило, и снег сразу укутал шум, до весенних первых рам. Вечером надо зажечь лампу у стола, и — книгами — уплыть в воспоминание, в осознанье, в счеты с прошлым, — и в сумерки за окном трещали чечотки, прилетевшие со снегом с Воробьевых Гор и со Звенигорода. Но днем в лавках торговали — мясом, вином, виноградом, икрой, как в Европе, в тот год и как десять лет назад в этой же Москве, — по старому, — и приказчики говорили, убеждая покупателя: — «Помилуйте-с, старое-с!» — и пол был посыпан опилками. Надо было подумать, что Россия с Памира сошла, о хлебе из овсяных опилок забыто, у Елисеева есть семга, французские сливы и французское шампанское, — а у зеркального окна — девушка, не проститутка, еще в башмаках до колен и в каракулевом пальто, она кончила гимназию, была на первом курсе, — молит, чтоб ее купили, потому что она сокращена. Старая Москва — стариком, связкой книг, плешью — свернула с Тверской к Никитскому бульвару, ее обогнал лихач, — от Пресни шли фалангой комсомольцы.

А к ночи в тот день снежок перестал, потеплело, с Москвы-реки, от набережных, с низин пошел легкий туман, закурился, поплыл, стал под Кремлем, пополз Александровским садом на Воскресенскую площадь, к Охотному ряду. Небо тоже было туманно, беззвездно, но, как всегда первые ночи в снегу, — светло. —

Тогда у подъезда театра, где шел «Гадибук», прощались двое, два человека, национальности которых стерты. Один из них сел в автомобиль, и автомобиль его унес в туман, к Александровскому саду, — вокруг Кремля, на Красную площадь в тумане, к Спасским воротам, в Кремль. Тогда на кремлевских воротах — интернационалом — часы отбили полночь. — Этот был пролетарием. В Кремле, в офицерском корпусе у него была маленькая комнатка. Много лет он жил — рабочим — в Коломне и в Чикаго, — и манеру жить он перенес сюда, в Кремль русских царей. Дома, у его жены были гости, на письменном столе, на скатерти стояли — тарелка с селедкой, колбаса, черный — по пайку — хлеб и горшок с пшенной кашей. Книги со стола сложили на окно. Потолки были сводчаты и оконницы в аршин толщиной. Было все очень просто. Говорили о пустяках, он рассказал содержание пьесы, о том, что ему понравилось. Потом стали устраиваться спать, — жена собрала со стола, вновь разложила на столе книги, очень тщательно. Гости остались ночевать. Было очень тесно, с кровати сняли наматрасник. Потушили свет и стали раздеваться, мужчины легли на полу на наматраснике и тулупе, женщины — на кровати и диване. Это было только просто и здорово.

На Спасских воротах — интернационалом, пролетарским гимном — часы пробили полночь. Над Москвой стал туман. Москва стихла — —

Тогда у подъезда Габима распрощались двое, — тогда надо было *раздумывать*, быть в *раздумьи*. И в *тишине* тогдашних ночей, в эти дни перелома из осени в зиму, — тишина ночей чинила великие дебоши. В лужах на улицах, когда лужами к зиме отмирали осень и земля, вдребезги бились трамвайные искры, огни фонарей, звезды, старая галоша, коробка папирос «Красная Звезда», — в полночи тогда в Арбатских переулках перекликались петухи, один, два, третий. — К рассветам лужи разрастались в потоки, шли дожди, — и было совершенно ясно, как, перекликаясь петухами с дневным Елисеевым, Гумом, с проституткою под окном Елисеева, — из дней, твердых, как промасленная рабочая куртка, — вырастали ночи, человеческие ночи, похожие на уличные лужи. — Ночи чинили великие дебоши: — немного несколько сотен людей, люди, вчера снявшие мешечнический мешок с плечей, и люди, с ними уцелевшие, «князи» и «графы», с ними иностранцы из миссий, с ними русские актрисы, писатели, художники, много евреев, — летошний снег, — в разных углах Москвы, после театров и ресторанов, в домах, как летошний снег, в старых гостиных, в коврах, в лощенном электричестве паркета, — во фраках, в пластронах, в белых жилетах, в женщинах с голыми грудями, в фокстротте, — в электричестве, шампанском и тепле — веселились, умели веселиться осенними лужами, в которых вдребезги бьется все, чем можно

и надо жить по солнцу: умели изнемогать в фокстротте, не говорить о «буднях», на глазах у всех у женщин поправлять подвязки, а женщины прокрашивать до дыр губы, курить сигары и английский кепстен, прокуривать ночи, комнаты, себя — —

— — на этих вечерах, как лужи, бывали иногда «опорки» российских — этих — дней: иной раз российский художник взлезал на стол или на спинку дивана и оттуда истерикой кричал, предлагал выпить —

— за российский осьнадцатый год! —
но его никто не слышал — —

Потом осень сменилась зимой. — Где сердце Москвы, как глаза Милицы? — В те дни в театре Габима шел Гадибук, — чтоб пойти на Гадибука тем обоим евреям — —

Две тысячи лет назад погибло в Палестине еврейское государство, — и две тысячи лет с тех пор умирал древний еврейский язык. — В Москве, в Белом Городе, в Кисловском переулке, что у Никитской — попрежнему, и теперь — улицы Герцена, — возродился древний еврейский язык, возник, умерший даже в Палестине. Был год русской революции, когда Россия переименовалась в Союз Советских Республик Европы и Азии. В доме, где, быть может, танцевал Пушкин, возник театр, где на древнем еврейском языке ставили мистическую пьесу — «Гадибук» — о духе дибуке, о том, что — борух даян амет — благословен судья праведный! — и был пьесы, которую играли на древнем языке, был взят из местечек Западного края, черт оседлости, откуда-то из Мирополя был цадик Азраэль. В комнате был сделан деревянный амфитеатр, и внизу в другом углу комнаты играли актеры. Натан Альтман перевоплотился в Марка Шагала, но вспоминался и Гойя. Сцена открылась из мрака, под страшный древний мотив о том, — «отчего, отчего тянется душа от высот к безднам?» — на сцене была синагога, и были только две краски — желтая и черная, — и рыдающая мать была в черном, как все матери, — и потом в синагоге плясали старики евреи. — Потом перед домом Марка Шагала плясали нищие из Гойи. — Потом заклинали девушку, целомудрие, девственность, потому что в нее вселилась мистическая сила — любви — к единственному, избранному, умершему, голосом которого она заговорила, который, как и она, мерил жизнь двумя измерениями — любовью и смертью. — И сцена закрылась во мраке, под мистический древний мотив, о том, — «отчего, отчего тянется душа от высот к безднам?» — «борух даян амет». — Древняя культура — на древнем языке, но был — местечка за чертой оседлости, и купец Сендер, в картузе, похож на русского прасола из Рязьска. Марк Шагал, знает серую краску! — В комнате на амфитеатре — зрители — сидели евреи, еврейские девушки были прекрасны. Никто не аплодировал, потому что играли прекрасно и не надо шуметь там,

где хорошо. Те и Эти — одно, но костюм многое значит, и костюм местечка совсем не пиджак и манжеты, как на амфитеатре: тут не было серой краски Марка Шагала — — Есть обычай меняться на пасху, христосуясь во Христе, красными яйцами, символами солнца, — русские кустари делают игрушки детям: яйцо надето на яйцо, и так много раз, до малюсенького, до сердцевины. Как же снять скорлупу за скорлупой, чтобы найти сердце? Каждый по-своему расположит эти яйца, надетые одно на другое. Еврейство сшило красною нитью историю человечества — белой расы последних двух тысяч лет. Что же мистический народ и мистический дибук, где два измерения — любовь и смерть — первая скорлупа? или быт местечка в Западном Крае *на древнем языке*, скрепленный Марком Шагалом? или — третье, — то, что купец Сендер похож на русского прасола, потому что купец, а синагогские служки на деньги, которые им оставила — на молитву за умирающего ребенка рыдающая мать — купили водки, — а нищие — страшными ожерельем калек на сцене — воют от счастья, когда в Лию вселился дибук? — Это ли сердце надетых друг на друга пасхальных яиц? — И не самое ли главное — единственное — то, что мать плакала об умирающем ребенке, как все матери, что Лия и Ханан любили любовною любовью, сильной, как смерть, как все любящие впервые? — что отец Сендер любил Лию отцовской любовью, сильной, как род, как должно всем отцам, — не единственное ли: — че-ло-век? — человечность?

— — еврейский народ сшил человечество Европы на две тысячи лет — религией и мистикой, — тринадцать чудачков из Галилеи. В католичестве, протестантизме, православии — в них, за ними, от них — затерялись звездочеты, астрологи, алхимики, кабалисты, маги, чернокнижники — —

— ... кто поймет оторванность от полей и цветов и от пахаря, — кто почувет сиротство свое перед *бескровной* стихией, им же *воздвигнутой*, и поборет волю в смерть перед *Молохом-Маховиком*? — Нет, крови! — —

В те годы — отошедшие — невероятнейшие были в России Памиры, спутались числа и сроки. Не было городов, весей и сел, где б не было восстаний, бунтов и войн. В те годы никто не умирал естественной старческой, постельной смертью, но смерть шла в расстрелах, в тифах, в увечьях, в голоде, в людоедстве, — люди умирали у стенок, на шпалах, в вагонах, в оврагах. —

— В те годы (по расчету Непомнящего) в России родилось, прожило и умерло, убив до миллиона людей, девять миллионов пудов вшей: в России разучились читать цифры, меряя все астрономически, — девять миллионов пудов вшей, если б это была рожь, хватило б прокормить нормой Наркомпрода в течение года Коломенские земли. В те годы родились так же, как умирали — в тифах, в увечьях, на шпалах, в теплушках. В те годы

вся Россия вышла на шпалы в великом переселении правд, вер и народов, — поэтому в поспешности из паровозов делали аэропланы, пусть они не могут летать, пусть поездов и паровозов больше было под откосами, чем на шпалах. В те годы вся Россия была серой, как солдатская шинель. В те годы вся Россия была во внутренних пошлинах заградительных отрядов, продовольственных карточек, прав на разъезды, чтоб голодать, — у каждого мужчины сохранились с тех пор жилеты, чтобы в них вместо ваты всыпать пшено, а у женщин — мешки на живот, чтоб имитировать мукой беременность, были случаи, когда пороли штыками животы подлинно беременным, чтоб узнать — не пшено ли там?

— — те годы Союза Советских Республик Европы и Азии ушли заржавевшими заводами, разрушенными фабриками, опустевшими городами, поездами под откосами, серой шинелью, шпалами, кострами из шпал, песнями голодных, людоедством Поволжья, могилами без крестов и без памяти, — ушли полями, лесами, болотами, селами и весями — русскими, — паровозы не стали аэропланами. — И те годы были величайшей романтикой! величайшей радостью, величайшими правдой и верой! Ведь каждый, как реликвий, хранил тот жилет, в котором возил он пшено, — и вспоминая о днях отошедших: *грустил*. И аэропланы, из паровозов — все-таки — *летали тогда!* — —

Где сердце Москвы, вот у этой, где — — за осенью, за первыми порошами пришла зима?

И зима уже сломалась декабрем — —

В январе, когда начинало пригревать солнце, а морозы упали за двадцать ниже нуля, — когда дни стояли желтые, восковые, как мертвец, в морозе и солнце и в отчаянной небесной сини, — после воскресной ночи, промерзшей просторами и избами избяной Руси и Рассеи —

— (там, в знахарях, с заваленок, с печей, из трахом оконцев — видны огни городов, дым труб, лязг железа, и «деды» говорили:

— Жнамо, даа, то-ись, канешно, — огниии, к примеру, воо, то-ись, даа, жнамо— —), когда люди в Москве будничали Тверской, Ильинкой, Арбатом, разговорами о Гадибуке, фокстроттами, пивными, заботами на сегодня и на завтра и о «твердой валюте» — и этим свободным воскресеньем — —

— — на завтра утром, над всеми просторами России и мира, по-мирно, на всех языках России и мира, всеми радио и телеграфами мира, всем человечеством — вот всей этой шарообразной машиной, что несется в межпланетных пространствах, что зовется — Земля — —

— — узналось, что умер человек, как умер человек, как эпоха, человек, ставший для истории главою — *Россия*

и *мир* — человек, который умер, чтоб сразу перейти в легенду, чтоб показать, как человечеству надо бороться со смертью.

Это был день — были дни, — когда вся Россия, дни, города, веси, улицы, люди насупили брови, свели брови, — маршами заводов и полков выстроилась *владимирствующая* Россия, — заводом, турбиной, миллионом людей, тех, что красными знаменами пошли против Руси и Рассеи и против земли. Земля трещала дедом-морозом двадцать ниже нуля, чесалась ветрами, леденела небесною твердью, промерзала сумерками серыми, как нищая от Гребенской-божьей-матери и как Рязань-яблоко, умирала черными холодами ночей, враждебных человеку, нестрашных волкам —

— и все же, на земле, в Москве у Дома Союзов, где был труп, — где тысячей человек шла по земле — поземкой — человеческая черная толпа ко гробу, — красные дымные костры горели на земле круглые сутки, как круглые сутки шли люди, топили землю, жгли землю, задымляли землю. Костры в дыму были страшны смертью ночей, в рязани-яблоке вечеров, как нищая от Гребенской божьей матери, и: —

— сколько книг можно написать — вот, о женщине, о старухе, о русской бабе, о *Марье* из весей, о той, что там, в ночи на земле, во мраке подъезда Дома Союзов, в дыму костров, запричитала, завывала, как кликушлили русские бабы тысячетьем, — как о сыне, вынув из сердца, из кликушествующего тысячетелья — неосознанное — *владимирствующее*, — владеющее миром:

— Володимир, голубчик, касатик, роодненький, — на кого ты нас оставил... — —

...А в обовшивевших просторах российских лесных полей и болотных лесов, где избяная древесная снасть к тому, чтоб кочевать и бегать, — где люди, зарясь на огни заводов и стальных дорог вдали, говорят о леших-городах, о чумовых, об анчихристах из городов, — в безлобых под соломой поселках, люди с болотинами глаз и хвостами бород — приходили в советы в волость и недоумело спрашивали: можно ль отслужить заупокойную панихиду — за Ленина. — —

И потом, в день, когда земля в полдень была полночно темна, но в полночь светла как день и прозрачна, чтоб видеть далекие впереди созидания, когда сумерки начинали гнить четырьмя часами, — в воскресенье, когда ломается рязанью-яблоком неделя, — —

— — — заводы, заводы, заводы, бетон, сталь, Россия, города, Москва — сдвинутыми в гранит бровями, скулами, как сталь, миллионом толп, — замерли на пять минут, когда клали в братскую могилу и в вечность к земле труп, — замерли эти, рожденные октяблями, заморозками: ибо земная осень стала *человеческой* весной, эти отобранные октяблями, — *владимирстующие* —

ющие изо всех болот Руси и Расеи, — и гудели, гудели только заводы, сталь, бетон, шпалы — выли, гудели гудки всея России — —

— — победно, владимирствуя, над смертью, через смерть потому что смерти не было, через гнилые сумерки — через Русь и Расею — над Расеей и Русью — гудели, гудели гудки, сталь, бетон — новой России, — гудели, чтоб — что бы ни было — над буднями, над Гумом, над Расеей и Русью, — из Октября и с заводов, — утвердить:

— Человеческие революции машин и мира — идут! — —

— — и

тем, третьим, десятым, коломенским, было понятно, почему вот, на Советской площади в Коломне упал в эти минуты четырех часов, упал в падучей *Иван Александрович Непомнящий*, статистик, и бросились к нему — Марья Ивановна и *Марья-табунщица* — —

Коломна — Никола-на-Посадьях,
Лондон — 20, Handel-Mansions,
Handel-str., Семеновская сто-
рожка в Кадомском лесничестве.
10 марта 1923 — 2 июня 1924 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТРАН.
Вступление	7
Раздел книги, вне плана повествования	19
Раздел книги основной, учин во хребте	58
Раздел книги фантастический, как реальность, пучин во учине . .	108
Часть книги последняя, без названия	169
